

В.О.  
КЛЮЧЕВСКИЙ



ЛИТЕРАТУРНЫЕ  
ПОРТРЕТЫ



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

---

**В. О.  
КЛЮЧЕВСКИЙ**

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ  
ПОРТРЕТЫ**

---

Москва  
«Современник»  
1991

ББК 83.3Р1  
К52

Общественная редколлегия:

член-корр. АН СССР *Ф. Ф. Кузнецов*,  
доктор ист. наук *А. Ф. Смирнов*,  
доктор филол. наук *Н. Н. Скагов*,  
доктор филол. наук *Г. М. Фридендер*

Составление, вступительная статья  
*А. Ф. Смирнова*

К 4603020000—017 246—90  
М106(03)—91

ISBN 5-270-00948-X

© Издательство «Современник», 1991,  
составление, вступительная статья.

## В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Высшая задача таланта — своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни.

*В. О. Ключевский*

В. О. Ключевский как-то отметил, что в жизни ученого главные биографические факты — это его книги. Полностью соглашаясь с метким определением признанного мастера афоризмов, добавим, что весьма часто общая направленность творчества определяется впечатлениями отроческих и юношеских лет. По отношению к В. О. Ключевскому это, несомненно, обстоит именно так. Пережитое и увиденное им в молодости во многом определило общую демократическую направленность его творчества — в его лекционных курсах, статьях, книгах, принесших ему славу и признательность студенческой молодежи.

Василий Осипович Ключевский родился 16 января 1841 года. Его предки, отец и мать принадлежали к бедному сельскому духовенству. Детские годы знаменитого историка прошли в сельской местности, среди крестьян; он воочию наблюдал тяжкий труд земледельца, труженика и страдальца земли русской. Девяти лет, осенью 1850 года, он потерял отца. Осиротевшая семья переехала в Пензу, где вдове с тремя малыми детьми с трудом удавалось сводить концы с концами. В жизни их, по позднему признанию сестры историка, все было худостно, нищенско, сиротинско.

Десятилетним мальчиком Ключевский поступил в Пензенское духовное приходское училище на «казенный кошт» (один рубль в месяц составлял «бурсацкий оклад») и был принят сразу во второй класс, ибо на вступительных экзаменах обнаружилось, что мальчик умеет уже писать порядочно, читать правильно и быстро, твердо знает краткую священную историю и катехизис и имеет к тому же начальную музыкальную подготовку («по нотам учиться начал»).

Сказалось влияние и труд отца — личности, по-видимому, незаурядной, безвременной раздавленной жизнью. Отцу, его книгам он, во всяком случае, обязан рано пробудившимся интересом к истории. «В деревенской глуши,— вспоминал он позже,— где нецерковная книга была большой редкостью, мне

попались две изданные Новиковым поэмы — «Иосиф» Битобэ и «Потерянный рай» Мильтона и вместе с альманахом Карамзина «Аглаей» были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневной потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого»<sup>1</sup>.

Поразительное признание, даже выходящее по своей значимости за рамки биографии великого русского историка! «В деревенской глуши» (следовательно, до десяти лет — времени гибели отца и переезда в Пензу) взошли брошенные Новиковым и Карамзиным за век до этого хорошие семена. Девятилетний мальчик увлекся литературно-историческими, библейскими сюжетами, книгами, рассчитанными на взрослых читателей!

В сентябре 1852 года Ключевский был переведен в Пензенское уездное училище, где пробыл четыре учебных года — до лета 1856 года, когда, «совершив полный учебный курс», поступил в Пензенскую духовную семинарию, — еще на четыре с лишним года. Здесь помимо богословия и священной истории он изучал древние и новые языки (латынь, древнегреческий, древнееврейский), естественные и гуманитарные науки, в том числе гражданскую историю — всеобщую и русскую. Курс последней заканчивался началом XIX века: падение Наполеона, мир Европы — последние его темы. В основном преподавание велось по курсу «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Уже в эти годы для Ключевского основным источником знаний стали книги, основным методом познания и воспитания — собственные размышления над прочитанным, приведение в строгую логическую систему непрерывно наращиваемых знаний. Сестра, вспоминая о его напряженных ночных занятиях, говорила позже — «бог знает когда он спал».

Семинарист Ключевский не только проштудировал труды первых отечественных историков — Татищева и Карамзина, Погодина и Устрялова, он отыскал дорогу к новейшей исторической литературе. Уже тогда полюбился ему Соловьев, ставший несколько позже его горячо любимым учителем. Соловьев, как признавал сам Ключевский, не выходил у него из головы<sup>2</sup>.

Вскоре Ключевский стал первым среди сверстников. «Отличается особенными успехами в науках», — отмечали наставники. Еще более точны и проникательны были товарищи по учебе: «Ключевский — голова, умен». О некоторых его сочинениях по истории и философии («Где истина и в чем она состоит» и др.) преподаватели в изумлении говорили, что их мог написать только ученый-богослов. Блестящие успехи Ключевского поразительны, уже

---

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Воспоминания о Н. И. Новикове и его времени: Очерки и речи: Сб. статей. М., 1913. С. 278; «Иосиф» Битобэ П. Ж. в переводе Д. И. Фонвизина дважды издавался Новиковым (1761, 1780); «Потерянный рай» Д. Мильтона издан им же в 1780 г. (перевод Д. Серебрянникова); «Аглая» — первый русский поэтический альманах, изданный Н. М. Карамзиным в 1794 г. (кн. 1) и в 1795 г. (кн. 2), переиздан в 1796 г.

<sup>2</sup> См.: Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 55.

на втором курсе семинарии он начал систематически давать частные уроки, не только полностью обеспечивая себя, но и помогая семье.

Годы пребывания в духовной семинарии стали исходным пунктом формирования Ключевского как историка. Это были начальные годы первого демократического подъема в России, возникшего после Крымской войны. Как отметил позже сам Ключевский, «Восточная война, падение Севастополя, Парижский мир — таковы были первые полученные нами самые свежие и сильные впечатления исторической жизни России, тяжелым камнем нависшие на нашей шее за грехи отцов». Он относил себя к поколению, «чье историческое мышление пробуждалось в то время, делая первые усилия в познании родного прошлого», и добавлял, что в те годы юношеские умы были возбуждены «общим движением» и жадно следили за новейшей научной мыслью, за журналистикой. Им прямо назывались «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», исторические сочинения Костомарова («Богдан Хмельницкий», «Бунт Степана Разина»), «История» Соловьева, работы Грановского, Буслаева, Кавелина, Чичерина. «Мы,— заключает Ключевский,— смутно чувствовали, что в русской историографии веет новым духом, который проникал тогда во все отношения, в самые сокровенные углы русской жизни»<sup>1</sup>. Вопросы, поставленные, но не решенные тогда до конца (освобождение крестьян, завоевание политической свободы), надолго приковали его внимание.

Увлечение историей в обстановке быстро нарастающего демократического подъема приводит молодого Ключевского к решению порвать с семейной традицией и вместо уготованной ему стези священника выбрать научно-преподавательскую работу. 17 декабря 1860 года он подает прошение об увольнении из семинарии и после длительной борьбы с церковными иерархами добивается удовлетворения своей просьбы. В марте 1861 года Ключевский получает «увольнительное свидетельство». Дорога в университет, на избранный им историко-филологический факультет открылась.

Знаменательное совпадение: именно весной 1861 года с церковных амвонов был оглашен манифест о ликвидации крепостного права. Повсюду, в том числе и в Пензе, передовая молодежь взволнованно обсуждала условия пресловутого «освобождения», возмущалась ограблением крестьян, протестовала против кровавого подавления «мужицких бунтов». Одним из эпицентров крестьянского возмущения было восстание в Бездне, особо взволновавшее учащуюся молодежь. Есть некоторые данные о сочувственном отношении семинариста Ключевского к этим событиям. Еще в Пензе он читает не только легальную демократическую печать («Современник», «Искру»), но и герценовский «Колокол».

В июле 1861 года Ключевский покинул Пензу и выехал на перекладных в Москву. Во Владимире он пересел из экипажа в поезд только что сооруженной и впервые им увиденной железной дороги («целая деревня вагонов» —

---

<sup>1</sup> Непубликованная речь В. О. Ключевского о К. Н. Бестужева-Рюмине (см.: Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974. С. 64—65).

по его отзыву). 22 июля Ключевский прибыл в первопрестольную столицу и поселился «на Тверской, в Козицком переулке». 26 июля 1861 года он подал заявление о приеме на историко-филологическое отделение Московского университета и, успешно выдержав вступительные экзамены (по 16 дисциплинам), был зачислен в число «своекоштных» студентов. Поступление Ключевского в университет совпадало со студенческим движением 1861 года — одним из важнейших событий эпохи падения крепостного права. Прямого активного участия в движении Ключевский не принял, но, несомненно, относился к нему сочувственно («дело было слишком серьезно, чтобы не принять его к сердцу»). Также несомненно, что бурные события тех лет оказали огромное, если не определяющее, влияние на формирование его воззрений, на выбор его общественно-политической позиции, направление его научных исследований.

Условия и возможности для работы в Москве, для быстрого накопления знаний по самым различным научным дисциплинам, их систематизации были несравненно более благоприятные, чем в далекой провинциальной Пензе. Здесь к услугам Ключевского были первоклассные библиотеки — университетская, синодальная, Румянцевский музей, книжную сокровищницу которого Ключевский быстро оценил, архивы, в которых он проводил многие часы и дни, просиживая над пожелтевшими страницами манускриптов.

Заслушивался, по собственному признанию, лекциями по русской истории Сергея Михайловича Соловьева. «Он читает чрезвычайно медленно, так что можно записывать до слова. Лекции его как-то особенно выработаны, хотя он читает экспромтом. За живое задевает его здоровая, критическая мысль, подчас не чуждая самой трезвой поэзии». Курс истории Соловьева Ключевский называет прекрасным руководством, пропагандирует его, советует друзьям непременно ознакомиться с ним. Так же высоко Ключевский-студент ценит лекционный дар и исследовательские труды профессора Федора Ивановича Буслаева, читавшего курс отечественной словесности. Он отмечает патриотизм профессора, называет его «любителем родной русской старины, русского народа». «Возьми любое его сочинение,— читаем в письме Ключевского к другу,— каждая строка его говорит о горячей любви к интересам нашего народа». Ключевский сообщает далее, что лекцию Буслаева об Илье Муромце — «самом ярком лице нашей мифологии» — студенты вознаградили громом рукоплесканий.

Студент Ключевский много работает над историческими первоисточниками, изучает летописи, «Слово о полку Игореве», которое чрезвычайно высоко ценит, называя его единственным несравненным эпическим произведением Древней Руси, и отмечает: «Певец полка Игореве жалуется на княжеские распри».

Несомненно влияние русского народного творчества, и особенно русских народных песен, на становление его миросозерцания, убеждений. Будущий историк видел в народном творчестве отражение исторических судеб народных: «...в каждой песне человек русский жалуется на судьбу, на злую кручину... все жалобы, все стон, и нигде светлого мотива, веселого, игривого



чувства», и далее, цитируя известные некрасовские строки «Выдь на Волгу: чей стон раздастся...», продолжает: «...все же дорогá и эта поэзия, и эта грустная песня, и еще тем дороже, что поет ее бедный русский народ».

И были еще московские театры, игравшие все большую роль в духовной жизни столицы. В этом отношении Малый театр (пьесы Островского прочно вошли в его репертуар как раз в студенческие годы Ключевского) современники сравнивали с университетом. Вот один из самых примечательных отзывов Ключевского о театральной жизни столицы: «Если хочешь наслаждаться в Москве тем, что есть лучшего в театре, иди в Малый театр... и иди именно когда дают Грибоедова, Островского, Гоголя и т. п., впрочем, немногих наших истинных комиков. Вот тут есть что посмотреть, здесь можно и посмеяться, как смеешься только в лучшую минуту жизни, отсюда же можно выйти и с такими впечатлениями, какого в церкви не получишь. Не забуду я «Грозы» Островского! Кажется, лучше пьесы невозможно написать!»

Многое дала Ключевскому и музыкальная Москва. Он хорошо знал репертуар Большого театра, посещал концерты. В письмах к другу признавался: «Я же страстно люблю слушать музыку». Иногда даже сокрушался тем, что ради научных занятий вынужден пропускать оперу. Несомненно, что без этого страстного увлечения художественной литературой, театром, музыкой, постижения глубин искусства невозможно представить становление Ключевского как историка, как непревзойденного лектора, в совершенстве владевшего ораторским даром, умевшего переносить слушателей в глубь веков, раскрывая им не только смысл, логику истории, но и образно, художественно воссоздавая минувшее.

Со второго курса, после блестяще выдержанных специальных экзаменов, Ключевский стал стипендиатом университета. Но основные средства на жизнь, покупку книг, помощь семье он добывал, как и ранее, репетиторством, давая уроки детям известной семьи фабрикантов Морозовых, а также в домах некоторых дворянских фамилий (Волконских, Милютиных и других).

Круг интересов Ключевского-студента исключительно широк и многообразен. Работал он много и неистово. В письме к одному из близких друзей признавался: «...и политическую экономию почитываю, и санскритский язык долблю, и по-английски кое-что подучиваю, и чешский, и болгарский языки проворачиваю,— и черт знает что еще».

В университете он слушает лекции любимых профессоров — Соловьева, Бушлаева, внимательно следит за научными и литературными новинками. Под влиянием статей Н. Г. Чернышевского, его полемики с профессором П. Юркевичем, лекции которого Ключевский посещал, он в подлиннике читает «Сущность христианства» Л. Фейербаха и отдает должное этому оригинальному мыслителю, отрекаясь от былого консерватизма в вопросах веры. Атеистом он, впрочем, не стал, но свободомыслие, приобретенное в студенческие годы, сохранил до конца дней и позже, в своих лекциях, статьях, а еще более в размышлениях, занесенных в заветный дневник, сделал немало глубоких критических суждений о русской церкви, ее неблагоприятной роли в истории оте-

чества, ее полнейшей зависимости от царских властей, превративших православную церковь в составную часть административно-полицейского аппарата. В архиве Ключевского сохранились выписки из статьи Добролюбова о Роберте Оуэне, из «Манифеста» последнего, что говорит также и о глубоком интересе студента, будущего кумира демократической молодежи, к истории социалистической мысли.

По переписке Ключевского с друзьями можно судить о его знакомстве с рядом статей Н. Г. Чернышевского («Непочтительность к авторитетам», «Полемиические красоты», «Антропологический принцип в философии» и других). Чернышевский, по его словам, — «талантливая голова, ловкое перо». Он высоко ценит Н. А. Добролюбова, скорбит о его безвременной кончине («что был за человек!»); советует друзьям перечитать его статьи, в частности «Темное царство». Показательна для Ключевского-студента его оценка творчества И. С. Тургенева, романа «Отцы и дети», только что появившегося в журнале «Русский вестник»: «Там ведь — мы, наше поколение, самоновейшее, значит». Осенью 1861 года он советует друзьям во вновь вышедшем собрании сочинений Ф. М. Достоевского непременно прочесть «Неточку Незванову». «Чудо что за роман! Редкий роман, если это роман только! По пальцам можно перечесть подобного достоинства».

Журналы он читал, по собственным словам, «довольно прилежно». В письме к другу 21 апреля 1862 года сообщал: «Интересно следить за этой борьбой разных партий и мнений, борьбой, что пересыпанной изрядной бранью, но все же живой, энергической. Всех виднее в этой перепалке «Современник» с Чернышевским — этим бесцеремонным семинаристом-социалистом и пр. Славно — что ни говори — отделяет он кой-кого. Борющиеся стороны или лагеря страшно перепутываются... Чичерин твердит об идеальном государстве — народе... Ратует за выделение в изолированное сословие дворянства, а Громека и Бестужев-Рюмин стреляют в него из «Отеч. записок» здоровенными залпами. «Современник» колотит по носу славянофилов, вопиет о бедствии пролетариев и честит по-русски умозрительную философию. (...) Соловьев, западник, не прочь протянуть руку славянофилам. Славная вообще возня идет в журналистике».

Из этого примечательного письма видно, что Ключевский пристально следит не только за «Современником», «Русским словом» и «Отечественными записками», но читает регулярно аксаковский «День», журнал Достоевского «Время», в центре его внимания дискуссии между Соловьевым и Костомаровым, Пыпиным и Буслаевым, Чернышевским и Чичериным по истории России, ее культуре, о месте русского народа и государства в Европе и т. д.

Под воздействием общественного движения 60-х годов, всей обстановки революционной ситуации, передовой журналистики и литературы Ключевский пересмотрел многое в своем духовном багаже, от многого, не без борьбы, сумел отказаться. Он сам называл в письмах к ближайшим друзьям эту совершившуюся в нем работу как кризис старых убеждений («Настоящий кризис, вызванный материализмом»), признавал, что он стал мыслить свободно.

В обстановке демократического подъема окрепли интересы Ключевского к жизни, быту, труду русского крестьянства, к тяжелой его доле.

«А у нас всегда была на первом плане тяжелая нужда, тяжелая борьба с бедной природой да давящими историческими обстоятельствами — татарщиной, византиевщиной, боярщиной и прочим»<sup>1</sup>. Этот интерес Ключевский пронес через всю жизнь.

С обстановкой первого общероссийского демократического подъема связано также и внимание Ключевского к истории борьбы русского народа за ограничение самовластия, за политическую свободу, ее конституционное закрепление. Эта проблема была поставлена в центр политической жизни русского общества Н. Г. Чернышевским в «Великоруссе», получившем широкую известность в университетских кругах. Московское студенчество было хорошо знакомо с содержанием «Великорусса» и пропагандировало его основные идеи, как-то: провозглашение конституции, пересмотр грабительских условий «освобождения» крестьян, признание национальных прав за народами, угнетенными царизмом, и т. д. Известно, например, что студент Московского университета князь А. Кропоткин (брат известного революционера) составил и распространил «небольшую прокламацию по „Великоруссу“»<sup>2</sup>. Поэтому в письмах Ключевского к близким друзьям в то время содержатся не только сетования на «безобразную русскую жизнь», но и кое-какие сведения о действиях сил, стремящихся изменить жизнь к лучшему: «...и на Руси не все шито да крыто, и в ней кое-где движутся и борются, да не безмолвствуют покорно. Но об этом страшно передавать»<sup>3</sup>.

Ключевский был близок к нелегальным революционным кружкам 60-х годов, объединившимся в организацию, руководимую Н. А. Ишутиным. В ядро этой организации вошли и некоторые из бывших пензенских знакомых Ключевского, в частности Д. Каракозов. Некоторые современники отмечали, что были попытки вовлечь Ключевского в нелегальную деятельность, в ряды каракозовцев. Попытки эти были, однако, пресечены руководителем организации. Как свидетельствует один из товарищей Ключевского: «Ишутин, волосатый силач в красной рубашке, ходивший, как истый студент-нигилист 60-х годов, с огромной палкой-дубинкой, положил мощную длань на жиденькое плечо Василия Осиповича и твердо заявил: „Вы его оставьте. У него другая дорога. Он будет ученым“, чем показал свою прозорливость»<sup>4</sup>.

Были ли действительно произнесены эти пророческие слова Ишутиным или нет, неизвестно, но собственные дневниковые записи Ключевского свидетельствуют, что он был лично знаком с ведущими деятелями ишутинской организации. Он находился тогда на пороге признания нелегальных форм

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 56.

<sup>2</sup> Переписка Петра и Александры Кропоткиных. М.; Л., 1932. Т. 1. С. 249.

<sup>3</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 22.

<sup>4</sup> Свидетельство товарища историка А. И. Яковлева (см.: Нечкина М. В. Указ. соч. С. 127).

объединения врагов крепостничества и самовластия, во всяком случае, сумел заметить идейное превосходство революционных деятелей, оценить величие их морального облика в сравнении как с защитниками старого мира, так и с либералами, которые, по его словам, способны лишь мутить воспитавшее их болото, которые живут лишь внешней жизнью, важно расхаживая перед удивленной их красноречивостью аудиторией. Ключевский противопоставляет этим ретроgrадам и рыцарям фразы другой тип людей — «истинных житейских борцов». «Нет,— пишет в дневнике Ключевский,— наши герои — люди совсем иного рода. Их борьба происходит на заднем дворе человечества — борьба бесславная, бесшумная... Это гномы, подземные карлики, которые работают драгоценные металлы на людей, живущих на поверхности. Оттого их тип наименее обработан и уяснен историческим сознанием человечества. Люди обыкновенные не обращают на них внимания, герои презирают их, а сами они слишком скромны и слишком уважают свое дело, чтобы заявлять о себе человечеству... Наши карлики незаметны для наблюдателя!.. Но горько почувствовало бы человечество их отсутствие, если бы на минуту прекратили они свою подземную незримую и неслышную работу на пользу человечества»<sup>1</sup>.

Сочувствие Ключевского-студента к борцам за политическую свободу, признание необходимости тайных ее форм в условиях самовластия и деспотизма несомненно. Но от этого общего сочувствия до признания конкретных форм революционной практики Ключевского отделило очень многое. Свобода и насилие, по его мнению, принципиально несовместимы; воля есть не может основываться на крови людской.

Огромное впечатление произвел на Ключевского выстрел Д. Каракозова, которого он лично знал: «Мне знаком он, эта жалкая жертва; мы все хорошо знаем, вдоволь насмотрелись на этих бледных мучеников собственного бесилия». Как видим, политический террор как метод борьбы был для Ключевского совершенно неприемлем. С другой стороны, еще большее его возмущение вызвали сторонники царизма, устраивавшие шумные шествия по случаю «чудесного спасения» Александра II. Они, по словам Ключевского, «безумствуют перед великими фигурами Минина и Пожарского... и орут во весь голос „Боже, царя храни!“ Мне же хочется с горькими сдавленными слезами пропеть: „Боже, храни бедный народ, бедную Россию!“»<sup>2</sup>

Трагичным для Ключевского явилось то обстоятельство, что ему хорошо было известно лишь то направление в русском революционном движении, которое генеральной линией никак не назовешь. Ключевского окружали и хорошо ему были известны, по его собственным наблюдениям, лишь члены организации Ишутина («каракозовцы»), которые представляли побочное течение в могучем потоке российского освободительного движения. «Каракозовцы» в конечном счете сбились на заговорщическо-террористический путь

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 226—227.

<sup>2</sup> Там же. С. 227—229.

борьбы с самодержавием, став своего рода предтечами народовольческого терроризма, а в более отдаленной перспективе — кровавых эксцессов 900-х годов, которые тоже пришлось наблюдать историка на склоне лет; Ключевский — свой среди ишутинцев, близко наблюдавший расцвет анархизма и заговорничества, не принял и не мог принять насильственных форм политической борьбы. Но вся беда в том, что с этими, историей осужденными, крайними, анархическими формами проявления народного возмущения он, похоже, полностью отождествлял освободительное движение вообще. Для него на многие годы революционное насилие ассоциировалось с экстремизмом, взрывами, кинжалами, террором и квалифицировалось им как проявление анархии. Позже к этим впечатлениям молодости, периода формирования убеждений, добавился жизненный опыт и влияние сферы, окружавшей известного профессора.

Не приняв крайних революционных форм борьбы, которые он хорошо изучил еще в молодости, и в то же время будучи убежденным врагом царского самовластия, Ключевский, по собственному, воистину трагически звучащему, признанию, оказался «между двух огней», и, как признавал сам, это было жуткое, ни с чем не сравнимое состояние, что «лучше идти противу двух (ружейных) дул, чем стоять, не зная, куда броситься». По его собственным словам, дело было не в недостатке решимости, а в особенностях «современной жизни»<sup>1</sup>.

Отрицая революционное насилие террористических групп, он, как это видно из его раздумий, склонен был иногда признавать необходимость борьбы с самовластием — если она выражалась как хорошо организованное, подлинно всенародное давление на правительство. В этом, несомненно, сказался собственный опыт, особенно последних лет жизни. Всегда в центре его внимания был народ. «Наш народ совершил много великого, еще не осознанного, не оцененного ни им самим, ни благоговеющими перед ним народопоклонниками. Но в создании этого великого действовали силы, подобные тем могучим и слепым силам, которые подняли громадные горы... Что материальнее, бессознательнее чувства самосохранения? А ведь только эта одна могучая сила двигала нашим народом в его великих, гигантских деяниях. Все его малозамечаемые пока историей создания запечатлены резкой печатью борьбы за жизнь. Слава народу, который выдержал эту борьбу, поучительна история этой борьбы для будущих веков»<sup>2</sup>.

25 июня 1865 года Ключевский получил первую ученую степень «кандидата по историко-философскому факультету». Эта ученая степень присваивалась тогда без защиты лучшим студентам по представлении письменной работы. Ключевский представил выполненную им работу на тему «Сказания иностранцев о Московском государстве», получившую самую высокую оценку и тогда же рекомендованную к изданию.

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 223.

<sup>2</sup> Там же.

Тема первой научной работы была выбрана молодым ученым удачно. Конечно, и до Ключевского крупнейшие историки (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров и другие) широко использовали свидетельства иностранцев о России. Были в отечественной научной литературе и специальные работы, посвященные этой теме. Но работа Ключевского была первым обобщающим исследованием по этой проблеме, выполненным на очень широком круге тщательно отобранных источников. Она потребовала изучения обширной литературы в подлинниках на разных языках, включая древние.

Работа начинающего историка поражает читателя стройностью композиции, живостью изложения, важностью даваемых сведений. Главный герой повествования — это «наблюдательный европеец» (чаще всего дипломат), впервые видящий загадочную Московию. Автор доносит до читателя все новые и новые впечатления иностранца — о стране, ее природе, обычаях, «государевом дворе», «приеме иностранных послов», войске, системе управления, населении, городах, торговле. Каждой из тем посвящалась специальная глава.

В подходе к прошлому у молодого Ключевского, наряду с традиционными для русской исторической школы того времени проблемами (установление и развитие государства, колонизационные процессы), есть и новации — это прежде всего интерес к экономической тематике и хозяйственной жизни народа; есть и антисамодержавные тенденции (упоминание о «страшном образе» — Иване IV, заявление о том, что от самовластия народ «так одичал и огрубел»). Но, конечно, подобные рассуждения — всего лишь слабый отблеск тех глубоких и тревожных раздумий Ключевского, которыми он был охвачен в университете и которые доверил только своему дневнику. Текст же «Сказаний», а еще больше данные писем и дневниковых записей автора свидетельствует, что он писал в своих исследованиях далеко не все, что знал по избранной теме и о чем думал. «Сказания» были опубликованы в Ученых записках Московского университета, а затем, в том же 1866 году, изданы отдельной книгой «Обществом распространения полезных книг». Тираж был быстро реализован, но, несмотря на явный успех, автор упорно, до конца дней отказывался переиздать свой труд, первую пробу пера<sup>1</sup>.

Кандидат Ключевский был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию (что-то близкое к нашей нынешней аспирантуре) на кафедре русской истории, возглавляемой профессором С. М. Соловьевым. На содержание ему полагалось по тысяче рублей в год. Но два года быстро истекли, а Ключевский диссертацию еще не закончил и остался без средств к жизни. Выход был найден Соловьевым, предложившим ученику место своего ассистента на возглавляемой им кафедре истории в Александровском военном училище. Это было училище высшего типа, только что открытое по инициативе военного министра Д. А. Милютин, известного реформатора русской армии, Милютин даже именовал его «вторым Московским университетом». Работать

---

<sup>1</sup> Эта работа Ключевского была переиздана вторично только в 1918 г. и давно является библиографической редкостью.

в нем приглашались лучшие преподаватели, известные ученые; учебный процесс был близок к чтению университетских лекционных курсов, сочетался со строгой проверкой знаний слушателей, включая контроль за записью лекций. С 1867 года Ключевский включился в эту работу и вел ее в течение 16 лет (позже по совместительству).

Магистерская диссертация Ключевского, которой он отдал шесть лет напряженного труда, была посвящена выяснению роли монастырей в истории русской крестьянской колонизации. Последней Ключевский, следуя в этом вопросе за своим учителем Соловьевым, придавал огромное значение в истории России. Ему принадлежит афоризм, гласящий, что история России — это история страны, которая колонизируется. В процессе работы над диссертацией Ключевский опубликовал в университетских записках исследование о роли Соловецкого монастыря в заселении островов, где был описан социальный и национальный состав местного населения, характер земледелия и промыслов. Основной вывод молодого ученого гласил, что монастырь не был пионером в заселении и освоении островов, а лишь продолжал и развивал дело, начатое русскими поморами. Монастыри идут за крестьянской, промысловой колонизацией («куда ходили топор и соха») и закрепляют ее успехи. Источник для решения этой темы был избран новый, необычный и еще не освоенный, потребовавший громадного труда — изучения житий святых. Ученый проанализировал 250 редакций житий, просмотрев около 5 тысяч списков.

Осенью 1871 года диссертация Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник»<sup>1</sup> была опубликована. Тогда издание осуществлял за свой счет сам соискатель, но у Ключевского для этого не было средств. Помог известный издатель-демократ К. Т. Солдатенков. Результаты исследования свидетельствовали, что жития особым богатством содержания не отличаются, полны «общих мест», что они «как две капли воды» напоминают друг друга и мало в чем соответствуют исторической действительности. Житие, говорил позже Ключевский студентам, так же отлично от биографии, как икона от портрета. Исключение Ключевский делал для древнейшего жития Александра Невского, которое суть неповторимый, исключительный случай, прочие же жития суть легенды, рисующие не индивидуальные черты исторического лица, а скорее общий идеал подвижника. «Я в житиях усомнился», — признавался позже Ключевский, подводя итог своим раздумьям о них как о своеобразном историческом источнике.

8 июня 1871 года Ключевский защитил магистерскую диссертацию. Оппонентами на диспуте Ключевского были назначены профессор С. М. Соловьев (ректор университета) и профессор Н. А. Попов (декан факультета).

<sup>1</sup> В 1988 г. это исследование переиздано Московским университетом. Роль монастырей в нашей истории до конца не выяснена и по сей день; она несомненна в плане развития духовной культуры, просвещения и в организации отпора иноземным вторжениям: монастыри стенами и крестом многократно заслоняли русскую землю.

В прениях в качестве неофициального оппонента принял участие профессор Ф. И. Буслаев. Тогдашние магистерские и докторские диспуты значительно отличаются от ныне практикуемых защит диссертаций. Письменных предварительных отзывов не было, и, значит, защищающийся не знал, что скажут оппоненты. К тому же традиция запрещала сразу же давать высокую оценку труда соискателя. Живой диалог, импровизации, сменявшие друг друга, требовали от диссертанта немало остроумия, находчивости, ораторского дара и, разумеется, научной эрудиции. Ключевский обладал всем этим в избытке. Защита, по свидетельствам современников, привлекла многочисленную публику, «особенное множество дам», и прошла с «живым увлечением».

Магистр Ключевский получил доступ к чтению лекций и был избран советом Московской духовной академии на должность приват-доцента. Он проработал в этой академии без перерыва 36 лет, вплоть до 1907 года.

Весной 1872 года Ключевский был избран доцентом духовной академии «по классу русской гражданской истории», вскоре Соловьев передает ему кафедру истории в Александровском военном училище, а с осени того же года Василий Осипович взял на себя чтение лекций на Московских высших женских курсах. Он преподавал также и в известном училище живописи и ваяния. А ведь еще были и публичные лекции, и общественные события, за которыми историк с жадностью следил и откликался статьями, и работа в Обществе Истории и древностей российских при Московском университете, которое ему вскоре пришлось возглавить. Читая курсы в трех (а позже даже в пяти) высших учебных заведениях, Ключевский умел выкраивать время для науки. Становится понятным его афоризм, что тому, кто не способен работать по 16 часов в сутки, не стоило рождаться. Это списано с собственного опыта.

Во время работы над магистерской диссертацией многое изменилось и в личной жизни историка.

Неустроенному холостяцкому быту был положен конец. Ключевскому было уже 28 лет, и стремление завести свою семью, свой дом, создать нормальные условия для исследовательской работы вполне естественны. В юные годы он мечтал о будущей избраннице сердца как об идеальном друге, девушке, стоящей «выше потребностей своего пола», которая «умеет милым женским сердцем отозваться на великие вопросы времени». Такую девушку Ключевский встретил на своем жизненном пути, ею была Анна Михайловна Бородина (сестра сокурсника по университету). «Благодатным тихим гением», «добрым другом» именовал ее Ключевский. Но судьбе было угодно, чтобы женой историка стала ее старшая сестра Анисья (род. 21 декабря 1837 года). В январе 1869 года состоялась свадьба. Историк поселился с молодой женой в любимом Замоскворечье у Полянского рынка. Несколько позже он выкупил полюбившийся особнячок, в котором и прожил до конца дней своих. В этом доме 6 декабря 1869 года у него родился сын Борис, оставшийся единственным в семье ребенком.

В новых условиях семейного уюта, созданного женой, Ключевский завер-



шил работу над магистерской диссертацией и начал работу над новым исследованием, которому посвятил десять лет жизни. Им была избрана тема: «Боярская дума Древней Руси. Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества». «В предлагаемом опыте,— говорилось во введении (позже сильно измененном),— Боярская дума рассматривается в связи с классами и интересами, господствовавшими в древнерусском обществе». Так к истории политических учреждений в России еще никто не подходил. Замысел был смелым. Явно чувствовалась связь авторских новаций с духом времени, с борьбой за политические свободы, которую вели в то время с самодержавием демократические силы, передовая подцензурная печать, либеральная оппозиция, действовавшие нелегально революционные кружки и организации («подполье»).

В уме Ключевского претворялись в исторические разыскания самые насущные задачи дня. Связь настоящего и прошедшего для него была очевидна, как, наверное, никому тогда в России: «Мы гораздо более научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот». И еще: «История не учительница, а надзирательница», «наставница жизни, она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», «Чтобы идти твердо, надобно знать почву, по которой идем».

В минуты тяжелых раздумий о судьбах Родины историк готов был признать, что единственным спасением для отечества является установление республики. «Надо,— пишет он,— молча, стиснув зубы, поступить русским людям так, как некогда в минуту грозной опасности поступали великие народы античности: выбирался надежный муж, которому республика давала полномочия смотреть, чтобы отечество не потерпело какого урона, и пользоваться для этой цели имуществом и жизнью всех сограждан»<sup>1</sup>.

Конечно, в опубликованных лекционных курсах, монографиях и статьях Ключевского мы не найдем подобных, откровенно изложенных доводов за республику, против деспотизма. Ключевский и не мог в самодержавной стране под бдительным надзором «голубых мундиров» этого сделать. Но в свете приведенного признания в пользу избираемого народом для собственного спасения республиканца-диктатора, наделенного чрезвычайными полномочиями, становится более понятен постоянный, неизменный его интерес к истории сословно-представительных учреждений на Руси, начиная с древнего веча, общего собрания сограждан, на котором «старцы градские» решали мирские дела, вплоть до более поздних Земских соборов и Боярской думы. Он скорбел об отсутствии политических свобод в родном отечестве и с горечью сетовал в одном из писем близкому другу о «паскудных политических правах российского гражданина».

Первейшей задачей, стоявшей перед русским обществом, он считал отыскание политических прав, конституционное их закрепление, созыв народных представителей, от которых бы власть предрержащие могли услышать подлин-

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 240—349.

ный голос земли, узнать о нуждах и чаяниях народных. Ключевский разделял весьма распространенное в обществе мнение, что крупнейшим пороком «великих реформ» 60-х годов XIX века, открывших новый период русской истории, является их незавершенность, отсутствие политической свободы, что их следовало увенчать созывом парламента (Земского собора), разработкой конституции, достойной XIX века, для которого, по его словам, характерна тоска по свободе, охватившая все человечество.

Ключевский боролся за реализацию этой задачи как мог и умел. Земскому собору и Боярской думе, которые рассматривались им как исторические предтечи всероссийского парламента, он посвятил ряд превосходных исследований, выполненных на основании широкого круга самых разнообразных источников. Биограф Ключевского академик М. В. Нечкина в связи с его дотошностью как источниковеда замечает, что объем первоисточников, привлекаемых им к исследованию избранной темы, проще было бы исчислить в пудах, нежели в архивных единицах<sup>1</sup>. Неудивительно, что при таком основательном погружении в первичный материал Ключевский десять лет проработал над монографией «Боярская дума». Чтобы восстановить облик этого своеобразного, по его мнению, «конституционного учреждения», Ключевский привлек обширный круг источников. Он проанализировал разнообразную литературу вопроса от «Полного собрания русских летописей», «Собрания Государственных договоров и грамот» до «Полного собрания законов», некогда подготовленного М. Сперанским. Широко использованы исторические работы В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина, Н. И. Костомарова и, конечно, С. М. Соловьева; ссылки на учителя особенно часты в тексте. Нельзя не отметить и «Собрания актов», принадлежащих автору.

Исследование, посвященное предыстории русского парламента, совпадало по времени (и не случайно) со второй революционной ситуацией в России, возникшей на рубеже 1870—1880-х годов. Вновь, как в 60-е годы, слова «конституция», «собрание выборных представителей земли русской», «увенчание здания» и пр. были у всех на устах. Многим современникам казалось, что самодержавие заколебалось, что еще одно усилие — и откроется наконец дорога к свободе, конституции, но на это энергичное усилие в русском обществе вновь, как и в 60-х годах, напора, мощи не хватило. Вот под эту борьбу исследователь и подводил свой исторический фундамент, крепко им сработанный, как все, что выходило из его рук.

Историк подчеркивает, что «великие реформы» 60-х годов пробудили в русском обществе необходимость заглянуть в глубь веков своей истории и поискать, нет ли в нашем прошедшем таких общественных отношений, которые еще могли бы быть восстановлены и послужили бы интересам настоящего. Ключевский полагал, что глубокое постижение исторического опыта народа может послужить надежной основой того здания политических свобод, за которые народ боролся.

<sup>1</sup> См. Нечкина М. В. Указ. соч. С. 133.

Работа над «Боярской думой» шла к завершению в обстановке общедемократического оживления, подъема конституционных оппозиционных настроений, охвативших широкие слои общества. Но еще до окончания работы над докторской диссертацией в жизни Ключевского произошли очень важные изменения. 4 октября 1879 года после тяжелой болезни умер учитель, ректор университета, академик, государственный историограф С. М. Соловьев. Незадолго до этого, 12 сентября, Ключевский (еще только магистр) был единодушно избран доцентом университета на место, оставленное Соловьевым, и в новом учебном году продолжил его лекционный курс. Первая лекция состоялась в Большой словесной аудитории. Университетская традиция требовала, чтобы первая лекция была посвящена предшественнику, а курс лекций являлся прямым продолжением ранее прочитанного.

Ученику было что сказать об учителе, возглавлявшем кафедру 35 лет (с 1845 по 1879 год). Соловьев закончил свое чтение эпохой Петра I, и Ключевскому следовало говорить о преемниках великого реформатора. Он нашел что сказать. Студенты громом аплодисментов проводили лектора, произнесшего с высокой кафедры столь желанное слово «свобода». Ключевский подчеркнул, что Петр оставил после себя «недостроенную храмину» (известные слова А. Меншикова), что его реформы и не могли дать желаемых результатов, ведь, для того «чтобы Россия могла стать богатой и могучей, нужна свобода. Ее не видела Россия XVIII века». Отсюда, по мнению Ключевского, ее «государственная немощь».

«Петр был жертвой собственного деспотизма. Он хотел насильем водворить в стране свободу и науку. Но эти родные дочери человеческого разума жестоко отомстили ему... Деятельность Петра сплелась из противоречий самодержавного произвола и государственной идеи общего блага. Через Полтаву он выходил на большую европейскую дорогу, но по-прежнему оставался туп к пониманию пути народа».

После смерти Петра I, говорил Ключевский, «русский престол стал игрушкой для искателей приключений». «Благо народное,— любил говорить Петр I,— истинная единственная цель государства», но после его смерти об этих великих принципах его наследники уже не вспоминали, государство отождествляли с царскими чертогами и благо народное подменили заботой об интересах династии. В окружавшей престол придворной камарилье не было защитников народных интересов и «крайне мало людей мыслящих»<sup>1</sup>.

Конечно, между университетским лекционным курсом и работой над исследованием о Боярской думе была прямая связь — они взаимно питали и поддерживали друг друга, много из монографии прямо уходило в лекции, а последние контакты-споры с молодежью давали материал для широкого исторического фона монографии.

Ключевский считает Боярскую думу «конституционным учреждением» «с обширным политическим влиянием», хотя и не имевшим «конституцион-

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. 4. С. 234.

ной хартии», иными словами, эти влиятельные конституционные институты не были юридически оформлены. Следовательно, в России конституционные традиции (Вече, Боярская дума, Великие соборы, мирское самоуправление и т. д.) уходят в глубь веков, они суть древние права народа, похищенные царями. Речь идет о возвращении, восстановлении этих искони национальных институтов. Историк как бы «открывает» в далеком прошлом позабытые демократические традиции и учреждения. Следует сказать, что подобный подход к завоеванию политической свободы и конституционному ее закреплению не был чем-то исключительным. Правда, предшественники Ключевского, поднявшие вопрос о «возвращении древних политических свобод», и такие, как А. Н. Радищев, и как Д. И. Менделеев, говорили и ссылались обычно на вечевые традиции древнего Новгорода. На вече ссылались и декабристы. Ключевский подошел к проблеме несколько по-иному, доказывая, что и после гибели Новгородской республики и помимо вечевых традиций в Древней Руси вплоть до Петра I были институты, существенно ограничивавшие самовластье московских великих князей и самодержцев. Зачатки этих «конституционных учреждений» Ключевский видел еще в совете бояр при киевском князе в X веке, затем в Боярской думе и Земских соборах при Иване Грозном и первых Романовых.

Текст диссертации первоначально был опубликован весной 1881 года в журнале «Русская мысль», одном из лучших в те годы (в нем сотрудничали многие демократические деятели, классики словесности; членом редакционной коллегии журнала долгое время был Ключевский). Это были месяцы наивысшего подъема в общественном движении пореформенной России. Вопрос о созыве Земского собора, о завоевании (или «даровании») конституции казался тогда близким к решению.

В журнальном тексте были целые разделы, позже в издание отдельной книгой не вошедшие, наполненные выгодами против самовластия московских великих князей, аристократии и поместного дворянства. Эта журнальная публикация имела эффектную концовку (позже исчезнувшую). Историк поведал, а читатель прочел, как в 1698 году подручные царевны Софьи, незаызвестный Шакловитый, уговаривал стрельцов просить царевну венчаться на царство, и когда стрельцы возражали: «А патриарх и бояре?» — Шакловитый отвечивал им: «Патриарха можно сменить, а бояре — что такое бояре? Это зяблое упавшее дерево». Такова была конечная оценка историком русского боярства, никогда не покушавшегося на полноправное участие в управлении государством.

Но если бояре — аристократы, потомки рюриковичей — всего лишь историческая труха, «давно спетая песня или детская сказка», то дворянство Ключевский вообще не ставил ни в грош, ибо дворяне ведь не аристократы — а потомки придворных лакеев, дворни княжеской, о чем говорит само их наименование. Они присвоили плоды народного труда, обошлись с русским крестьянством хуже чужеземных завоевателей. Таков был конечный антидворянский вывод Ключевского. (Знаменитый «антидворянский силлогизм».)

Свободолюбием дышит и его речь о Пушкине, произнесенная в те же дни во время знаменитых пушкинских торжеств в Москве.

В окончательном тексте «Боярской думы» уже сказалась общая атмосфера реакции. Многие заветные мысли, важные выводы историку пришлось прятать, говорить эзоповским языком. Так, общая оценка Боярской думы как влиятельного конституционного учреждения дана в источниковедческом рассуждении, в сетовании историка об отсутствии у Думы «своего архивного фонда». Вот этот примечательный текст: «Политическая и административная история Боярской думы темна и бедна событиями, лишена драматического движения. Закрытая от общества государем сверху и дьячком снизу, она является конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии, правительственным местом с обширным кругом дел, но без канцелярии, без архива. Таким образом, исследователь лишен возможности восстановить на основании подлинных документов как политическое значение Думы, так и порядок делопроизводства».

В конце 1882 года работа над окончательным текстом докторской диссертации была завершена и рукопись (более 500 страниц текста) сдана в типографию. К весне книга была готова и долгий путь к докторской степени завершен. Предстояла защита. Она состоялась 29 сентября 1882 года в актовом зале университета, который был «битком набит» публикой. Официальные оппоненты профессор Н. А. Попов, профессор русского права Д. И. Мрочек-Дроздовский, неофициальные — профессор Д. И. Иловайский и профессор А. С. Павлов высоко оценили исследование, подчеркнув, что оно должно стать настольной книгой для всякого изучающего русскую историю.

Провозглашение Ключевского доктором русской истории, как свидетельствуют очевидцы, зал встретил шумным восторгом, аплодисментами, возгласами «браво!». «Стоял стон от рукоплесканий». Это был триумф, признание со стороны молодежи, московского общества. Это было чествование популярнейшего лектора — защита совпала с десятилетием его лекционных университетских курсов. 2 октября Ключевский был утвержден советом Московского университета в докторской степени, а 13 ноября единогласно избран профессором по кафедре русской истории. До последних дней жизни он оставался на этом посту. Только незадолго перед кончиной историк взял годичный академический отпуск и посвятил его подготовке к изданию своего прославленного лекционного курса русской истории, до того многократно стенографировавшегося и размножавшегося слушателями. Лекции, их стенографические записи, публичные выступления принесли Ключевскому громкую славу.

В 1887 году Ключевский был назначен деканом своего факультета, но пробыл на этом посту всего полтора года и настоял на освобождении, ибо мелкая административная суэта требовала массу времени, а его и так не хватало, ведь лекции он читал ежедневно в нескольких высших учебных заведениях, притом дважды в неделю приходилось ездить в Троицко-Сергиевский посад, в лавру, где была расположена духовная академия. Но, едва освобо-

дившись от деканства, он тут же был назначен проректором (по-тогдашнему, помощником ректора). Но и на этом посту был не более, чем на первом, и в декабре 1890 года добился все же освобождения от докучавших ему административных постов, о пребывании на которых говорил не без горечи и с присутствующим ему юмором, что начальство хотело посадить его на горячую сковородку, именуя ее то отдельным кабинетом, то казенной квартирой с отоплением.

Он предпочитал оставаться просто профессором, превыше всего ценя возможность повседневно общаться с молодежью, между его кафедрой и аудиторией устанавливались как бы особые взаимные токи притяжения, без которых жизнь для профессора была невыносима. Не без иронии он как-то заметил, что есть громадная разница между профессором и администратором, хотя и выражена она всего в двух буквах: «Задача первого — заставить себя слушать, задача второго — заставить себя слушаться».

Не единожды Ключевский протестовал против полицейского вторжения в науку, вступался за преследуемых жандармами студентов. (Недаром он был под негласным надзором полиции.) В декабре 1894 года Ключевский, совместно с Тимирязевым, Сеченовым, Столетовым, Зелинским, Виноградовым, Герье и другими (всего 42 профессора), выступил в защиту преследуемых царскими властями студентов. Их петиция была поддержана попечителем Московского учебного округа графом П. Капнистом (потомком декабриста). Ответ властей не был неожиданным, скорее традиционным: студентов сослали в административном порядке, профессорам объявили выговоры за недопустимое поведение.

Незаметно подкатил и 1908 год — год избрания Ключевского в почетные члены императорской Академии наук по разряду изящной словесности (по этому же разряду, идущему еще от Российской академии, некогда избирались Фонвизин, Карамзин, Крылов, Пушкин, Жуковский, затем Короленко, Бунин, Чехов). Незадолго до этого профессор по выслуге лет был произведен в чин тайного советника, получил орден Станислава I степени. Но все эти знаки мало его трогали. Скорее наоборот. Далеко не случайно он отказался от звания члена Государственного совета, куда был избран по академической курии.

В декабре 1909 года был отпразднован золотой юбилей преподавательской работы Ключевского в Московском университете (день в день 5 декабря 1909 года), первая его лекция в Большой словесной аудитории, в здании на Моховой, состоялась 5 декабря 1879 года.

Был юбилейный сборник статей друзей и учеников профессора, обзоры его трудов, речи, телеграммы, венки. Ключевский, незадолго до этого потерявший жену (21 марта 1909 года) и, по отзывам близких, весь ушедший в себя, друзьям признавался, что намерен «собраться с силами». Речь шла об изданиях лекционных курсов. По авторскому замыслу, они должны были быть доведены до эпохи Александра II. Надобно заметить, что до Ключевского систематического освещения истории XIX века, тем более пореформенного

периода, еще не было. Но не только в этом было общественное значение его многогомыслия. В лекционных курсах, известных широкому читателю, было немало антидворянских и антидеспотических выпадов, еще больше их было в устных лекциях. Громадным ярмом, сгибавшим в три погибели русского крестьянина, историк считал крепостничество, подлое право распоряжаться трудом, телом, душой себе подобных. «Крепостной труд — ежеминутный саботаж — работа, низверженная до допускаемого законом минимума. Нынешняя политика менять законы, реформировать права, но не трогать господствующих интересов». И еще: «В нашем обществе, проходящем еще периоды геологического образования, каждое сильное лицо само вырабатывает понимание вещей и правила своей деятельности... Оно, как Адам, дает вещам свои имена». Самодержавие и крепостничество, говорил историк, повинны даже более татаро-монгольских ханов в историческом отставании России. «Мы,— писал в дневнике Ключевский,— отстали от Западной Европы на два века, то есть на весь период господства крепостничества».

Ключевский отрицал наличие каких-либо принципиальных отличий между историей России, с одной стороны, и историческим путем, пройденным западноевропейскими народами. «У России общие основы жизни с Западной Европой, но есть свои особенности». По его словам, нет места для противопоставления двух культур, встреча России с Западной Европой (эпоха Петра Великого) — это, по его словам, встреча двух исторических возрастов.

Интересную запись Ключевский оставил в дневнике: «Россия и Франция в 1892-1893 гг.— бывшая революционерка и будущая». Она заслуживает внимания, и дело не только в том, что отмеченное историком время — это пора «исторического пессимизма», как научно выразился П. Н. Миллюков. Ключевский отметил в дневнике столь поразившее многих современников франко-русское сближение и одновременно разрыв традиционной для династии Романовых германо-русской дружбы, которая, по существу, была не союзом наций, а союзом императоров, двух династий — Гогенцоллернов и Голштинцев. Крутой поворот в политике нес многое — и «таможенную войну» с Германской империей, и «Марсельезу», прозвучавшую над «Маркизовой лужей», заставившую Александра III обнажить голову при звуках революционного гимна, исполнение которого каралось в его империи каторгой. Но эта дневниковая запись напоминает не только об этом. Запись историка констатирует, что уходящее столетие было веком Франции, разливавшей по всей Европе идеи революции и социализма, но и сотрясавшей Европу громом наполеоновских пушек; в 1855 году развалины Севастополя вновь напомнили о пожаре Москвы. Не просто куском истории был XIX век для Ключевского. В будущую Россию, в революцию русских верил Ключевский и эту заветную мысль выразил в дневнике. А что касается «нового царствования», то именно в эти годы, годы правления Николая II — «нового барина», Ключевский пишет, что самодержавие, самовластье ненавистно, неприемлемо, с ним никогда не примирится совесть, никогда его не примет разум. «Русские цари — мертвецы в живой обстановке».

«...Русские цари не механики при машине, а огородные чучела для хищных птиц». «Екатерина своей популярностью обязана ужасам времени Анны». С Александра I они почувствовали себя Хлестаковым на престоле. «Николай I — военный балетмейстер, и больше ничего». «Николай I своей предательской бенкендорфовщиной старался вогнать общественное недовольство в заговор... и постыдное царствование Николая I... кончилось севастопольским поражением и Парижским миром. Настоящим питомником русской конспирации было правительство Александра II... Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поощрял слуг, которые их разрушали... Наступило царствование Александра III... Логика петербургских канцелярий вскрылась догола как в бане»<sup>1</sup>.

Законы Российской империи Ключевский считал основой народного бесправия. «Мы размышляем, как управляемся. Самовластие из политического порядка стало методом нашего мышления, произвол из Свода законов перешел в наш мозг». Но, конечно, не только самодурство императора и придворной камарильи он видел в истории. Он отмечал и такие события, как «сокрушение Наполеона», выход русского народа на Амур-батюшку, к Черному и Балтийскому морям, падение крепостничества, участие в освобождении болгар и других славян Балканского полуострова, сравнительно быстрое развитие промышленности, торговли, путей сообщения в «новый период» истории, когда на смену земледельческой Руси шла Россия фабрично-заводская.

Особо же гордился историк успехами русской духовной культуры, специально отмечая «расцвет русской литературы и русского искусства, русского творческого гения», и даже называл плеяду особо дорогих ему имен: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, граф А. Толстой, граф Толстой (Лев) — яркая звезда на мировом культурном небосклоне»<sup>2</sup>. Раскрывая громадное значение классической литературы в национальной жизни, он писал: «Желал бы я видеть смельчака, историка той, т. е. нашей эпохи, который решился бы обойтись без Тургенева, Достоевского и т. д. не в главе о литературе, а в отделе об общественных типах»<sup>3</sup>.

«И за этими тремя как будто светлыми сторонами жизни открывается четвертая — совсем теневая, даже мрачная: небывалый организованный гнет правительственной опеки и полицейского сыска... Всякое движение свободного духа заподозривается как подкоп под основы существующего порядка... Какой смысл в этом хаосе? Это задача исторического изучения. Мы не можем идти ощупью в потемках. Мы должны знать силу, которая направляет нашу частную и народную жизнь. С 1801 года два параллельные интереса: постройка европейского государственного фасада и самоохрана династии».

Слабым местом в исторических воззрениях Ключевского казалась общая теория исторического процесса, методология. Он много думал над этими

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 333—339, 385—395 и т. д.

<sup>2</sup> Там же. С. 386—387.

<sup>3</sup> Там же.



проблемами, читал специальные университетские курсы по историографии и методологии и не раз высказывал сомнение в наличии объективных исторических закономерностей, поддающихся точному научному познанию. Так, в феврале 1903 года он пишет: «Что такое историческая закономерность? Законы истории, прагматизм, связь причин и следствий — это все понятия, взятые из других наук, из других порядков идей. Законы возможны только в науках физических, естественных... История — процесс не логический, а народно-психологический... Метод — народно-психологическое чутье»<sup>1</sup>.

В последние годы жизни Ключевский, после революционных событий 1905-1907 годов, которые он видел собственными глазами и которые тяжело пережил (более всего его поразило Кровавое воскресенье 9 февраля 1905 года — «это наш второй Порт-Артур: войско согласилось стрелять в народ»), постепенно прекращает преподавательскую деятельность, все более сосредотачиваясь на подготовке к изданию своих лекционных курсов.

Великий историк скончался в полдень 12 мая 1911 года, похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. Гроб с телом любимого профессора студенты несли до самой могилы на руках.

Споры о Ключевском не умолкают, издания его лекционного курса по русской истории, его статей, писем, мыслей об истории не залеживаются на книжных полках и давно стали любимы нашим народом. В чем секрет обаяния Ключевского как исследователя прошлого народа? Ведь Ключевский не поднялся до последовательного материалистического познания, понимания истории, хотя и шел к нему. Сам он многократно отмечал действие в историческом процессе нескольких факторов, нескольких, как он говорил, элементов, как-то: природной среды, социальной психологии, нравственности, политических и общественных институтов и экономики. Влияние последней, по его мнению, ощутимо стало сказываться в новый период нашей истории, и оно особенно сильно после падения крепостного права и «великих реформ» 1860-х годов. От этих признаний до выдержанной, научной теории конечно же далеко. К слову сказать, сходную теорию множественности факторов, определяющих исторический процесс, исповедуют в наши дни многие историки на Западе. Некоторые из них даже провозглашают клич: назад, к Ключевскому. Но под прикрытием славословия в адрес великого сына России, они втихомолку искажают его мысль, оценки исторических событий и лиц, приписывая ему собственные, прямо скажем, русофобские статьи, отрицающие какую-либо положительную роль народов СССР в прошлом и настоящем, выводящих нашу страну на обочину всемирной истории.

Величие Ключевского как исследователя и лектора в том, что он обладал изумительным даром не только и даже не столько анализировать минувшее,

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Письма... С. 282—283.

В этих мыслях Ключевского много верного. Господствовавшее в годы сталинизма и застоя вульгарно-социологическое понимание истории, игнорирование роли духовной культуры, забвение роли личности в истории полностью себя скомпрометировали.

сколько воссоздавать в художественных образах события и лица, о которых начинал говорить с кафедры. Ему часто было тесно в рамках традиционных исторических курсов, и он рвался и прорывался в историю изящной словесности, в историю искусств, писал великолепные исследования о классиках русской литературы, консультировал Федора Ивановича Шаляпина, когда тот готовился к роли Бориса Годунова, и, как признавал сам артист, в его Борисе многое подсказано Ключевским, отыскано вместе с ним.

\* \* \*

Историко-литературные исследования занимают особое место в творческом наследии Ключевского. Еще при жизни ему удалось часть их опубликовать. Как правило, его статьи приурочивались к юбилейным датам. Так появились очерки: о Лермонтове («Грусть»), Пушкине («Евгений Онегин и его предки»), знаменитая речь на Пушкинском празднике 1880 г. и вторая в 1887 г.), о Фонвизине и Новикове. Позже они вошли в Собрание сочинений (1959 г.). Другая часть осталась в набросках, сохранившихся в архиве в разной стадии завершенности. Ныне они вышли в свет<sup>1</sup>.

Но как ни важны дневниковые и публицистические материалы, важнейшим источником для оценки позиции и взглядов Ключевского остается его лекционный курс, полностью завершенные, тщательно подготовленные публичные выступления, статьи и речи. Очерки Ключевского, посвященные классикам русской литературы, органично вытекают из его понимания исторического процесса. Вместе с тем они имеют и самостоятельное значение: перед нами суждения классика исторической мысли, признанного мастера слова, социально-психологического портрета, его суждения об изящной словесности. Читать суждения классика о классиках, следить за движением мысли умного человека, как говаривал сам Ключевский,— это увлекательное, да и поучительное занятие.

Показателями роста развития народа, его духовной культуры историк считал творчество Ломоносова, Новикова, Фонвизина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого, Чехова. Выбор имен и тем был продиктован и потребностями работы над лекционным курсом, и в еще большей степени общим ходом всей истории народа, желанием активно участвовать в обсуждении историко-культурных и политических проблем.

Одной из основных своих задач как исследователя В. О. Ключевский считал анализ роста «политического самосознания великорусского общества», понимаемого не только как история общественной мысли, но и как история национального сознания и самосознания, отразившихся в духовной культуре, словесности нашей. Он говорил, что научная цель его «Курса» будет полностью достигнута, если ему удастся изображение русского народа «как

<sup>1</sup> См.: К л ю ч е в с к и й В. О. Неопубликованные произведения. М., 1938; Он же. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. Эти материалы использованы в настоящем издании.

исторической личности», с ясно выраженным национальным характером, пониманием своего места среди других европейских наций, своего мирового значения. Историк стремился раскрыть условия и формы жизнедеятельности нации в процессе собирания «земель» и превращения московского княжества в «национальное великорусское государство», занявшего столь важное место в семье европейских народов.

Ключевский связывал формирование русской — великорусской нации с новым периодом истории, превращением земледельческой страны в фабрично-заводскую, с трудностями и противоречиями этого процесса, вызванными рядом внешнеполитических и внутренних явлений. Вовне — это продолжение собирания «отчин», тяжелая борьба с иноземными нашествиями и угрозами, внутри — усиление самовластья, военной бюрократии, превращение поземельной зависимости крестьян от бояр и дворян в крепостную неволю (закрепощение личности); сопротивление земледельцев этому закабалению, выразившееся в самых различных формах. Эти факторы не прошли бесследно и для духовного облика народа, особенностей национального характера, всего нравственного духовного облика формирующейся нации. Эти же факторы явились основной причиной отставания России от западноевропейских стран, возросшего именно в это время.

Известна формула Ключевского, что Россия отставала от Запада на целую историческую эпоху — на крепостное право. Истоки этого явления в событиях XVII века, когда на западе Европы на развалинах феодального порядка возникают большие национально однородные централизованные государства. Там производство все более вырывается из тесных рамок феодального хозяйства. Великие географические открытия, технические изобретения открывают для этого дополнительные возможности. Отсюда, указывает Ключевский, идут такие явления и процессы, как «развитие фабричной промышленности», «буржуазный индустриализм», «политическая централизация», которые сопровождаются «успехами в развитии техники, административной, финансовой и военной», появлением и развитием теорий народного и государственного хозяйства, возникает и развивается идеология и культура Просвещения. «Россия, — отмечает Ключевский, — не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и на кормление дворян, правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не делавших и не способных сделать что-либо для экономического и духовного развития народа». В этих-то условиях и возникло новое в русской истории явление — западное влияние (западничество), суть которого состояла в убеждении, что растущее отставание от Европы (все более и более осязаемое, но доходившее до понимания высшей власти только через поражения на поле брани, военно-дипломатические затруднения, — иноземные ядра выбивали татаро-византийскую самонадеянность!) невозможно преодолеть «домашними средствами». Вначале у правительства возникла потребность в полках иноземного строя, немецких пушках, потом и потребность в иноземной науке и культуре.

Западничество, и особенно его излишества, крайности, заимствование всего

иноземного, принимавшее порой гротескные формы, нарушало духовную цельность русского общества, вызывало голоса протеста, призывы к сохранению или возвращению (это уже позже) самобытного национального развития. Развитие национального самосознания все более и более отчетливо вело к осознанию коренного противоречия западничества, а именно к стремлению преодолеть отсталость при сохранении коренных причин, ее вызывающих: самовластия царского двора, придворной камарильи, военной бюрократии и прочей «татарщины», «византиевщины», «централизации» — как обычно говаривал Ключевский, слегка прикрывая в курсе свой демократизм. Отсюда его вывод, что подлинная национальная самобытность возможна только в условиях свободы. Поиск этого вывода, его обоснование, все более полная формулировка, раскрытие и пропаганда (закрепление в умах соотечественников), в том числе и средствами художественной литературы, и составляет, по Ключевскому, суть того, что мы называем развитием национального самосознания, что входит в научное понимание нации (особенности национального характера, культуры, проявляющиеся в истории). Особенностью развития духовной культуры великороссов, по мнению Ключевского, явилась и та особая роль, которая выпала на долю знаменитого спора западников и славянофилов («люболюсов» — по выражению Ключевского). Речь в споре шла о развитии национального самосознания, поиске условий, необходимых для свободного, всестороннего развития народа великорусского, его физических, нравственных, духовных сил, увеличения народонаселения, роста его благосостояния. Самобытничество и западничество — суть крайние формы единого процесса развития национального самосознания, при всей кажущейся несовместимости у них общие корни.

В нашей истории, говорил Ключевский, наблюдаются два основных направления в умственной жизни общества, два соответственно взгляда на культурное положение народа, если говорить прямо, две тенденции в понимании коренных условий народной жизни, которые проходят двумя мощными струями, развиваясь, осложняясь, меняя названия, приемы действия, то разгораясь, то замирая, через всю историю нашу окрашивая в свой цвет всю духовную жизнь общества, народа. Историк находит яркие образные сравнения для обозначения соперничества и взаимодействия этих направлений. Он пишет: «То скрываясь куда-то, то выступая наружу, как речки в песчаной пустыне, они всего более оживляют вялую общественную жизнь, направляемую темной, тяжелой и пустой государственной деятельностью, какая с некоторыми светлыми перерывами длилась томительно вплоть до половины XIX века. Впервые оба направления обозначились во второй половине XVII века в споре о сравнительной пользе изучения языков греческого и латинского, так что приверженцев обоих направлений можно было бы назвать эллинистами и латинистами».

Ключевский возражал тем, кто относил возникновение двух основных направлений только к спору западников и славянофилов в 30—40-х годах XIX века, указывая, что надобно видеть суть споров, осложненных часто разного рода посторонними примесями, которые только затемняют суть расхождений. К слову сказать, такого рода «сторонние и туземные примеси»

и в наши дни основательно мешают выяснению исторической истины, порождая в спорах всякого рода односторонние суждения, вплоть до обвинений в «квасном патриотизме», шовинизме, проповеди национализма, оправдании застоя и пр.

Суть спора, указывал Ключевский, нельзя сводить ни к идее славянской общности, ни к оценке реформ Петра Великого, ни даже к проблеме «Русь и Запад», к славянофильству или галломании. Задолго до Петра I в России были сторонники западной культуры, в те годы шедшей в страну через Польшу, Киев, Смоленск; затем западно-польское влияние сменило пронемецкое, а после бироновщины русское дворянство увлеклось французской культурой, и Вольтер воцарился в светских салонах Петербурга и Москвы.

Эти наблюдения Василия Осиповича идут в том направлении, которое было заложено еще Н. М. Карамзиным и сильно развито славянофилами (Ю. Самарин, К. Аксаков), которые обратили внимание на традиции народоправства (Земские соборы, местное самоуправление и выборное начало в судопроизводстве). Примечательно внимание Ключевского к Смутному времени — этому общенациональному протесту против тирании царей, закабаления крестьян, поругания национальных святынь, традиций, обычаев. Еще К. Аксаков связывал со Смутой, с ярко проявившимся в те годы народным влиянием на судьбы Отечества (вплоть до избрания народных представителей новой династии, возрождения роли Земских соборов), свою знаменитую формулу: сила мнения народу, сила власти царю, которую можно определить, как принцип установления народного контроля за действиями верховной власти. Практическое выражение этого принципа К. Аксаков видел как раз в той роли, которую сыграли Земские соборы в Смутное время. Позже 1612 года, как справедливо отмечал Ю. Ф. Самарин, вся деятельность администрации сводилась к уничтожению остатков народного представительства, умалению роли Земских соборов, а позже к полной их ликвидации и торжеству приказно-бюрократической системы власти. Прямым продолжением и развитием этих мыслей являются наблюдения Ключевского<sup>1</sup>, всегда уделявшего особое внимание демократическим традициям великорусов. Идеи самобытности и свободы не ведут свой род со времен Петра, писал Ключевский, «они родились в головах людей XVII века, переживших Смуту. Зарождение этих идей подметил дьяк Иван Тимофеев, написавший в начале царствования Михаила «Временник», т. е. Записки о своем времени. Это очень умный наблюдатель,— отмечает Ключевский,— несчастья своего времени он объясняет изменой старине, разрушением древних законных установлений, отчего русские люди начали вертеться точно колесо, он горько жалуется на отсутствие в русском обществе мужественной крепости, на неспособность его дружным отпором помешать какому-нибудь произвольному или незаконному нововведению. Русские не

<sup>1</sup> Эти мысли Ключевского были развиты акад. С. Ф. Платоновым в работах о Борисе Годунове, Иване Грозном, Смутном времени, первых Романовых; к сожалению, позже интерес к традициям народоправства, самоуправления был в значительной мере утрачен.

верят друг другу, поворачиваются каждый спиной к другому: одни смотрят на восток, другие — на запад. Да, так у него и сказано на его вычурном языке: «мы друг друзе любовным союзом рстояхомя, к себе каждо нас хребты обра- щаемся — овии к востоку зрят, овии же к западу». Первый этап спора двух основных направлений, по Ключевскому, связан с пропольскими симпатиями, принимавшими иногда (например, у Ордина) форму одновременно и обще- славянской взаимности. Западники и славянофилы выступали, таким образом, не порознь, а слитно. Но и в этой форме прозападничество вызывало протест и скорбь об отсутствии у русских людей «мужественной крепости» для сопро- тивления иноземщине.

Второй этап спора — это время Петра I. Положительные его стороны Ключевский отмечал неоднократно. К их числу относил, прежде всего, идею служения Отечеству, «общему благу». Отрицательные усматривал в усилении самовластья, уничтожении патриаршества, забвении идей и традиций Зем- ских соборов, этих носителей высшей законности, в условиях закабаления крестьян. Ключевский неоднократно подчеркивал, что Петр I забыл слово «свобода». Созданная им по иностранным образцам система управления была совершенно чужда национальным традициям народного представительства, Земского самоуправления. При Петре, и особенно при его сторонниках, «цар- ский двор представлял собой подобие крепостной барской усадьбы», где всем заправлял немецкий временщик. Отсюда и реакция: озлобление на немцев — любимцев царских, как следствие оскорбления, поругания национальных чувств. Эта новая струя в политическом настроении общества сопровождалась бурным излиянием патриотических чувств, вплоть до требований поголовного изгнания всех немцев за границу. При Елизавете Петровне, вознесенной на престол этой антинемецкой волной, начался третий, профранцузский этап западничества, который был явлением достаточно сложным, имел свои внут- ренние стадии развития.

Мы обращаем внимание читателя на эти размышления Василия Осипо- вича, ибо они имеют немаловажное значение и для наших дней, отмеченных повышенным вниманием к почвенничеству, его истокам. Суть дела в том, что, по мнению Ключевского, славянофильство в «окончательном складе», как он выразился, сложилось на полвека ранее, чем обычно принято думать, и оно далеко не сводится только к оценке реформ Петра Великого (а ведь это и в наши дни своего рода расхожее суждение). «Во второй половине XVIII века, — пишет Ключевский, — яблоко раздора бросила в русское общество французская просветительская литература в связи с вопросом о значении реформы Петра, о самобытном национальном развитии. Националисты-самобытники называли себя люборусами, а противников корили кличками русских полуфранцузов, галломанов, вольнодумцев, чаще всего вольтерьянцев. Лет 70 тому назад приверженцы одного взгляда получили название западников, сторонников другого прозвали славянофилами. Можно так выразить сущность обоих взгля- дов на этой последней стадии их развития. Западники учили: по основам своей культуры — мы европейцы, только младшие по своему историческому

возрасту, и потому должны идти путем, пройденным нашими старшими культурными братьями, западными европейцами, усвоив плоды их цивилизации. Да, возражали славянофилы, мы — европейцы, но восточные, имеем свои самородные начала жизни, которые и обязаны разрабатывать собственными усилиями, не идя на привязи у Западной Европы. Россия не ученица и не спутница, даже не соперница Европы: она — ее преемница. Россия и Европа — это смежные всемирно-исторические моменты, две преемственные стадии культурного развития человечества». Ключевский не соглашался с односторонностями обоих направлений, но одновременно видел в них «привлекательные особенности». Суть же дела, по его убеждению, заключалась в свободном развитии народа на основе использования всего опыта исторического развития.

«Славянофильство,— значитса в дневниковых записках Ключевского,— история двух-трех гостинных в Москве и двух-трех дел в Московской полиции». Тут, конечно, не оценка славянофильства как течения общественной мысли, а констатация крайней их немногочисленности и, вместе с тем, той особенности умственных исканий периода николаевской реакции, которая салоны и гостинные превратила в политические клубы. Но этой же фразой Ключевский подчеркнул оппозиционность славянофилов николаевскому правлению, их опальное, поднадзорное бытие. Как историк он не мог не знать историческую значимость общественных стремлений к славянской общности и сам же отмечал, что корни славянской взаимности уходят в глубь веков, что не раз эти проблемы привлекали внимание русских деятелей задолго до Хомякова и Аксаковых. «Мысль Ордина (руководителя Посольского приказа в XVII в.— А. С.) о славянском Союзе блеснула ночью и погасла как гроздовая искра», — помечал Ключевский в дневнике.

Очень интересна и важна мысль Ключевского, что мысли и чувства И. С. Аксакова и славянофильства вообще нельзя рассматривать вне развития, нельзя сводить только к спорам о реформах Петра, к фразам о «гниении Запада» и даже к более общей проблеме «об отношении Новой России к древней»<sup>1</sup>, ибо «этими специальными темами славянофильство не исчерпывается». Он видит в нем определенный фазис, определенное направление в развитии самосознания русской нации, или как он сам выразился, «живое патриотическое разумение русских и славянских интересов».

Такой исторический подход лежит в русле исканий, связанных с выяснением места и роли славянофильства в нашей истории, он, начиная с Герцена, был присущ передовым направлениям отечественной мысли. Это признавал также Чернышевский. Спор славянофилов и западников — это первая постановка крупнейших проблем, над решением которых бились не одно десяти-

<sup>1</sup> Совершенно не исследована мысль Ю. Самарина, К. Аксакова, что в древней России заслуживает внимания самоуправление земств, Земские соборы, выборность в судах и т. п. Именно эти учреждения и традиции были уничтожены Петром I, так что нелепо вообще противопоставлять в целом древнюю и новую (последпетровскую) Русь.

летие лучшие умы Отечества. И совсем не случайно Г. В. Плеханов в своей «Истории русской общественной мысли» намеревался специально рассмотреть «эпоху столь богатого теоретическим содержанием спора славянофилов с «западниками», подчеркивал, что участники спора «не были беззаботны насчет судеб своего отечества»<sup>1</sup>.

Демократизм Ключевского вел его к размышлениям и выводам о том, что интересы и взгляды русского крестьянства должны быть не только исходными в суждениях об истории, но и приняты во внимание при оценке произведений искусства и литературы, ибо крестьянство, в противоположность офранцузенному дворянству, является, по существу, основой национальной жизни, хранителем традиций и культуры нации. Отсюда его позиция, отстаиваемая и в лекциях и в спорах. «Я говорил, — помечает он в дневнике, — что вместо того, чтобы украшать русскую мужицкую избу готическим фронтоном («русскую жизнь прикрашивать художественной позолотой»), не красивее ли было бы стильный музей опростить фасадом мужицкой избы». Было бы неверным видеть в подобных заявлениях историка нечто антихудожественное, речь идет не об отрицании искусства, а о борьбе с иноземщиной, отстаиванием национальной самостоятельности, подчеркиванием роли крестьянства в истории, в том числе и в истории духовной культуры.

К народной памяти обращался историк и в тех случаях, когда исторические, письменные источники не давали материала для решения важных вопросов. Характерны в этом отношении его размышления над вопросом: почему именно Москве выпала доля собирательницы русских земель? Ведь были же грады и веси, стоявшие на более удобных водных путях, в устьях или при слиянии крупных рек, были и традиционные политические центры, и вдруг какое-то сельцо, ранее никому не ведомое, вотчины какого-то боярина Кучки стали центром растущего княжества, а потом и могучей державы. Древние памятники нашей истории, отмечал Ключевский, не дают ответа на эти вопросы, они не раскрывают нам сам процесс возвышения Москвы, а повествуют уже об ее крупных успехах, территориальном расширении и политическом возвышении. Но для народа, его исторической памяти эти явления не остались вовсе не замеченными и отразились в народных сказаниях, предметом которых служит первоначальная судьба этого города и его князей. Москва была, по мнению Ключевского, этнографическим центром тогдашней Руси, и именно это определило ее роль, давало ей экономические, военно-стратегические, а позже и политические преимущества. Центр народности стал и центром ею создаваемой державы.

\* \* \*

Русская история должна быть поведена русской речью, говаривал Василий Осипович. Он обладал редким чувством языка, и его книги о том свиде-

---

<sup>1</sup> Плеханов Г. В. Соч. М.-Пг., 1924. Т. X. С. 9.



тельствуют. Его бережное отношение к родной речи логически вытекало из понимания, что язык крепче памяти, что слово нерушимо хранит прошлое, на нем печать времени: «...язык запомнил много старины, овеванной временем с людской памяти». Ключевский неоднократно напоминал, что родная речь является ценнейшим, оригинальным историко-филологическим источником, нетленным памятником прошлого, что именно в языке старина обретает свое бессмертие. Читая и перечитывая Ключевского, воочию убеждаешься, как он внимательно относился к слову, как любовно вслушивался в родную речь, в старинные названия градов, весей, урочищ. Он и сам встает со страниц книг как живой современник старины, о которой повесть ведет, настолько он в это прошлое вживается, настолько образно его воссоздает; у него как бы исчезает граница между прошлым и настоящим, зримо раскрывается связь поколений и времен.

Любя и зная прошлое, призывая извлекать из истории уроки для улучшения настоящего, он был противником «осовременивания» старины и никогда не рассматривал историю как политику, опрокинутую в прошлое.

Лаконизму, емкости слова, образности речи Ключевский учился у народа, черпал материал из песен, сказаний, летописей. В этом же плане он часто прибегал и к использованию материала художественной литературы (произведениям А. К. Толстого, Г. Р. Державина, М. В. Ломоносова и других классиков отечественной словесности). Но особенно он любил творчество А. С. Пушкина, многократно к нему обращался, многое из творений поэта знал на память. Пушкину он посвятил несколько специальных работ.

Речь Ключевского о Пушкине на знаменитом Пушкинском празднике в 1880 году была прочитана в переполненном актовом зале университета. Публика была уже наэлектризована всей обстановкой торжества, процедурой избрания Тургенева, Анненкова, Грота в почетные доктора университета. Ключевский, взойдя на кафедру, заговорил о Пушкине-историке и Пушкине-поэте. Выше «Полтавы», «Бориса Годунова», посвященных историческим темам, и даже выше сугубо исторического «Пугачевского бунта» Ключевский поставил «Капитанскую дочку», подчеркнув, что в этом художественном шедевре дано настолько глубокое и правдивое воспроизведение эпохи, что «История Пугачевского бунта» может рассматриваться, по существу, как специальный комментарий к повести. Этот тезис был блестяще развернут историком, заставившим своих слушателей как бы пройти по галерее предков от арапа Ибрагима и иных «недорослей» до капитана Миронова и поручика Гринева — этих «обыкновенных дворян», сделавших нашу военную историю вместе с Суворовым и Румянцевым. В речи развивалась и другая любимая историком тема — о поверхностном, искаженном восприятии русским дворянством западной науки и культуры, что вело к усилению оторванности «образованного» общества от народа и ложилось на тот дополнительный тяготами и поборами. Позже эта тема специально развивалась в статьях о предках Онегина, «Недоросле». Корни этих «русских европейцев», по мысли историка, уходят к допетровским временам. Он считал отдаленным предком Онегина Ордина-Нащокина — одного из самых одаренных и просвещенных

дипломатов XVII века. История XVIII и XIX веков без учета этой галереи, по его выражению, пустует.

Пушкин (равно как и Ломоносов), по мысли Ключевского, был исторически подготовлен реформами Петра, которые пробудили в лучших умах первые проблески русской политической мысли, и всем последующим развитием трех поколений народа, лежащих между Петром и Пушкиным. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому появлению русского художественного гения. Его творчество, продолжает историк, не перестает изумлять разнообразием своих мотивов, перечислить которые — значит «перебрать весь состав души человеческой от детских сказочек до анализа скупого рыцарского сердца, от разгульно-тоскливой песни ямщика до исполненного светлыми надеждами Послания в Сибирь, в нем и альбомные комплименты, и величавый образ библейского пророка». Источник его поэтического гения — это не только вдохновенный упорный труд, природный личный дар; этот источник бьет, по образному выражению Ключевского, «из глубины русского народного мышления, чувствования, из наших песен, поговорок, он коренится во всем ходе истории нашего народа», и потому-то поэзия Пушкина освещает «темные пути и цели нашего существования». Развивая эту столь дорогую ему мысль, историк прямо говорит, что, если заглянуть глубже в душу каждого русского человека, можно там найти те же чувства, мысли, настроения, тот взгляд на прошлое и настоящее родного народа, который в столь высокохудожественной форме отразился в творчестве Пушкина.

В поэзии Пушкина, отмечал Ключевский, отразилось не только все собственное его поколению, его народу, но и нечто большее, вечное, общечеловеческое. Ему было присуще стремление «овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни: и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским». Эта небывалая широта поэтического мышления, глубина, прозорливость вместе с тем облекались «в небывалые по совершенству литературные формы». И далее: «...во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его мирозерцания впервые обозначился духовный облик русского человека».

Напомнив известное размышление поэта о национальном содержании литературы как воплощении особого образа мыслей и чувствований народной жизни, определяемой условиями и отражающейся в его поэзии, Ключевский заключает: «Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина». Но, давая оценку великому национальному гению, историк уверенной рукой мастера набрасывает характернейшие черты и самого народа, давшего миру гения поэзии. Этот отзыв достоин того, чтоб о нем напомнить, ибо не много и не часто в книгах найдешь или из памяти извлечешь нечто подобное.

Используя образы поэта, историк подчеркивает, что его думы, разумеется, о будущем России, а сила, обеспечивающая грядущее, заключена в народной массе, облик, душу которой поэт запечатлел. Он завещал своим потомкам отделять от своего народного существа все лишнее, как случайный нарост,

пока не предстанет перед миром «русский народ с тем обликом, который предвиден поэтом».

По существу, вот этот процесс очищения (от боярщины, византиевщины, татарщины, засилья голштинцев и пр.) и был, по мысли Ключевского, содержанием, сутью исторического прошлого, да и настоящего тоже. И это очищение от всего наносного, извне привнесенного, и есть существеннейшая черта становления и развития национального самосознания великорусов.

Это, как выразился сам историк, — те настроения и мысли, не случайные, набегающие, мимолетные, а постоянные, определяющие направление и темп жизни каждого из нас. И это «даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общезития». И далее Ключевский подчеркивал, что это общечеловеческое дело, общая задача человеческого духа заключается прежде всего в том, чтобы внести нравственный порядок в анархию людских отношений и обеспечить мирную жизнь, эволюцию человечества, сохранить землю для будущих поколений, как сказали бы мы теперь. Но как исключительно четко и, не побоюсь сказать, пророчески видел и ставил ее Ключевский. И совсем не случайно, не только ради образности свою работу он завершил словами Пушкина из послания к Мицкевичу и, обрисовывая времена грядущие, высказал уверенность, что в великой семье народов, позабывших бывшие распри, «займет свое место и мирный русский народ».

К Пушкину Ключевский возвращался вновь и вновь и в лекциях, статьях, и в дневниковых размышлениях. Многие пушкинские превосходно помнил и цитировал по памяти, изумляя слушателей. «О Пушкине, — писал историк, — всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует».

Но Ключевский явно скромничает. Он сказал о поэте много интересного, ибо взглянул на его творчество глазами вдумчивого историка, озабоченного поиском национальных, родных корней его творчества, выяснением его места и роли в решении судеб народных, его влияния на современников и потомков: «Жизнь поэта — только первая часть его биографии; другую и более важную составляет посмертная история его поэзии».

В день памяти Пушкина (1887 г.) Ключевский поделился своими воспоминаниями и размышлениями о «Евгении Онегине»: «Это было событие нашей молодости, наша биографическая черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь». Роман Пушкина занял особое место в сокровищнице отечественной культуры и истории. «Евгения Онегина», по Ключевскому, можно понять, определить его место в истории нашей мысли, только выяснив значение идеологии Просвещения, наполеоновских войн и восстания декабристов. Не будет преувеличением сказать, что, четко обозначив влияние этих факторов и событий, Ключевский как историк национального самосознания во многом предвосхищает суждение своих потомков. Он указывает, что в конце XVIII века под влиянием Просвещения в дворянстве образовалась интеллигентская прослойка, а в культуре возникло политическое направление, повернувшееся лицом к действительности, стремившееся ее изучить,

осознать. Наиболее крупными представителями этого направления он считал Фонвизина, Новикова, Радищева, Карамзина.

«Решительный перелом», вызванный Просвещением в русском образованном обществе, был ускорен французской иммиграцией, наплывом в Россию маркизов, аббатов, республиканцев, роялистов, иезуитов, атеистов, демократов, кавалеров — одним этим перечнем историк отметил внутреннюю противоречивость процессов. Произошло не только усиление интереса к Просвещению, к Франции в русском обществе, но и расслоение умов. Оно было усилено перерастанием революционной республики в империю, перерождением бывших якобинцев в наполеоновских маршалов. И с этой второй Францией русским почитателям Вольтера, Руссо пришлось тоже встретиться, но уже не в классных комнатах.

Ключевский, освещая истоки и процесс русского Просвещения, выделяет в отношении русских мыслителей к западноевропейскому Просвещению, во-первых, их критическое отношение («скептицизм»), чуткое улавливание внутренней противоречивости идеологии Просвещения и повседневной практики его творцов и почитателей и, во-вторых, политические аспекты процесса: перерождение революционных войн в захватнические, последствия этого (тоже весьма неоднозначные) для России.

По наблюдению Ключевского, этим раздвоением и перерождением прежнего революционного идеала, а еще более его политическими последствиями (захватнические войны Наполеона) и вызван поворот Карамзина к древностям российским, к русскому прошлому, этим же вызвана и его патриотическая патетика, отлившаяся летописным слогом в «Истории государства Российского».

Но если Фонвизин и ранний Карамзин имели дело с Вольтером и Руссо, то следующее поколение русских юношей встретилось с последствиями процессов, пронизательно отмеченных их учителями, но встретилось не в библиотеках и аудиториях, а на поле брани, грудью прикрывая Отечество свое. Последствия этой встречи оказали громадное воздействие на весь дальнейший ход истории.

Ключевским было верно схвачено главное, раскрывающее корни движения декабристов, и перед этим отступают некоторые неточности, вроде упрека «сынам двенадцатого года» в незнании своей страны (знали они ее и хотели узнать еще лучше). Более пронизательно следующее наблюдение историка, а именно — о расслоении просвещенного и «полуобразованного», как определял его Ключевский (вслед за Пушкиным), русского дворянства («общества»), которое он никогда не отождествлял с «народом», массой. Оно расслоилось как бы на три направления и «пошло различными путями». Одна, главная дорога, выводила на Сенатскую площадь, по ней лучшие «пошли прямо вперед с отвагою... Мысль о зле существующего порядка стала исходною точкой всех их дум и размышлений». Они надеялись «одним порывистым натиском сдвинуть с места скалу, которая стояла на дороге и которую они называли существующим порядком, разбежались и ударились об нее. Послед-

ствием удара было собственное крушение» («движение, кончившееся катастрофой 14 декабря», по другому выражению историка).

Другие, взглядевшись, увидели ту же скалу, о которую позже разбились их товарищи, убедились, что эту скалу не сдвинешь («почувствовали ее размеры и устойчивость»), и поняли, что надобно переучиваться, перевоспитываться, что «нужно примениться к среде, а для этого необходимо изучать ее и потом уже преобразовывать, если она в чем-то окажется неудобной. Этим открытием рушилось целое мирозерцание». Здесь Ключевский обрисовал, говоря словами Г. В. Плеханова, позже сказанными, крушение абстрактного идеала, оно, проявившись в начале века, было присуще некоторым декабристам и близким им политическим мыслителям. Пушкин прозорливо заметил эти тенденции в общественном настроении. Ключевский же отметил эту черту в творчестве гениального поэта. Многие, по словам историка, стали сомневаться во всемогуществе конституционных благодетелей, и это разочарование в демократических свободах, не обеспечивающих «общего блага», народного благоденствия, порождало политические разочарования. Проследивая его отдаленные истоки, Ключевский указывает на противоречивый процесс поворота к русской действительности, начавшийся в эпоху противоборства с наполеоновскими армиями. Не все мыслили как декабристы, для многих поворот к действительности перерос, по словам историка, в «прилаживание к ней», так появились николаевские служаки — фигуры зловещие в русской истории. Но не их Одиссея занимала внимание Ключевского, а «младшие братья» декабристов, из среды которых вышли Онегины и Печорины.

Вступившие в жизнь после 1812 года и не имевшие поэтому опыта старших, они надломилась, еще и не начав действовать: так «составилось сложное настроение, которое тогда стали звать разочарованием. Поэзия часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться в Гарольдов плащ. Но в состав этого настроения входило гораздо более туземных ингредиентов. (...) Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился Евгений Онегин. Так я понимаю его, — правильно ли, судите сами. Прибавлю только, что Пушкин один из первых подметил эту новую разновидность русских чудачков. В 1822 г., когда он начал писать свой роман, было много и решившихся на все, и нерешительных патриотов, но разочарованные еще не бросались в глаза, как после 1825 г. Такова родословная Онегина».

Можно, конечно, в чем-то попробовать оспорить Василия Осиповича, в чем-то дополнить, но пройти мимо его размышлений о родословной Онегина нельзя. Главное и основное, выдержав испытание временем, прочно вошло в наше представление о романе, герое, эпохе. Историк проследил корни (предков Онегина) и дал абрис его младших современников и продолжателей, определяя эволюцию «лишнего человека» не как смену поколений, а как исключительное явление в жизни общества.

Анализ поэзии разочарования, начатый в статье «Евгений Онегин и его

предки», был продолжен и развит в специальном исследовании — статье «Грусть», опубликованной в журнале «Русская мысль». Статья была помечена только одной буквой «К». Но читатели быстро разобрались, кто скрывался за этим обозначением. Творчество Лермонтова давно привлекало внимание историка, ибо в нем многое было созвучно с его собственными размышлениями, в нем он рассматривал не только эволюцию мыслей и чувств образованного дворянства («общества»), но и более общие проблемы многоплановых связей поэзии Лермонтова и с «обществом», и в еще большей степени с «народом».

Ключевский называл Лермонтова поэтом молодости («моей и моих сверстников»), но одновременно указывал, что дети часто разделяют симпатии отцов, что поэзия не знает хронологии, сближает возрасты и поколения. «И томы Лермонтова могут истлеть (обветшать), но не постареют, а сумеют быть ровесниками даже нашим внукам»<sup>1</sup>. В чем же историк видел истоки этого, времени не подвластного, влечения?!

В раздумьях о поэзии Лермонтова для Ключевского центральным был вопрос о том, прозвучало ли в его поэзии чисто индивидуальное настроение или же отразились национальные и общечеловеческие мотивы. Это были для него важнейшие вопросы, давно тревожившие его ум. Еще осенью 1861 года в письме к близкому другу студент-первокурсник Ключевский, размышляя о тяжелой судьбе-кручине «бедного русского народа», заметил, что «всю историю русской поэзии» выражают слова из оперы Глинки «Аскольдова могила», скорее не слова, а стон «Нам и песни — не веселье! От тоски мы и поем!». Песни, которые поет народ, — все грустные, и нет в них светлого мотива, веселого игривого чувства. Но эти песни народные ему дороже всех песен Жуковского, и Пушкина, и Лермонтова, и даже Кольцова. Ведь поэты, используя народные мотивы, иногда идеализируют народ, и потому у них грусть выходит какая-то особенно светлая. Но «широкому светлому воззрению» нет места в «безотрадных буднях русской жизни», наполненных испокон века тяжелой нуждой и тяжелой борьбой с суровой, бедной природой, с внешними врагами («татарщиной»), борьбой «простолюдинов» с «боярщиной», «византиевщиной». Потому и не могла у нас «образоваться светлая семейная и общественная жизнь», потому-то и русская поэзия, русская песнь проникнуты грустью. Ключевский даже противопоставляет простой народ, крестьянство, столь ему близкое и дорогое, «высшему свету, скроенному из заморских лоскутов»; он помнит слова своего любимого учителя профессора Буслаева, что «высшее общество, созданное Петром, — блестящее и пусто как фейерверк («немецкие панталонники»). В дневнике Ключевский презрительно говорит о дворянстве, называя его русскими куклами, одетыми в зарубежные наряды. Эти антидворянские настроения, тревожившие Ключевского всю жизнь, раздумья о судьбах народа, думах и песнях его, теперь так сильно отозвались в статье «Грусть». Не в этих ли суждениях Ключевского содержится ответ

<sup>1</sup> Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. С. 311—312.

на вопрос, смутивший его,— резкое неприятие статьи «Грусть» тогдашними критиками: «Досталось мне от литературных генералов».

Попробуем же воссоздать обстоятельства и мотивы, побудившие маститого историка обратиться к творчеству Лермонтова, поднять голос в защиту этой, казалось, «давно затихшей песни», вызвать поэзию Лермонтова с тихого кладбища учебной хрестоматии.

Для такой резкой постановки вопроса историком были свои причины. В трудах, претендующих на ученость, независимость суждений (и даже оппозиционность властям), Лермонтов объявлялся певцом разочарования, поэтом байроновского направления, демонических страстей, адаким лейб-гвардии гусарским Мефистофелем. В хлестких эпитетах, как это отметил Ключевский, недостатка не было. Однако отсутствовало главное, а именно выяснение места и роли Лермонтова в исторических судьбах нации. Не легко было ставить, а еще труднее решать и защищать свое решение вопроса о национальных мотивах в творчестве поэта, когда господствующая, «передовая», прогрессивная народническая идеология, во многом определявшая тональность публицистики и критики тех лет, выбрасывала за борт национальные и патриотические чувства, уверяя, что патриотизм — это, мол, выдумка буржуазии, созданная с самыми недобрыми целями. Некоторые авторы, претендующие на роль лидеров молодого поколения, уверяли, что поэзия, искусство в целом не более как барская затея, в лучшем случае — это выражение мыслей и чувств «кающегося дворянства», обреченного на вымирание. В таком ключе освещалась русская классика, выпячивался и односторонне освещался, скорее извращался образ (личность) мыслящего дворянина, интеллигента Онегина, Печорина, Лаврецкого и т. д. Так, например, философ В. Соловьев (сын знаменитого историка, учителя Ключевского) властитель дум тогдашней литературно-художественной элиты, с одной стороны, и модный поэт, ходивший даже в «радикалах», Мережковский — с другой, на первый план в оценке Лермонтова выдвигали гордыню, сверхчеловечность, демонизм, явно приписывая самому поэту черты некоторых его героев (этот немудрый прием воистину неумираем, наблюдается он и в наши дни). И вдруг известный ученый, любимец студенчества заговорил совсем о другом. Он прямо заявил, что если уж искать черты автора в его героях, то надобно вспоминать не только Печорина, но и Максима Максимыча, что уж если «разбирать», «проходить» эту тему, то надобно учитывать, что помимо вызова большому свету, сарказма в стихах и повестях поэта, в его раздумьях есть и другие настроения и мысли, а именно грусть, нежность по отношению к отечеству, родным просторам, природе, народу, однополчанам, которые просто, без позерства, самоотверженно живут и умирают, выполняя свой долг. Историк подчеркнул, что эти столь дорогие ему чувства Лермонтов не часто и не вдруг высказывал, как бы даже прятал их от «большого света», ибо хорошо знал: не будет и не может им, «светом», понят. Историк вскрыл истоки этих не простых, в основе своей противоречивых настроений и показал их в динамике, в развитии, взглянул на творчество Лермонтова как соотечественник-однодумец.

Ключевский выделяет два основных периода в творчестве поэта, рано начавшего искать пищи для ума в себе самом, много передумавшего и еще в юные годы выработавшего то умение наблюдать и по наружным приметам угадывать душевное состояние, которое местами так ярко сверкает уже в его ранней и наивной, но необыкновенно живой и динамичной повести. В те годы и возник герой, так долго владевший воображением поэта, отразившийся в общих чертах в первом очерке о Демоне (1829 г.). Это «любимое поэтическое детище» Лермонтова отражено в ряде его ранних поэм, драм, повестей. Ипостаси этого столь любимого автором героя воистину кажутся несовместимыми: от Холопа-пугачевца до барича из высшего света, не знающего, куда себя девать от скуки. Ему присуще чувство житейской нескладицы, осознание ее противоречий: «Душа героя, объята тьмой и холодом», «Ужасно стариком быть без седин», «Я отжил, я слишком рано созрел», «нет места для чувств». На эти признания поэта ссылается историк. Но не эти мотивы разочарования в конечном счете определили место и роль поэта в истории нашей.

«Лермонтов быстро развивался», — подчеркивает Ключевский. Вступив «в третье десятилетие жизни», поэт «перепел старые песни под лад нового строения». В его поэзии зазвучали «грустная ирония жизни над горделивым и самолюбивым желанием стать источником счастья и радостей для других...». Галерея себялюбивых героев завершается грустным библейским образом пророка. Демонические призраки, прежде столь властно владевшие воображением поэта, теперь казались ему «безумным, страстным, детским бредом».

Историк называет эту фазу развития поэта очищением от наносных примесей, от вычитанных образов, принятых за собственную мечту. Это состояние определено как углубление таланта. Ключевский образно сравнивает поэта со скульптором, который вырезывал свои думы и мысли из бесформенной массы представлений и очищался, отбрасывая все раннее, высматривая себе родное и близкое в явлениях природы, в разноголосице жизни, отбирая в этом потоке родственные образы и звуки, чтоб затем слить их в одно поэтическое созвучие, — «это созвучие, эта лермонтовская поэтическая гамма — грусть». Грусть как поэтическое настроение поэта, созданное им, по определению историка, «из тех разрозненных ее элементов, которые нашел в себе самом и в доступном его наблюдениям житейском обороте». Это уже не столь личное состояние (поэзия разочарования), сколь отзвук народной жизни. Подобное настроение поэта, отмечает историк, довольно сложно по процессу образования и по мотивам, хотя и кажется психологически простым. Грусть лишена счастья, но это не состояние равнодушия. В грусти слышится «горечь обманутых надежд», но она вместе с тем и стимул для поддержания в себе падающей энергии, «средство борьбы с невзгодами и обманом жизни». Наиболее полным выражением этого настроения поэта, нравственной потребности его историк считал стихотворение «Выхожу один я на дорогу...» — «пьесы единственной по неподражаемому сочетанию энергетического чувства жизни с глубокою скрытою грустью... сохранившего жажду деятельности...». Ключевский подчеркивает, что стойкое чувство грусти — это не примирение



разума с действительностью, а выражение определенного состояния противоборства, когда ни вокруг себя, ни в себе самом не можешь найти сил, элементов, средств, которые могли бы сокрушить порядки, нравы, понятия окружающего тебя общества, которое ты не принимаешь.

Главное в оценке, размышлениях Ключевского, всегда уделявшего большое внимание духовным аспектам в историческом процессе (позже почти потерянных), — указание, что грусть как настроение поэта не только выражение его личного состояния в последние годы жизни, а нечто значительно большее: «Своим происхождением оно тесно соприкасается с нравственной историей нашего общества... имеет еще значение важного исторического симптома». Лермонтов, как ранее Пушкин, прорвался через «общество», с его узкой и только внешне утонченной культурой, ведь для поэтов «свет» — это собрание людей бесчувственных, — к народу, его песням, его чувствам, его жизни, быту, всему его облику и среде его обитания. В этой народной жизни нет места самоуверенности (гордыне), но зато есть нечто иное, более значительное — настроение, проникнутое надеждой и верой. Чутко уловил эти господствующие настроения национального характера (души народа) Лермонтов. И тем самым его поэзия стала художественным выражением национальных черт народа: «...ни один русский поэт доселе не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов». Вот почему его поэзия «отвечает настроению народа» и стала фактом народной жизни. Но без этого нельзя понять истоки грусти поэта.

Этот исторический комментарий Ключевского предвосхищает споры старой дворянской культуры 20—30-х годов, отголоски которых слышны и ныне. Как ни важно это замечание, не оно определяет оценку поэта историком. Основная струна его поэзии, заявляет Ключевский, «звучит и теперь в нашей жизни, как звучала вокруг Лермонтова. Она слышна в господствующем тоне русской песни — не веселом и не печальном, а грустном. Ее тону отвечает и обстановка, в какой она поется. (...) Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом. Это — русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское».

Приведенное и сказанное здесь, разумеется, не претендует на завершенность в изложении столь большой темы, как Ключевский и Лермонтов. Она требует специального исследования, тем более что иногда в печати встречаются рассуждения, что историк не понял национального значения поэта, узко судил о нем, видя в нем лишь выразителя «изысканного общества» и тех чувств последнего, которые возрастали в барских теплицах. Но если и есть в его поэзии нечто близкое к этой «гастрономии личного счастья» — так это горькая досада на общество, которое «всегда казалось ему собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти, к которым он с безграничным презрением обращал свою ненависть», как справедливо писал историк и напоминал: «...как ему хотелось дерзко

курсы, выступал с докладами по этим вопросам. В его портретах-зарисовках предшественников обращает внимание стремление рассматривать творчество историков в связи с общим ходом движения научной жизни; мастерски очерчивает Ключевский вклад, внесенный в отечественную историографию И. Н. Болтиным, Т. И. Грановским, Ф. И. Буслаевым, С. М. Соловьевым и другими корифеями историографии. Так, например, он подошел к высветлению творчества Болтина, заслуги которого до выступления Ключевского были преданы забвению. Василий Осипович указал, что Болтин был прямым продолжателем В. Н. Татищева — основателя отечественной научной историографии — и внес бесценный вклад в изучение древних российских летописей, Русской правды и др., что в кружке любителей древностей российских, созданном графом А. И. Мусиным-Пушкиным, Болтину принадлежала едва ли не ведущая роль. Была отмечена Ключевским и борьба Болтина против русофобии, в частности его критика ошибочных суждений французского историка Леклерка. Защищая честь отечества от напраслин иноземного историка России, Болтин старался рассмотреть, лучше ли складывалась и шла жизнь других народов и от каких условий зависело ее превосходство, таким образом учился измерять сравнительно уровни развития народов. С другой стороны, толкуя противникам смысл непонятого ими древнего факта, учреждения, обычая или понятия, он показывал его отдаленные отрасли в современном складе жизни и призывал настоящее на помощь для объяснения прошедшего. Прошедшее живет в настоящем, и настоящее, следовательно, есть один из основных источников для изучения прошедшего. Мысль, что современность есть музей древностей, живая летопись прошедшего, впервые настойчиво была проведена Болтиным. Этим объясняется, почему он отдавал так много времени и усилий изучению современного положения России. Выше мы уже говорили о том большом влиянии, которое оказал профессор Ф. И. Буслаев на формирование воззрений Ключевского. Памяти учителя историк посвятил специальную статью «Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследователь», раскрыв и его дар педагога, и огромное значение его трудов, прежде всего двухтомного исследования «Исторические очерки русской народной словесности», высказав по ходу изложения и некоторые свои мысли о соотношении филологии и истории, о значении народного творчества для исторических исследований.

«В моей памяти, как и в студенческих заметках, уцелели следы того диалектического процесса, какой задавал Буслаев нашему мышлению и которым мы усвоили столь новые для нас воззрения. <...>

Первое и главное произведение народной словесности есть самое *слово*, язык народа. Слово — не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это — художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. <...>

<...> многим из нас пришлось после иметь дело со старыми текстами, с памятниками древней письменности, и, сидя за ними, мы с благодарностью

вспоминали и вспоминаем доселе уроки и советы Буслаева. Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил нас читать древние памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени».

В центре историографических размышлений и трудов Ключевского всегда находился Соловьев, которого он глубоко почитал, мысли которого положил в основу собственных разработок по отечественной истории. Ключевский указывал, что исторические труды учителя явились ответом на проблемы, поставленные всем ходом русской жизни. В центре внимания русского общества в те годы, когда Соловьев начинал свое научное поприще, была задача ликвидации крепостного права, коренные реформы страны. Россия нуждалась в новом Петре Великом. И потому в центре громадного труда Соловьева оказались петровские преобразования, их отдаленные предпосылки, сам ход реформ и их последствия. Как выразился Ключевский, первые двенадцать томов «Истории» Соловьева — это только пространное введение в обширное повествование о петровской реформе. Этот исполинский замысел оказался, к сожалению, полностью не реализованным, а именно остались не раскрытыми все последствия петровских реформ. Он пишет в связи с этим: «Одна из любопытнейших частей нашей истории — судьба петровских преобразований после преобразователя — осталась недосказанной в книге Соловьева. (...) Этот перерыв оставил, и, может быть, надолго, в научной полутьме наш XVIII век. (...) Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежнего правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об *отечестве* в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти».

Итог своим размышлениям о роли исторических знаний в национальном воспитании Ключевский подвел в статье о профессоре Т. Н. Грановском (опубликована в разгар «первой народной революции», в пятидесятилетие со дня смерти Грановского). Автор подчеркивает громадное общественное зна-

чение деятельности популярного педагога, называет его идеалом профессора, оказавшим громадное влияние на развитие высшей школы в России: «...все мы — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистой памятью». Его лекции, по словам автора, были школой гражданского воспитания, слушатели выносили из аудитории веру в светлое грядущее Отечества. Но сбылись ли эти упования? Отвечая на вопрос, Ключевский приходит к неутешительному выводу о крушении самых сокровенных надежд Грановского и его последователей: «Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие несостоятельному представительству», а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах».

Пострадало трудное дело разработки теории русского исторического процесса. П. Я. Чаадаев недаром с горечью говорил об отсутствии русской историко-философской мысли. Горькая констатация, сделанная автором «Философических писем», при всей ее публицистической заостренности, во многом верна. Более того, над русской историографией в этом отношении навис какой-то рок. Ведь и второй наш историограф С. М. Соловьев не успел завершить свой исполинский труд и, как отметил В. О. Ключевский, его учитель не успел рассказать обо всех последствиях петровских реформ.

По-видимому, Ключевский имел в виду отсутствие в политической системе отечества представительных учреждений. Слово «свобода», с горечью констатировал Ключевский, отсутствует в лексике Отца Отечества. Но судьба — злодейски — была безжалостна и к Василию Осиповичу: ведь и ему не удалось завершить свой труд, сделать все надлежащие выводы, подвести итоги своим раздумьям о деяниях предков наших. В этом отношении творческий путь трех патриархов отечественной историографической мысли, создателей оригинальных многотомных исторических трудов, охватывающих почти две тысячи лет истории, нельзя не признать трагическим. Кроме их творческого наследия у нас больше нет оригинальных авторских историй Отечества. Компилятивные, громадными артелями написанные труды не в счет, ибо они не освящены единой мыслью, страдают эклектичностью и отсутствием единого взгляда на исторический процесс. Собственное понимание заменяют многочисленные и не совсем к месту приведенные цитаты из произведений классиков, основоположников монистического взгляда на историю.

Не будем сейчас обсуждать правомочность, аргументированность и действительность подобных подходов. Достаточно констатировать отсутствие творческой самостоятельности авторов подобных «обобщающих трудов». И никакие заклинания о методологических основах многотомных схематических изданий тут дело не поправят.

В старой исторической литературе, в трудах К. С. Аксакова, Ю. Ф. Самарина, В. И. Сергиевича, К. И. Бестужева-Рюмина, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского было заметно внимание к прослеживанию борьбы двух начал в русской истории, этой без сомнения первостепенной проблеме, поставленной М. Н. Карамзиным (хотя отношение историков к заслугам историографа было далеко не однозначным). Последним могиқаном в той историографической сече был С. Ф. Платонов, всесторонне исследовавший в своем лекционном курсе и блестящем монографическом труде о Смутном времени, а также в портретных зарисовках Ивана IV, Бориса Годунова, первых Романовых как сам ход Смуты, так и ее причины и ее последствия, в том числе и судьбу возникновения на этой «бунташной» революционной волне системы политического народопредставительства.

Земские соборы при первых Романовых и земское самоуправление сдерживали произвол исполнительных органов наверху и внизу. Этим мы вовсе не отрицаем постепенное возрастание власти приказно-бюрократической системы. Ключевский был прав, отмечая, что страной правила даже не придворная камарилья, а приказные дьяки, которые могли засунуть под лавку любой не полюбившийся им царский указ и никакой Тишайший не мог с этой саранчой совладать. Но это всевластие приказной бюрократии сложилось только к концу царствования Алексея Михайловича. Ее триумф и выразился в прекращении Земских соборов, всевластии разбухших приказов вверху и воевод внизу, превращении выборных лиц (целовальников, старост) в назначаемых сверху чиновников и т. д. Самодержавию понадобилось три четверти века, чтобы свести на нет политические последствия «Великой Смуты».

Петр Великий затем закрепил уже сложившуюся практику.

\* \* \*

Могучий ум, эрудиция Ключевского, его дар сочетать научное понимание логики исторического процесса с художественным, образным воссозданием прошлого, созданием исторически правдивых портретов оставили свой след не только в области исторической науки, истории литературы, но также и в истории русского театра.

Ф. Шаляпин, познакомившийся с Ключевским в 1895 году во время работы над образом Бориса Годунова, многим был обязан великому историку («удивительному человеку») в постижении эпохи и характеров исторических лиц. «Я очень часто пользовался его глубоко поучительными советами и беседами», — свидетельствует Шаляпин и отмечает, что Ключевский, «тонкий художник слова, наделенный огромным историческим воображением», бук-

важно воссоздавал, как бы на глазах лепил живых деятелей далекой эпохи, перевоплощался в них: «он оказался замечательным актером». Его рассказы Шалапин именует изумительными, врезавшимися в память на всю жизнь.

«Изучая „Годунова“ с музыкальной стороны,— пишет Шалапин,— я захотел познакомиться с ним исторически. Прочитал Пушкина, Карамзина. Но этого мне показалось недостаточно. Тогда я попросил познакомить меня с В. О. Ключевским, который жил тоже на даче в пределах Ярославской губернии.

Поехал я к нему, историк встретил меня очень радушно, напоил чаем, сказал, что видел меня в „Псковитянке“ и что ему понравилось, как я изображал Грозного. Когда я попросил его рассказать мне о Годунове, он предложил отправиться с ним в лес гулять. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей. Идет рядом со мною старичок, подстриженный в кружало, в очках, за которыми блестят узенькие, мудрые глазки, с маленькой седой бородкой, идет и, останавливаясь через каждые пять — десять шагов, вкрадчивым голосом, с тонкой усмешкой на лице, передает мне, точно очевидец событий, диалоги между Шуйским и Годуновым, рассказывает о приставах, как будто лично был знаком с ними, о Варлааме, Мисаиле и обаянии самозванца. Говорил он много и так удивительно ярко, что я видел людей, изображаемых им. Особенно впечатление произвели на меня диалоги между Шуйским и Борисом в изображении В. О. Ключевского. Он так артистически передавал их, что, когда я слышал из его уст слова Шуйского, мне думалось: „Как жаль, что Василий Осипович не поет и не может сыграть со мною князя Василия!“ — как живой вставал передо мной Шуйский в воплощении Ключевского. В рассказе историка фигура царя Бориса рисовалась такой могучей, интересной. Слушал я,— продолжает Шалапин,— и душевно жалел царя, который обладал огромной силою воли и умом, желал сделать русской Земле добро и создал крепостное право. Ключевский очень подчеркнул одиночество Годунова, его яркую мысль и стремление к просвещению страны. Иногда мне казалось, что воскрес Василий Шуйский и сам сознается в ошибке своей,— зря погубил Годунова.

⟨...⟩ На репетициях оперы, написанной словами Пушкина и Карамзина, недостатки оперной школы сказались особенно ярко. Тяжело было играть, не получая от партнера реплик в тоне, соответственном настроению сцены. Особенно огорчал меня Шуйский, хотя его пел один из артистов наиболее интеллигентных и понимающих важность задачи. Но все-таки, слушая его, я невольно думал: „Эх, если б эту роль играл Василий Осипович Ключевский!“

⟨...⟩ В следующий сезон мы поставили „Хованщину“. Досифей был неясен мне. Я снова обратился к В. О. Ключевскому, и он любезно, подробно и ярко рассказал мне о Хованских, князе Мещеком, о стрельцах и царевне Софье».

Жил Ключевский довольно уединенно, пожалуй, даже одиноко, замкнуто, круг близких в основном ограничивался академической, университетской сре-

дой. Исключения редки, но и они характерны, как, например, общение с Шаляпиным, беседы с которым не ограничивались советами и консультациями. Ключевский был среди самых близких Шаляпину лиц в день его бенефиса 4 декабря 1902 года. Под поздравительной телеграммой Чехову («дорогому Антону Павловичу»), посланной в тот вечер совместно с Шаляпиным, Андреевой, Горьким, Серовым, Буниным, Телешовым, Серафимовичем, Скитальцем, Коровиным, Пятницким, стоит имя Ключевского. «После спектакля, за дружеским ужином («у Тестова») было много всяческих выступлений,— вспоминает Н. Д. Телешов в своих «Записках писателя»,— особенно значительной была речь знаменитого историка, профессора В. О. Ключевского, который рассказал, как готовился к своим ролям Шаляпин, как он просил помочь ему выяснить образы Годунова и Грозного, психологию этих образов, как вдумчиво вникал во все и как работал, как просиживал часами в Третьяковской галерее, перед полотном Репина, перед фигурой Грозного царя, думая глубокие думы. Этого никто не знал».

Из воспоминаний Н. Д. Телешова и других современников видно, что историк был знаком со многими крупнейшими писателями, художниками, мастерами сцены. Из других свидетельств современников известно, что на регулярных чтениях, в заседаниях Общества Истории и древностей российских, которым долгие годы руководил Ключевский, гостями были лица, не входившие в университетский круг академических знакомых, научных друзей историка. После этих заседаний беседы нередко продолжались за чаем и пирогами в доме профессора.

С молодых студенческих лет Ключевский любил бывать в театре, следил за репертуаром, посещал концерты, хорошо разбирался в живописи и музыке; но образ жизни вел довольно замкнутый (некоторые современники говорят даже об отчужденности его). По-видимому, это все же преувеличение. Он был попросту загружен сверх всяких «разумных» пределов лекционной работой, подготовкой и изданием своего исторического курса, немалое время требовали и источниковедческие разыскания, размышления над древними манускриптами о судьбах русского народа, его месте и роли в мировой и европейской истории.

В нашу задачу не входило исследование всей исторической концепции Ключевского. Она привлекала уже внимание ученых, было высказано немало верных исследовательских наблюдений, но время идет вперед и открывает новые глубины, не замеченные ранее искания, повороты, а иногда и противоречия его мысли. Ключевский, как горная вершина, высился над современными ему историческими представлениями, университетскими курсами и учебными пособиями. Ему было тесно в замкнутом круге идей и фактов, очерченных министерскими циркулярами, он искал и часто находил выход, прорывался с живым правдивым словом к слушателям и читателям своим, воздававшим любимому профессору сторицей. Иногда пытливая мысль ученого, неудержимо рвущуюся ввысь, в неведомое, сравнивают то с тараном, то с полетом орла. Такой была мысль Ключевского, этому она учит и нас, к этому зовет всех, кто

прочтет его лекционный курс, кто ознакомится с его заветными размышлениями, для себя сделанными, но ставшими доступными теперь и нам.

Незадолго до смерти Ключевский записал в своем дневнике: «Смертью смерть поправ — это русский писатель, который воскресает только по смерти (своей). Готов служить делу свободы, но не хочет быть (ее) холопом».

\* \* \*

Несколько слов о составе настоящего сборника и принципах отбора материалов к нему.

Творческое наследие В. О. Ключевского обширно. Помимо широко известного и недавно переизданного многотомника по русской истории оно включает несколько сборников специальных исследовательских статей, монографии, статьи в периодической печати. Ныне увидели свет и некоторые его незавершенные работы, оставшиеся в архиве ученого.

В сборник включены прежде всего очерки и статьи портретно-биографического характера, раскрывающие жизненный и творческий путь целой плеяды деятелей отечественной культуры, оказавших громадное влияние на духовный облик русской нации, ученых-историков, писателей, государственных и религиозных деятелей. Творчество этих выдающихся сынов русской нации В. О. Ключевский считал ступенями развития национального самосознания великороссов. Крупные личности, по его словам, — это своего рода вехи на пути, пройденном народом, по которому он выверяет свою дорогу, сопоставляя опыт прадедов с собственным пониманием прошлого и настоящего, без чего нельзя заглянуть и в день грядущий. К сожалению, мы не всегда помним об этом поучительном опыте и чаще всего обращаемся к нему лишь в дни юбилейных торжеств, отмечая памятные даты — эти символы поворотных событий истории. Об этом с горечью говорил В. О. Ключевский, тоже отдавший дань этой традиции. Значительная часть публикуемых в сборнике работ носит юбилейный характер, что, однако, не помешало автору — признанному мастеру исторического портрета — в решении стоящих перед ним задач. В сборник вошли также статьи, связанные с повседневной работой Василия Осиповича, читавшего и общие, и специальные исторические и историографические лекционные курсы и выбиравшего из них наиболее важные темы для публикации в журналах в виде отдельных статей. Это, с одной стороны, освещение важнейших событий и процессов, поворотных пунктов в истории Отечества, как, например, преобразования Петра I, Екатерины II, а с другой — рассказ о творческом пути виднейших историков и классиков изящной словесности. При этом надобно иметь в виду, что во времена Карамзина и Ключевского отсутствовало современное дифференцированное отношение к истории и литературе, оба эти феномена воспринимались как единое целое; словесность изучалась на историко-филологических факультетах как самостоятельный цикл взаимосвязанных курсов, исторически одновременно являлись и филологами, и к их голосу прислушивались.



О значимости суждений В. О. Ключевского по важнейшим историко-литературным вопросам ярко говорит следующий факт. В апреле 1909 года в Москве был открыт памятник Н. В. Гоголю (скульптор Н. А. Андреев). Это был второй, после пушкинского, памятник писателю в первопрестольной, и, естественно, в печати было немало сопоставлений двух торжеств. В. В. Розанов писал в те дни: «...было много хорошего. Но ничего подобного тому, что произошло при открытии памятника Пушкину в Москве же, когда говорили Достоевский, Тургенев, Островский... Кто *мог* бы скрасить празднество — это Ключевский: но он вовсе не появился на открытии памятника, кажется, за недолго перед тем потеряв жену и угнетенный в душе... Это незаменимое «отсутствие» не было вознаграждено ни одним из сереньких «присутствий». Выслушать взгляд Ключевского на Гоголя — это было бы целое событие. Бог его не дал нам...»<sup>1</sup>

Розанов, к счастью, не совсем оказался прав. В архиве Ключевского сохранились его оценки творчества Н. В. Гоголя, равно как и ряда других классиков нашей изящной словесности.

Широкие круги читателей знают В. О. Ключевского прежде всего как крупного историка Отечества. Предлагаемые вниманию читателя очерки о классиках изящной словесности раскрывают его вклад в исследование истории художественной литературы.

*А. Ф. Смирнов*

---

<sup>1</sup> Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 290.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

### ВОСПОМИНАНИЕ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Полтора года прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомним то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство; на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка — это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную, неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которою можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел

свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой, и постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения,— вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я прежде всего должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, теневую окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века — так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепаузой между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением с строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое *божественное писание*, как они ее назы-

вали, не хуже, чем *отче наш* или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходявших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги, преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебною ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и по мере того, как со смертью Петра истощались эти деятельные питатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми*, *архитектурными*, *слюзными* и другими подобными.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой, и при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания все же мирила с ней как с неизбежным злом на службе и в общежитии. И вот приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова; по крайней мере современник Болотов в своих записках под 1752 г. рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие», но таких песенок

было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы». А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе. Колочая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели — к познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем *Бригадире* (1766 г.) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

— Боже тебя сохрани,— говорит первая второму,— от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

— Madame! — отвечает ей Иванушка,— вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных скверными эстампами» и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

*Живописец* Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих

случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман — художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман — пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы — подписи внизу. наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялись в обманы и Ричардсона, и Руссо».

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романтической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе ричардсоновой *Памелы*, продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде *Клариссы*, но уже с участием Ловеласа, а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: *Российскую Памелу или приключения Марии, добродетельной поселянки*, сменяло *Геройство любви или изображение великодушного любовника*, а затем уже прямо следовала *Генриетта или гусарское похищение* в трех частях. Так народился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухой сладких слов», как выразился некогда Княжнин о выведенном им в комедии *Чудаки* подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах и отлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! ни наук, ни правил вы не зная,  
Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрас-

ного пола своему тринадцатилетнему сыну (*Живописец Новикова*).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждательных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятиливо воспринимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *esprits forts* и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий. Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и прежде всего набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца — вот прямая добродетель века!» — восклицает Советница в *Бригадире*, восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев *Чудаков*, разбогатевшего самодура-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выросших новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков — в забвение приличий, — словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норovil перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать. Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, —

это все-таки задавало бы некоторую работу уму, — а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук: какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II *Именины госпожи Ворчалкиной*), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочинный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие, полученные из Парижа новости по части атеизма и материализма. Многим русским вольтерянцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость — не знать никаких наук. С просветительной философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикою: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона  
Не потому, чтобы прочла,  
Не потому, чтоб Грандисона  
Она Ловласу предпочла;  
Но в старину княжна Алина,  
Ее московская кузина,  
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятавались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был преемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индульгенции.



При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку; после оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерьянцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения, и в продолжение 5—6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого Неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы *Трутень*, *Живописец* и *Кошелек* по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех

годов. От журналов Новикова всего больше досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; *Кошелек* даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольной выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой дистракции». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных. В *Живописце* есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах с своими читателями. Между прочим, писателю комедий на его роли о нравственно исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмеваю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русскою сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей. Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных карикатур, по крайней мере видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах, не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа, — ведь в мужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это, — и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца, *ни бога ся боят, ни человека ся стыдят*. Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбуждительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, са-

тирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распущенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое мирозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было не слабостью, не простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности; непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несчастьем быть русскими и, подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились в России, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще в древней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упрочить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере верхний слой его — дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых с их Митрофанами и Николашками, в 18 лет едва одолевавшими азбуку (в комедии Екатерины II *О время!*).

Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы уменье воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими

туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходов против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общепольного дела, стала праздною. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожило и общественное побуждение к тому. Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно взбитою пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому не нужных суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе, что русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян, и что им лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества?

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование, говорил, что люди, приобретающие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где

книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков, после 8 лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком, а с 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем, в то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно *Древняя российская вивлиофика*, сборник разнообразных памятников по русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

В 1792 г., разбитый постигнутою его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это — энтузиазм сдержанный и обдуманый. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки

выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с како-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практически обдуманый план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения — галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились с простыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальной самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не равнял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались. Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «воссияли науки — и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько господ Простачковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки с своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В *Живописце* Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «он разумом, а вы невежеством

доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние. В *Кошелеке* 1774 г. он восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый: не одной же России отказано в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерянцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывала отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником науки и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его *Живописец* выдержал в прошлом веке пять изданий. Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям по незнанию ими чужестранных языков нравятся. В самом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были *Синопис*, учебник русской истории, *Совершенное воспитание детей* и тому подобные книги, не пользовавшиеся

никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце», — проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще *сотворить и научить*, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела: не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, о внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить о довольно налаженном типографском и книгопродавческом деле. Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения: так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом в жмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде *Бовы Королевича* или *Еруслана Лазаревича*, и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской сажке и стать за пыльным прилавком книжной лавки. В обществе, где, по сознанию самого новиковского *Живописца*, даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предпримчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могу-



щество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это умение собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее, — в обществе, где встречались носители всех перебивавших в России миросозерцаний от *Голубиной книги* до *Системы природы* Гольбаха и где на одном и том же пиру за менюэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди светлого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все — самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина. Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню — не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; что с детства он привык любоваться удовольствием, какое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепост-

ному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье,— не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбранил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца, по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию божества и внутреннего человека. А для изображения С. И. Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или

характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо — это с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! — с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «божьим человеком»! И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом: это были лучшие, образованнейшие люди московского общества, князья Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей в каждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская, одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богатч, скучавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев, своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Шварца об основании просветительного общества; а другой богатч, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 г., расстроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения, но, умирая в бедности, услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не

даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его *Системы природы* Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неопisanного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал *Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями*, когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками. Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там при невероятном множестве способов к просвещению весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием, что одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, а другие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности — или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгорячаясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка. Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин,

он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работою приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый с ними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях. «В школах и на кафедрах твердят: люби бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна». Это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной. Эта книга учит, что, чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользою занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением, и что успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень общества так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука. Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью. Можно сказать и так, можно и наоборот: они потому стали и масонами, что нашли такой выход

из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами: они — воспользуемся их же фигурным языком — вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ московский Платон, испытавший его в законе божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществу науках и издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устроят пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, готовят надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей», модно воспитанного высшего дворянства, в широкий мир «простосердечных мещан», простого грамотного люда, и обдуманном сочетанием общечеловеческих

и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русскому просвещению?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца *Дружеском ученом обществе*, которое при торжественном открытии своем в 1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов — Новикова и Лопухина; потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой *Типографской компании*, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене. При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типограф-*

ской компании, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 г.; когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> млн. на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы — *Иосиф Витобэ* и *Потерянный рай* Мильтона и вместе с альманахом Карамзина *Аглаей* были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков *Московских Ведомостей*, издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемеро (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцом, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид, и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку



книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — *общественное мнение*. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому новиковскому десятилетию (1779—1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел закончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском, факультете оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала *Утренний Свет*. Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспи-

тательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы готовить их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через три года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита: Михаил и Серафим. Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество» по мысли Шварца в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, *переводческую* или *филологическую*, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные — на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространились на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудиниками и даже руководителями периодических изданий Новикова — *Вечерней Зари* 1782 г. и *Покоящегося Трудюльца* 1784 г. Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике, он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов

устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительной целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок — они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, склонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет с своей стороны немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался в долгу перед обществом.

Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.

---

## НЕДОРОСЛЬ ФОНВИЗИНА

(Опыт исторического объяснения  
учебной пьесы)

Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав свою благонравную племянницу Софью за чтением Фенелонова трактата о воспитании девиц, сказал ей:

— Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, читай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет.

Можно ли применить такое рассуждение к самому *Недорослю*? Современному воспитателю или воспитательнице трудно уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в себя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Могут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим впечатлительным читателям, увидев у них в руках *Недоросля*: «хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские правила, пером своим нравов развращать не может». *Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум, коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму дает благонравие. Главная цель всех знаний человеческих — благонравие.* Эти сентенции повторяются уже более ста лет со времени первого представления *Недоросля* и хотя имеют вид нравоучений, заимствованных из детской прописи, однако до сих пор не наскучили, не стали приторными наперекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечасное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ними знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует». Но, кроме прекрасных мыслей и чувств Стародума, Правдина, Софьи, поучающих прямо своим простым, всем открытым смыслом, в комедии есть еще живые лица с своими страстями, интри-

гами и пороками, которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нравственный смысл этих драматических лиц и положений не декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссером, направляющим ход драмы, слова и поступки действующих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого молодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрываемых перед ним житейских отношений и это усилие произведет на него надлежащее воспитательное действие, доставит здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравственному чувству? Не следует ли стать подле такого читателя или зрителя *Недоросля* с осторожным комментарием, стать внятным, но не навязчивым суфлером?

*Недоросль* включается в состав учебной хрестоматии русской литературы и не снят еще с театрального репертуара. Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время, и, когда он появляется на афише, взрослые говорят: это — спектакль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые охотно следуют за своими подростками под благовидным прикрытием обязанности проводников и не скучают спектаклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовершеннолетних соседей и соседек.

Можно без риска сказать, что *Недоросль* доселе не утратил значительной доли своей былой художественной власти ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою наивную драматическую постройку, на каждом шагу обнаруживающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устаревший язык, ни на обветшавшие сценические условности екатерининского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе душистую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки покрываются особым вкусом, какой приобрела комедия от времени и которого не чувствовали в ней современники Фонвизина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах своих добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их смеяться, негодовать или огорчаться, представляя им в художественном обобщении то, что в конкретной грубости жизни они встречали вокруг себя и даже в себе самих, что входило в их обстановку и строй их жизни, даже в их собственное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, вероятно, с горечью повторяли про себя добродушное и умное восклицание Простакова-отца: «хороши мы!» Мы живем в другой обстановке и в другом житейском складе; те же пороки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней мере с их *тогдашними* обличиями и замашками; мы вправе не узна-

вать себя в этих неприятных фигурах. Комедия убеждает нас воочию, что такие чудовища могли существовать и некогда существовали действительно, открывает нам их в подлинном первобытном их виде, и это открытие заставляет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новизны и современности, зато приобрела интерес художественного памятника старины, показывающего, какими понятиями и привычками удобрена та культурная почва, по которой мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического интереса не могли замечать в комедии современники ее автора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь нее видим их, своих дедов.

Что смешно в *Недоросле*, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: *размышляет*, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и *поступает*, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки — нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурачки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только — недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежания неприятности учиться он старается преувеличить размеры и дурные следствия своего обжорства, даже подличает перед матерью, чтобы ее разжалобить; но, увертываясь от учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача, который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы отклонить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на предложение испугавшейся его болезни матери послать за доктором: «Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю», и убегает

на голубятню. Он очень забавен со своей оригинальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сообразительно изобретенным учением о двери существительной и прилагательной, за какое изобретение умные взрослые люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, какая проняла объевшегося 16-летнего шалопая — в его тяжелом животном сне — при виде матери, уставшей колотить его отца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Митрофана, в этом бесподобном, безотрадном печальном квартете бедных учителей, ничему научить не могущих, — мамыши, в присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающейся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в присутствии матери ругающегося над своими учителями? <...> Если современный педагог так не настроит своего класса, чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в состоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать. Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем потешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть из глубины ложи представят себе свою настоящую или будущую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних стульях птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно слетит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам себя наказывает за свои сообразительные глупости заслуженными напастями, так и насмешливый современный зритель сценического Митрофана может со временем наказать себя за преждевременный смех не театральными, а настоящими, житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой пронизательностью своей породы, родственной насекомым или микробам.

Да я и не знаю, кто смешон в *Недоросле*. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя характеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее

жены, для которого свиной хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг,— что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенок? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне не комична: она глупа и труслива, т. е. жалка — по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна — по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего.

В комедии есть группа фигур, предводительствуемая дядей Стародумом. Они выделяются из комического персонала пьесы: это — благородные и просвещенные резонеры, академики добродетели. Они не столько действующие лица драмы, сколько ее моральная обстановка: они поставлены около действующих лиц, чтобы своим светлым контрастом резко оттенить их темные физиономии. Они выполняют в драме назначение, похожее на то, какое имеют в фотографическом кабинете ширмочки, горшки с цветами и прочие приборы, предназначенные регулировать свет и перспективу. Таковы они должны быть по тогдашней драматической теории; может быть, таковы они были и по плану автора комедии; но не совсем такими представляются они современному зрителю, не забывающему, что он видит перед собой русское общество прошлого века. Правда, Стародум, Милон, Правдин, Софья не столько живые лица, сколько моралистические манекены; но ведь и их действительные подлинники были не живее своих драматических снимков. Они наскоро затверживали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и правила, которые кой-как прилаживали к своему внутреннему существу, как прилаживали заграничные парики к своим щетинистым головам; но эти чувства и правила так же механически прилипали к их доморощенным, природным понятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они являлись ходячими, но еще безжизненными схемами новой, хорошей морали, которую они надевали на себя как маску.



Нужны были время, усилия и опыты, чтобы пробудить органическую жизнь в этих пока мертвенных, культурных препаратах, чтобы эта моралистическая маска успела вращаться в их тусклые лица и стать их живой нравственной физиономией. Где, например, было взять Фонвизину живую благовоспитанную племянницу Софью, когда такие племянницы всего лет за 15 до появления *Недоросля* только еще проектировались дядюшкой Бецким в разных педагогических докладах и на чертеньях, когда учрежденные с этой целью воспитательные общества для благородных и мещанских девиц по его заказу лепили еще первые пробные образчики новой благовоспитанности, а сами эти девицы, столь заботливо задуманные педагогически, подобно нашей Софье, только еще садились за чтение Фенелоновых и других трактатов о своем собственном воспитании? Художник мог творить только из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла у него свежеизготовленной куколкой благонавия, от которой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким образом, Фонвизин остался художником и в видимых недостатках своей комедии не изменил художественной правде и в самых своих карикатурах: он не мог сделать живые лица из ходячих мертвецов или туманных привидений, но изображенные им светлые лица, не становясь живыми, остаются действительными лицами, из жизни взятыми явлениями.

Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают, сбиваются, повторяя уроки, едва затверженные из Лябрюйера, Дюкло, Наказа и других тогдашних учебников публичной и частной морали; но как новообращенные, они немного заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не рассмотрят на свой новенький нравственный убор, говорят так развязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смакуют собственную академическую добродетель, что забывают, где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попадают впросак, чем усиливают комизм драмы. Стародум, толкующий госпоже Простаковой пользу географии тем, что в поездке с географией знаешь, куда едешь, — право, не менее и не более живое лицо, чем его собеседница, которая с обычной своей решительностью и довольно начитанно возражает ему тонким соображением, заимствованным из одной повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело». Умные, образованные люди так самодовольно потешаются над этим обществом грубых или жалких дикарей, у которых они в гостях, даже над такими петыми дураками, какими они считают Митрофана

и Тараса Скотинина, — что последний обнаружил необычную ему зоркость, когда спросил, указывая на одного из этих благородных гостей, Софьиного жениха: «Кто ж из нас смешон? Ха, ха, ха!» Сам почтенный дядя Стародум так игриво настроен, что при виде подравшихся в кровь братца и сестрицы, к которой в дом он только что приехал, не мог удержаться от смеха и даже засвидетельствовал самой хозяйке, что он от роду ничего смешнее не видывал, за что и был заслуженно оборван ее замечанием, что это, сударь, вовсе и не смешно. Во всю первую сцену пятого акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Стародум и чиновник наместничества Правдин важно беседуют о том, как незаконно угнетать рабством себе подобных, какое удовольствие для государей владеть свободными душами, как льстецы отвлекают государей от связи истины и уловляют их души в свои сети, как государь может сделать людей добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия никто не может выйти в люди и получить место на службе, и «тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сцене перед русской публикой о таких серьезных предметах и изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей добрыми, сидели в одной из наполненных крепостными людьми усадеб многочисленных господ Простаковых, урожденных Скотининых, с одной из которых насилие могли справиться оба они, да и то с употреблением оружия офицера, проходившего мимо со своей командой. Внимая этим собеседникам, точно слушаешь веселую сказку, уносившую их из окружавшей их действительности «за тридевять земель, за тридесятое царство», куда заносила Митрофана обучавшая его «историям» скотница Хавронья. Значит, лица комедии, призванные служить формулами и образцами добронравия, не лишены комической живости.

Все это — фальшивые ноты не комедии, а самой жизни, в ней разыгранной. Эта комедия — бесподобное зеркало. Фонвизину в ней как-то удалось стать прямо перед русской действительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно, в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взглядом, не преломленным никакими точками зрения, и воспроизвести ее с безотчетностью художественного понимания. Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный художник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где он надеялся творить, он только копировал. Это произошло оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то, что казалось, проник до того, что действительно происходило; простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими в глаза миражами, пода-

вила шаловливую фантазию, обыкновенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не замечаемую действительность. Стекло, которое достигает до невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое отражает занимающие досужих зрителей блуждающие огоньки.

Фонвизин взял героев *Недоросля* прямо из житейского омота, и взял, в чем застал, без всяких культурных покрытий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного толока для забавы театральной публики, оказались вовсе не забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном обществе: автор взял их на время для показа из-под полицейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце пьесы при содействии чиновника Правдина, который и принял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хитрят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до самозабвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи собственных козней. На этом и построен комизм *Недоросля*. Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны сами по себе; смешно только глупое коварство, попавшееся в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая сама себя и никому не причинившая задуманного зла. *Недоросль* — комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но не смешны, комичны как роли, и вовсе не смешны как люди. Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обществе. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком различении *людей* и *ролей* художественное мастерство его *Недоросля*; в нем же источник того сильного впечатления, какое производит эта пьеса. Сила впечатления в том, что оно составляется из двух противоположных элементов: смех в театре сменяется тяжелым раздумьем по выходе из него. Пока разыгрываются роли, зритель смеется над положениями себя перехитрившей и самое себя наказывающей глупости. Но вот кончилась игра, ушли актеры, и занавес опустился — кончился и смех. Прошли забавные положения злых людей, но люди остались, и, из душного марева электрического света вырвавшись на пронизывающую свежесть уличной мглы, зритель с ущемленным сердцем припоминает, что эти люди остались и он их встретит вновь прежде, чем они по-

падутся в новые заслуженные ими положения, и он, зритель, запутается с ними в их темные дела, и они сумеют наказать его за это раньше, чем успеют сами наказать себя за свою же пережитившую себя злую глупость.

В *Недоросле* показана зрителю зажиточная дворянская семья екатерининского времени в невообразимо хаотическом состоянии. Все понятия здесь опрокинуты вверх дном и исковерканы; все чувства выворочены наизнанку; не осталось ни одного разумного и добросовестного отношения, во всем гнет и произвол, ложь и обман и круговое, поголовное непонимание. Кто посильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обманывает, и ни те, ни другие не понимают, для чего они гнетут, лгут и обманывают, и никто не хочет даже подумать, почему они этого не понимают. Жена-хозяйка вопреки закону и природе гнетет мужа, не будучи умнее его, и ворочает всем, т. е. все переворачивает вверх дном, будучи гораздо его нахальнее. Она одна в доме лицо, все прочие — безличные местоимения, и когда их спрашивают, кто они, робко отвечают: «Я — женин муж, а я — сестрин брат, а я — матушкин сын». Она ни в грош не ставит мнение мужа и, жалуясь на господя, ругается, что муж на все смотрит ее глазами. Она заказывает кафтан своему крепостному, который шить не умеет, и беснуется, негодуя, почему он не шьет, как настоящий портной. С утра до вечера не дает покоя ни своему языку, ни рукам, то ругается, то дерется: «Тем и дом держится», по ее словам. А держится он вот как. Она любит сына любовью собаки к своим щенятам, как сама с гордостью характеризует свою любовь, поощряет в сыне неуважение к отцу, а сын, 16-летний детина, платит матери за такую любовь грубостью скотины. Она позволяет сыну обедаться до желудочной тоски и уверена, что воспитывает его, как повелевает родительский долг. Свято храня завет своего великого батюшки воеводы Скотинина, умершего с голоду на сундуке с деньгами и при напоминании об учении детей кричавшего: «Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет», верная фамильным традициям дочь ненавидит науку до ярости, но бестолково учит сынка для службы и света, твердя ему: «Век живи, век учись», и в то же время оправдывает его учебное отвращение неприятным намеком на полагаемую ею конечную цель образования: «Не век тебе, моему другу, учиться: ты благодаря бога столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек». Самый дорогой из учителей Митрофана, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить всем наукам, не учит ровно ничему и учить не может, потому что сам ничего не знает, даже мешает учить

другим, оправдывая перед матерью свою педагогику тем, что головушка у ее сына гораздо слабее его брюха, а и оно не выдерживает излишней набивки; и за это доступное материнско-простаковскому уму соображение Вральман — единственный человек в доме, с которым хозяйка обращается прилично, даже с посильным для нее уважением. Обобрав все у своих крестьян, госпожа Простакова скорбно недоумевает, как это она уже ничего с них содрать не может — такая беда! Она хвастается, что приютила у себя сиротку-родственницу со средствами, и исподтишка обирает ее. Благодетельница хочет пристроить эту сиротку Софью за своего братца без ее спроса, и тот не прочь от этого не потому, что ему нравится «девчонка», а потому что в ее деревеньках водятся отличные свиньи, до которых у него «смертная охота». Она не хочет верить, чтобы воскрес страшный ей дядя Софьи, которого она признала умершим только потому, что уж несколько лет поминала его в церкви за упокой, и рвет и мечет, готова глаза выпарапать всякому, кто говорит ей, что он и не умирал. Но самодур-баба — страшная трусиха и подличает перед всякой силой, с которой не надеется справиться, — перед богатым дядей Стародумом, желая устроить нечаянно разбогатевшую братнину невесту за своего сына; но когда ей отказывают, она решается обманом насильно обвенчать ее с сыном, т. е. вовлечь в свое безбожное беззаконие самую церковь. Рассудок, совесть, честь, стыд, приличие, страх божий и человеческий — все основы и скрепы общественного порядка горят в этом простаковско-скотининском аду, где черт — сама хозяйка дома, как называет ее Стародум, и когда она наконец попалась, когда вся ее нечестивая паутина разорвана была метлой закона, она, бросившись на колени перед его блюстителем, отпеваает свою безобразную трагедию, хотя и не гамлетовским, но тартюфовским эпилогом в своей урожденной редакции: «Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Но это была минутная растерянность, если не было притворство: как только ее простили, она спохватилась, стала опять сама собой, и первую мыслью ее было перепороть насмерть всю дворню за свою неудачу, и, когда ей заметили, что тиранствовать никто не волен, она увековечила себя знаменитым возражением:

— Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высесть не волен! Да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?

В этом все дело. «Мастерица толковать указы!» — повторим и мы вслед за Стародумом. Все дело в последних словах госпожи Простаковой; в них весь смысл драмы и вся драма в них же. Все остальное — ее сценическая или литературная

обстановка, не более; все, что предшествует этим словам,— их драматический пролог; все, что следует за ними,— их драматический эпилог. Да, госпожа Простакова мастерица толковать указы. Она хотела сказать, что закон оправдывает ее беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице весь смысл *Недоросля*; без нее это была бы комедия бессмыслиц. Надобно только в словах госпожи Простаковой уничтожить знаки удивления и вопрос, переложить ее несколько патетическую речь, вызванную тревожным состоянием толковательницы, на простой логический язык, и тогда ясно обозначится ее неблагополучная логика. Указ о вольности дворянства дан на то, чтобы дворянин волен был сечь своих слуг, когда захочет. Госпожа Простакова, как непосредственная, наивная дама, понимала юридические положения только в конкретных, практических приложениях, каковым в ее словах является право произвольного сечения крепостных слуг. Возводя эту подробность к ее принципу, найдем, что указ о вольности дворянства дан был на права дворян и ничего, кроме прав, т. е. никаких обязанностей, на дворян не возлагал, по толкованию госпожи Простаковой. Права без обязанностей — юридическая нелепость, как следствие без причины — нелепость логическая; сословие с одними правами без обязанностей — политическая невозможность, а невозможность существовать не может. Госпожа Простакова возомнила русское дворянство такую невозможностью, т. е. взяла да и произнесла смертный приговор сословию, которое тогда вовсе не собиралось умирать и здравствует доселе. В этом и состояла ее бессмыслица. Но дело в том, что, когда этот знаменитый указ Петра III был издан, очень многие из русских дворян подняли руки на свое сословие, поняли его так же, как поняла госпожа Простакова, происшедшая из «великого и старинного» рода Скотининых, как называет его сам ее брат, сам Тарас Скотинин, по его же уверению, «в роде своем не последний». Я не могу понять, для чего Фонвизин допустил Стародума и Правдина в беседе со Скотининым трунить над стариной рода Скотининых и искушать генеалогическую гордость простака Скотинина намеком, что пращур его, пожалуй, даже старше Адама, «создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама», что Софья потому и не пара Скотинину, что она дворянка: ведь сама комедия свидетельствует, что Скотинин имел деревню, крестьян, был сын воеводы, значит, был тоже дворянин, даже причислялся по табели о рангах к «лучшему старшему дворянству во всяких достоинствах и аванжажах», а потому пращур его не мог быть создан в одно время с четвероногими. Как это русские дворяне

прошлого века спустили Фонвизину, который сам был дворянин, такой неловкий намек? Можно сколько угодно шутить над юриспруденцией госпожи Простаковой, над умом г. Скотинина, но не над их предками: шутка над скотининской генеалогией, притом с участием библейских сказаний, со стороны Стародума и Правдина, т. е. Фонвизина, была опасным, обоюдоострым оружием; она напоминает комизм Кутейкина, весь построенный на пародировании библейских терминов и текстов, — неприятный и ненадежный комический прием, едва ли кого забавить способный. Это надобно хорошенько растолковать молодежи, читающей *Недоросля*, и истолковать в том смысле, что здесь Фонвизин не шутил ни над предками, ни над текстами, а только по-своему обличал людей, злоупотребляющих теми и другими. Эту шутку может извинить если не увлечение собственным остроумием, то негодование на то, что Скотинины слишком мало оправдывали свое дворянское происхождение и подходили под жестокую оценку того же Стародума, сказавшего: «Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ничего на свете не знаю». Негодование комика вполне понятно: он не мог не понимать всей лжи и опасности взгляда, какой усвоили многие дворяне его времени на указ о вольности дворянства, понимая его, как он истолковывался в школе простаковского правоведения. Это толкование было ложно и опасно, грозило замутить юридический смысл и погубить политическое положение руководящего сословия русского общества. Дворянская вольность по указу 1762 г. многими понята была как увольнение сословия от всех социальных сословных прав. Это была роковая ошибка, вопиющее недоразумение. Совокупность государственных обязанностей, лежавших на дворянстве как сословию, составляла то, что называлось его *службой* государству. Знаменитый манифест 18 февраля 1762 г. гласил, что дворяне, находящиеся на военной или гражданской службе, могут оную продолжать или выходить в отставку по своему желанию, впрочем, с некоторыми ограничениями. Ни о каких новых правах над крепостными, ни о каком сечении слуг закон не говорил ни слова; напротив, прямо и настойчиво оговорены были некоторые обязанности, оставшиеся на сословию, между прочим, установленное Петром Великим обязательное обучение: «Чтобы никто не дерзал без учения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом». В заключение указа вежливо выражена *надежда*, что дворянство не будет уклоняться от службы, но с ревностью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилежностью обучать благопристойным наукам,

а, впрочем, тут же довольно сердито прибавлено, что тех дворян, которые не будут исполнять обеих этих обязанностей, как людей нерадивых о добре общем, *повелевается* всем верно-подданным «презирать и уничтожать» и в публичных собраниях не терпеть. Как можно было еще сказать яснее этого, и где тут *вольность*, полное увольнение от обязательной службы? Закон отменял, да и то с ограничениями, только обязательную срочность службы (не менее 25 лет), установленную указом 1736 г. Дворяне простаковского разума были введены в заблуждение тем, что закон не предписывал прямо служить, что было не нужно, а только грозил карой за уклонение от службы, что было не излишне. Но ведь угроза закона наказанием за поступок есть косвенное запрещение поступка. Это юридическая логика, требующая, чтобы угрожающее наказание вытекало из запрещаемого поступка, как следствие вытекает из своей причины. Указ 18 февраля отменил только следствие, а простаковские законоведы подумали, что отменена причина. Они впали в ошибку, какую сделали бы мы, если бы, прочитав предписание, что воры не должны быть терпимы в обществе, подумали, что воровство дозволяется, но прислуге запрещается принимать воров в дом, когда они позвонят. Эти законоведы слишком буквально понимали не только слова, но и недомолвки закона, а закон, желая говорить вежливо, торжественно объявлял, что он жалует «всему российскому благородному дворянству вольность и свободу», говорил приятного больше, чем хотел сказать, и старался возможно больше смягчить то, что было неприятно напоминать. Закон говорил: будьте так добры, служите и учите своих детей, а впрочем, кто не станет делать ни того, ни другого, тот будет изгнан из общества. Многие в русском обществе прошлого века не поняли этой деликатной апелляции закона к общественной совести, потому что получили недостаточно мягкое гражданское воспитание. Они привыкли к простому, немного солдатскому языку петровского законодательства, которое любило говорить палками, плетями, виселицей да пулей, обещало преступнику ноздри распороть и на каторгу сослать, или даже весьма живота лишить и отсечением головы казнить, или нещадно аркебузировать (расстрелять). Эти люди понимали долг, когда он вырезывался кровавыми подтеками на живой коже, а не писался человеческой речью в людской совести. Такой реализм юридического мышления и помешал мыслителям вникнуть в смысл закона, который за нерадение о добре общем грозил, что нерадивые «ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы не будут»: ни палок, ни



плетей, а только закрытие придворных и публичных дверей! Вышло крупное юридическое недоразумение. Тогдашняя сатира вскрыла его источник: это слишком распущенный аппетит произвола. Она изобразила уездного дворянина, который так пишет сыну об указе 18 февраля: «Сказывают, что дворянам дана вольность; да черт ли это слышал, прости господи, какая вольность! Дали вольность, а ничего невозможно своею волею сделать, нельзя у соседа и земли отнять». Мысль этого законоведа шла еще дальше простаковской, требовала не только увольнительного свидетельства от сословного долга, но и патента на сословную привилегию беззакония.

Итак, значительная часть дворянства в прошлом столетии не понимала исторически сложившегося положения своего сословия, и недоросль, фонвизинский *недоросль Митрофан*, был жертвой этого непонимания. Комедия Фонвизина неразрывно связала оба эти слова так, что *Митрофан* стал именем нарицательным, а недоросль — собственным: недоросль — синоним Митрофана, а Митрофан — синоним глупого неуча и маменькина баловня. *Недоросль* Фонвизина — карикатура, но не столько сценическая, сколько бытовая: воспитание изуродовало его больше, чем пересмеяла комедия. Историческим прототипом этой карикатуры было звание, в котором столь же мало смешного, как мало этого в звании гимназиста. На языке древней Руси, *недоросль* — подросток до 15 лет, дворянский недоросль — подросток, «поспевавший» в государеву ратную службу и становившийся *новиком*, «срослым человеком», как скоро поспевал в службу, т. е. достигал 15 лет. Звание дворянского недоросля — это целое государственное учреждение, целая страница из истории русского права. Законодательство и правительство заботливо устроили положение недорослей, что и понятно: это был подрастающий ратный запас. В главном военном управлении, в Разрядном московском приказе, вели их списки с обозначением лет каждого, чтобы знать ежегодный призывный контингент; был установлен порядок их смотров и разборов, по которым поспевших писали в службу, в какую кто годился, порядок надела их старыми отцовскими или новыми поместьями и т. п. При таком порядке недорослю по достижении призывного возраста было трудно, да и невыгодно долго залеживаться дома: поместное и денежное жалованье назначали, к первым «новичным» окладам делали придачи только за действительную службу или доказанную служебную годность, «кто чего стоил», а «избывая от службы», можно было не только не получить нового поместья, но и потерять отцовское. Бывали и в XVII в. недоросли, «которые

в службу поспели, а службы не служили» и на смотры не являлись, «огурялись», как тогда говорили про таких неслухов. С царствования Петра Великого это служебное «огурство» дворянских недорослей усиливается все более по разным причинам: служба в новой регулярной армии стала несравненно тяжелее прежней; притом закон 20 января 1714 г. требовал от дворянских детей обязательного обучения для подготовки к службе; с другой стороны, поместное владение стало наследственным, и наделение новиков поместьями прекратилось. Таким образом, тягости обязательной службы увеличивались в одно время с ослаблением материальных побуждений к ней. «Лыняние» от школы и службы стало хроническим недугом дворянства, который не поддавался строгим указам Петра I и его преемниц об явке недорослей на смотры с угрозами кнутом, штрафами, «шельмованием», бесповоротной отпиской имений в казну за ослушание. Посошков уверяет, что в его время «многое множество» дворян веки свои проживали, старели, в деревнях живучи, а на службе и одною ногою не бывали. Дворяне пользовались доходами с земель и крепостных крестьян, пожалованных сословию для службы, и по мере укрепления тех и других за сословием все усерднее уклонялись от службы. В этих уклонениях выражалось то же недобросовестное отношение к сословному долгу, какое так грубо звучало в словах, слышанных тем же Посошковым от многих дворян: «Дай бог великому государю служить, а сабли б из ножен не вынимать». Такое отношение к сословным обязанностям перед государством и обществом воспитывало в дворянской среде «лежебоков», о которых Посошков ядовито заметил: «Дома соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козы». Этот самый взгляд на государственные и гражданские обязанности сословия и превратил дворянского недоросля, поспевавшего на службу, в грубого и глупого неуча и лентяя, вконец избывавшего от школы и службы.

Такой превращенный недоросль и есть фонвизинский Митрофан, очень устойчивый и живучий тип в русском обществе, переживший самое законодательство о недорослях, умевший «взвесть» не только деточек, по предсказанию его матери госпожи Простаковой, но и внучек «времен новейших Митрофанов», как выразился Пушкин. Митрофану Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорослях: по закону 1736 г. срок учения (т. е. звания) недоросля был продолжен до 20 лет. Митрофан по состоянию своих родителей учится дома, а не в школе: тот же закон позволял воспитываться дома недорослям со средствами. Митрофан учится уже года четыре, и из

рук вон плохо: по часослову едва бредет с указкой в руке и то лишь под диктовку учителя, дьячка Кутейкина, по арифметике «ничего не перенял» у отставного сержанта Цыфиркина, а «по-французски и всем наукам» его совсем не учит и сам учитель, дорого нанятой для обучения этим «всем наукам» бывший кучер, немец Вральман. Но мать очень довольна и этим последним учителем, который «ребенка не неволит», и успехами своего «ребенка», который, по ее словам, столько уже смыслит, что и сам «взведет» деточек. У нее природное, фамильное скотининское отвращение от ученья. «Без наук люди живут и жили», — внушительно заявляет она Стародуму, помня завет своего отца, сказавшего: «Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». Но и она знает, что «ныне век другой», и, труся его, с суетливой досадой готовит сына «в люди»: неученый поезжай-ка в Петербург — скажут, дурак. Она балует сына, «пока он еще в недорослях»; но она боится службы, в которую ему, «избави боже», лет через десяток придется вступить. Требования света и службы навязывали этим людям ненавистную им науку, и они тем искреннее ее ненавидели. В этом и состояло одно из трагикомических затруднений, какие создавали себе эти люди непониманием своего сословного положения, наделавшим им столько Митрофанов; а в положении сословия происходил перелом, требовавший полного к себе внимания.

В комедии Фонвизина, сознательно или бессознательно для ее автора и первых зрителей, нашли себе художественное выражение и эти затруднения, и создавшее их непонимание перелома в положении русского дворянства, который имел решительное влияние на дальнейшую судьбу этого сословия, а через него и на все русское общество. Давно подготовляемый, этот перелом наступил именно с минуты издания закона 18 февраля 1762 г. Много веков дворянство несло на себе тяжесть военной службы, защищая отечество от внешних врагов, образуя главную вооруженную силу страны. За это государство отдало в его руки огромное количество земли, сделало его землевладельческим классом, а в XVII в. предоставило в его распоряжение на крепостном праве и крестьянское население его земель. Это была большая народная жертва: в год первого представления *Недоросля* (1782) за дворянством числилось более половины (53%) всего крестьянского населения в старых великороссийских областях государства — более половины того населения, трудом которого преимущественно питалось государственное и народное хозяйство России. При Петре I к обязательной службе дворянства прибавилось по закону 20 января

1714 г. еще обязательное обучение как подготовка к такой службе. Так дворянин становился государственным, служилым человеком с той минуты, как только дорастал до возможности взять учебную указку в руки. По мысли Петра, дворянство должно было стать проводником в русское общество нового образования, научного знания, которое заимствовалось с Запада. Между тем воинская повинность была распространена и на другие сословия; поголовная военная служба дворянства после Петра стала менее прежнего нужна государству: в устроенной Петром регулярной армии дворянство сохранило значение обученного офицерского запаса. Тогда мирное образовательное назначение, предположенное для дворянства преобразователем, все настойчивее стало выступать вперед. Готово было, ожидая деятелей, и благодатное, мирное поле, работая на котором дворянство могло сослужить отечеству новую службу, несколько не меньше той, какую оно служило на ратном поле. Крепостные крестьяне бедствовали и разорялись, предоставленные в отсутствие помещиков произволу сборщиков податей, старост, управляющих, приказчиков, которых само правительство уподобляло волкам. Помещик считался тогда естественным покровителем и хозяйственным опекуном своих крестьян, и его присутствие рассматривалось как благодеяние для них. Потому и для государства дворянин в деревне стал не менее, если не более, нужен, чем в казарме. Вот почему со смерти Петра постепенно облегчались лежавшие на дворянстве тягости по службе, но взамен того осложнялись его обязанности по землевладению. С 1736 г. бессрочная военная служба дворянина ограничена 25-летним сроком, а в 1762 г. дано служащим дворянам право отставки по их усмотрению. Зато на помещиков возложена ответственность за податную исправность их крестьян, а потом обязанность кормить их в неурожайные годы и ссужать семенами для посевов. Но и в деревне государству нужен был образованный, разумный и человеколюбивый помещик. Потому правительство не допускало ни малейшего ослабления учебной повинности дворянства, угрозой отдавать неучей в матросы без выслуги зачисляло недорослей в казенные школы, устанавливало периодические экзамены для воспитывавшихся дома, как и в школе, предоставляло значительные преимущества по службе обученным новикам. Самую обязанность дворянства служить стали рассматривать не только как средство комплектования армии и флота офицерским дворянским запасом, но и как образовательное средство для дворянина, которому военная служба сообщала вместе с военной и известную гражданскую вы-

правку, знание света, людскость, обтесывала Простаковых и че-  
ловекообразила Скотининых, вколачивала в тех и других ра-  
дение «о пользе общей», «знание политических дел», как  
выражался манифест 18 февраля 1762 г., и побуждала роди-  
телей заботиться о домашней подготовке детей к казенной  
школе и службе, чтоб они не явились в столицу круглыми  
невеждами с опасностью стать посмешищем для товарищей.  
Такое значение службы живо чувствовала даже госпожа Про-  
стакова. Из-за чего она надрывается, хлопоча о выучке своего  
сынка? Она соглашается с мнением Вральмана об опасности  
набивать слабую голову непосильной для нее ученой пищей.  
«Да что ты станешь делать? — горюет она, — ребенок, не вы-  
учась, поезжай-ка в тот же Петербург — скажут дурак. Умниц-  
то ныне завелось много; их-то я боюсь». И фонвизинский брига-  
дир уговаривает свою жену записать их Иванушку в полк:  
«Пусть он, служа в полку, ума набирается». Надобно было  
победить упорное отвращение от науки в дворянских детях,  
на которых указ императрицы Анны 1736 г. жаловался, что  
они предпочитают вступать в холопскую дворовую службу, чем  
служить государству, от наук убегают и тем сами себя губят.  
Ввиду опасности одичания неслужащего дворянства прави-  
тельство долго боялось не только отменить, но и сократить  
обязательную службу сословия. На предложение комиссии  
Миниха установить 25-летний срок дворянской службы с пра-  
вом сокращать его на известных условиях Сенат в 1731 г.  
возражал тем соображением, что богатые дворяне, пользуясь  
этим условиями, никогда волею своею в службу не пойдут,  
а будут дома жить «во всякой праздности и лености и без  
всяких добрых наук и обхождения». Надобно было отучить  
русских вральмановских учеников от нелепого мнения их учи-  
теля, выраженного им так простодушно: «Как будто бы рос-  
сийский дворянин уж и не может в свете авансировать без  
российской грамоты!» И вот в 1762 г. правительство решило,  
что упорство сломлено, и в манифесте 18 февраля торжественно  
возвестило, что принудительной службой дворянства «истреб-  
лена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось  
невежество в здравый рассудок, благородные мысли вкоренили  
в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную  
к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе  
нашей ревность». Но законодатель знал пределы этой «бес-  
предельной верности и отменной ревности» и потому заключил  
даруемую сословию «вольность и свободу» в известные усло-  
вия, которые сводились к требованию, чтобы сословие по доброй  
совести продолжало делать то, что оно дотоле делало из-под

палки. Значит, *принудительную срочность 25-летней службы закон заменил ее нравственной обязательностью*, из повинности, предписываемой законом, превратил ее в требование государственной благопристойности или гражданского долга, неисполнение которого наказуется соответственной карой — изгнанием из порядочного общества; так учебная повинность была подтверждена строго-настрога.

Дальнейшая судьба сословия была предначертана законодательством очень доброжелательно и довольно обдуманно. Дворянство выводили из столичных казарм и канцелярий в провинцию для деятельности на новом поприще. Законом 18 февраля ему облегчили служебную повинность настолько, чтобы она не мешала этой деятельности как повинность и удерживали ее настолько, чтобы она помогала этой деятельности как образовательное средство. На этом провинциальном поприще дворянству предстояла двойная работа — в деревне и в городе. В деревне ему предстояло позаботиться о заброшенном классе, крестьянстве, большей половиной которого оно владело на крепостном праве и которое составляло почти  $\frac{9}{10}$  всего населения государства, которое вынесло на себе все военные и финансовые тяготы страшной реформы, по наряду ставило рекрутов для полтавских и кунерсдорфских полей, по запросу отдавало последние деньги бироновским податным сборщикам и даже без запроса и наряда поставило такого рекрута науки, как Ломоносов. Дворянству предстояло своим знанием и примером приучить этот класс к трезвости, к правильному труду, производительному употреблению своих сил, к бережливому пользованию дарами природы, умелому ведению хозяйства, к сознанию своего гражданского долга, к пониманию своих прав и обязанностей. Этим благородное сословие оправдало бы, — нет, искупило бы исторический грех обладания крепостными душами. Такой грех обыкновенно создавался завоеванием, а русское дворянство не завоевывало своих крестьян, и тем нужнее было ему доказать, что его власть не была нарушением исторической справедливости. Другое дело предстояло дворянству в городе. Когда *Недоросль* впервые появился на сцене, в полном ходу была реформа губернских учреждений, предоставлявшая дворянству преобладающее значение в местном управлении и суде. Как сословие дисциплинированное и приученное к общественной деятельности самым свойством своей обязательной службы, оно могло бы стать руководителем других классов местного общества, приучая их к самостоятельности и самообладанию, к дружной совместной работе, от которой они отвыкли, обособленные

специальными сословными правами и обязанностями, — словом, могло бы образовать подготовленные кадры местного самоуправления, как прежде оно давало армии подготовленный офицерский запас.

Для той и другой деятельности, городской, как и деревенской, требовалась серьезная и осторожная подготовка, которой предстояло бороться с большими затруднениями. Прежде всего необходимо было запастись средствами, доставляемыми образованием, наукой. Дворянству предстояло на себе самом показать другим классам общества, какие средства дает для общежития образование, когда становится такой же потребностью в духовном обиходе, какую составляет питание в обиходе физическом, а не служит только скаковым препятствием, через которое перепрыгивают для получения больших чинов и доходных мест, или средством приобретения великосветского лоска, как косметическое подспорье парикмахерского прибора.

Можно было опасаться, сумеет ли русское дворянство выбрать из бывшего в европейском обороте запаса знаний, идей, воззрений то, что было ему нужно для домашнего дела, а не то, чем можно было приятно наполнить досужее безделье. Опасение поддерживали вести, шедшие из-за границы, о посланных туда в науку русских молодых людях, которые охотнее посещали европейские австери и «редуты» (игорные дома), чем академии и другие школы, и «срамотными поступками» изумляли европейскую полицию. Грозил и другая опасность: в новые губернские учреждения дворянство могло принести свой старый привычный взгляд на гражданскую службу как на «кормление от дел». Дворяне прошлого века относились к этой службе с пренебрежением, однако не брезговали ею ради ее «наживочных» удобств и даже пользовались ею как средством уклоняться от военной службы. Посошков в свое время горько сетовал на дворян «молодиков», которые «живут у дел вместо военного дела», да учатся, «как бы им наживать и службы отлынять».

Правительство начало заботиться об учебной подготовке дворянства к гражданской службе раньше, чем снята была с сословия срочная воинская повинность. По многопредметной программе открытого в 1731 г. шляхетского кадетского корпуса кадеты должны были обучаться, между прочим, риторике, географии, истории, геральдике, юриспруденции, морали. Образованные русские люди того времени, например Татищев (в *Разговоре о пользе наук и училищ* и в *Духовной*), настойчиво твердили, что русскому шляхетству после исповедания веры

прежде всего необходимо знание законов гражданских и состояния собственного отечества, русской географии и истории. Разумеется, при Екатерине II «гражданское учение», которое воспитывало бы не столько ученых, сколько граждан, стало еще выше в предначертаниях правительства. По плану Бецкого из преобразованного шляхетского корпуса дворянский недоросль должен был выходить воином-гражданином, знающим и военное, и гражданское дело, способным вести дела и в лагере, и в Сенате, короче, мужем одинаково пригодным *belli domique*.

Это было бы великое дело, если бы план удался и из среды Иванушек и Митрофанушек пошли бы такие разносторонне пригодные мужи. Случилось так, что в ту же осень, когда впервые сыгран был *Недоросль*, в Петербурге совершились два важные события: составлена комиссия об учреждении народных школ в России и открыт памятник Петру Великому. Знаменательное совпадение! Если бы дворянство шло путем, какой указан был ему Петром I, ода того века могла бы, пользуясь случаем, изобразить, как преобразователь, вышедши из своей петропавловской гробницы и «увидев себя на вольном воздухе» — выражение Екатерины II в письме к Гримму по поводу открытия памятника, — отверзает свои давно сомкнутые уста, чтобы сказать: *Ныне отпущаеши*. Но вышла не ода, а комедия, чтобы предостеречь сословие от опасности не попасть на указанный ему путь. *Недоросль* дает такое предостережение в резких, внушительных формах, понятных и публике, непривычной к комическим тонкостям; его понял даже брат попавшейся госпожи Простаковой, сам Тарас Скотинин, сказав: «Да этак и всякий Скотинин может попасть под опеку». В усадьбе г-жи Простаковой прообразовательно, для примера, разыграна дальнейшая судьба той части дворянства, которая мыслила и понимала свое положение по-простаковски. Сословию предстояло приготовиться к отечественной и патриотической роли руководителя местного управления и общества, а г-жа Простакова говорит: «Да что за радость и выучиться? Кто посмышленее, того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность». Сословие призывалось к попечительной и человеколюбивой деятельности в крепостной деревне, а г-жа Простакова, видя, что чиновник наместника отнял у нее власть буйствовать в доме, в комической тоске восклицает: «Куда я гошусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет?» Зато господам Простаковым и опека. Ништо им!

В *Недоросле* дурные люди старого закала поставлены прямо против новых идей, воплощенных в бледные добродетельные



фигуры Стародума, Правдина и других, которые пришли сказать тем людям, что времена изменились, что надобно воспитываться, мыслить и поступать не так, как они это привыкли делать, что дворянину бесчестно ничего не делать, «когда есть ему столько дела, есть люди, которым помогать, есть отечество, которому служить». Но старые люди не хотели понять новых требований времени и своего положения, и закон готов наложить на них свою тяжелую руку. На сцене представлено было то, что грозило в действительности: комедия хотела дать строгий урок непонятливым людям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством.

---

.

**РЕЧЬ,  
ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТОРЖЕСТВЕННОМ  
СОБРАНИИ  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
6 ИЮНЯ 1880 г.,  
В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ**

Значение Пушкина не ограничивается его местом в истории того, что он сам считал собственно литературой, т. е. в истории литературы художественной. У него есть место и в более тесной литературной области: в его творчестве есть сторона специальная, но близкая всякому, для кого русское слово родное. Его творения представляют интерес и для русского историка.

Я разумею здесь не тот интерес, какой имеет для историка всякий памятник поэзии. В этом смысле вся поэтическая деятельность Пушкина принадлежит нашей истории. Пушкин отделен от нас целым поколением. Новый слой понятий и забот, ему неизвестных и чуждых его времени, образовался над его могилой. Он был свидетелем стремлений и отношений, от которых уже далеко отодвинулись мы. Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно; в стихе, лучше которого мы не знаем доселе, подчас звучат воззрения, которые для нас — общественная или нравственная археология. С этой стороны все написанное Пушкиным — исторический документ, длинный ряд его произведений — поэтическая летопись его времени.

И сам Пушкин — уже вполне историческое явление, представитель исчезнувшего порядка идей, хотя исполнения некоторых его благих чаяний мы ждем доселе. Мы изучаем его так же, как изучаем людей XVIII и XVII вв. Независимо от своего таланта для нас он наиболее выразительный образ известной эпохи. Самые недостатки его имеют для нас не

столько биографический, сколько исторический интерес. Мы ошибемся в цене его современников, если забудем, сколько сил этого великолепного таланта потрачено было на ветер, на детские игрушки для взрослых. Пушкин имел печальное право более всех, говоря словами другого поэта, благодарить свое время

За жар души, растроченный в пустыне.

Без Пушкина нельзя представить себе эпохи 20-х и 30-х годов, как нельзя без его произведений написать истории первой половины нашего века. При каком угодно взгляде на Пушкина, на значение его поэзии за ним останется страница в нашей истории.

Но его нельзя обойти и в нашей историографии, хотя он не был историком по ремеслу — ни по призванию, прибавят, может быть, иные. Вернее, он только мало знал отечественную историю, хотя и не меньше большинства образованных русских своего времени. Но он живет и чувствует этот недостаток и гораздо более их размышлял о том, что знал. Из его заметок и журнальных статей видим, какое сильное впечатление произвел на него исторический труд Карамзина, как он следил за современной исторической письменностью. По мере созревания его мысли и таланта усиливалась и его историческая любознательность. В последние годы, как известно, он много занимался родной стариной даже в архивах. Он иногда обращался к русскому прошедшему, чтобы найти материал для поэтического творчества, взять фабулу для поэтического создания. Но я хочу сказать не об этих пьесах. *Борис Годунов*, *Полтава*, *Медный всадник* — читая их, мы готовы забыть, что это исторические сюжеты: эстетическое наслаждение оставляет здесь слишком мало места для исторической критики.

Иное значение имело для Пушкина ближайшее к нему столетие. Он вырос среди живых преданий и свежих легенд XVIII в. Екатерининские люди и дела стояли к нему ближе, чем он сам стоит к нам. Там он угадывал зарождение понятий, интересов и типов, которыми дорожил особенно или которые встречал постоянно вокруг себя. Об этом веке он заботливо собирал сведения и знал много. Он мог рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п. Иногда он облакал явления этого времени в художественную форму повести или романа. Во всем этом нет следов продолжительного и систематического изучения. Но здесь ря-

дом с поспешными суждениями встречаем замечания, которые сделали бы честь любому ученому историку. Наша историография ничего не выиграла ни в правдивости, ни в занимательности, долго развивая взгляд на наш XVIII в., противоположный высказанному Пушкиным в одной кишиневской заметке 1821 г. Сам поэт не придавал серьезного значения этим отрывочным, мимоходом набросанным или неоконченным вещам. Но эти-то вещи и имеют серьезную цену для историографии. Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удастся стать им настоящему историку. *Капитанская дочка* была написана между делом, среди работ над пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в *Истории Пугачевского бунта*, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Я хочу напомнить об историческом интересе, который заставляет читать и перечитывать эти второстепенные пьесы Пушкина.

Наш XVIII век гораздо труднее своих предшественников для изучения. Главная причина тому — большая сложность жизни. Общество заметно пестреет. Вместе с социальным разделением увеличивается в нем и разнообразие культурных слоев, типов. Люди становятся менее похожи друг на друга, по мере того как делаются неравноправнее. Воспроизвести процесс этого нравственного разделения гораздо труднее, чем разделения политического. С половины века выступают рядом образчики типов разнохарактерного и разновременного происхождения. Чем далее, тем классификация их становится труднее. Часто недоумеваешь, к какой эпохе приурочить зарождение того или другого из них, в каком порядке разложить их по историческим витринам.

Между этими типами есть один — может быть, самое своеобразное явление общественной физиологии. Он зародился лет 200 назад и, вероятно, долго проживет после нас. Ему трудно дать простое и точное название: в разные поколения он являлся в чрезвычайно разнообразных формах. Достаточно указать на два имени в его генеалогии, чтобы видеть степень его изменчивости. Едва ли не первым блестящим образчиком этого типа был администратор и дипломат XVII в. А. Л. Ордин-Нащокин. Но скучающий от безделья Евгений Онегин был в прямой нисходящей поэтическим потомком этого исторического дельца. Дадим этому типу имя сложное, как и он сам. Это русский человек, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им. Вот уже 200 лет этот тип господствует над остальными и по влиянию на наше общество, и по своему интересу для историка. Без его биогра-

фии пустеет история нашего общества последних двух столетий. Около него сосредоточиваются, иногда от него исходят самые важные умственные, а подчас и политические движения.

При всей видимой изменчивости основные черты типа остаются одни и те же во всех фазах его развития. Следя за ними, удивляешься не тому, что отцы и дети выходят так непохожи друг на друга, а тому, что столь непохожие друг на друга люди — все-таки отцы и дети. Разнообразие видов одного типа происходит от различных способов решения культурного вопроса, который лежит в самой его сущности: родившись русским и решив, что русский не европеец, как сделаться европейцем? Первое поколение этого типа вообще склонялось к той мысли, что все русское надобно делать по-западноевропейски. Второе — уже думало, что все русское хорошо было бы переделать в западноевропейское. Чувствуя свое невежество, иногда находили, что надобно заимствовать с Запада свет знания, но без огня, которым можно обжечься; а в другое время брала верх уверенность, что можно взять этот свет целиком, только не следует подносить его близко к глазам, чтобы не обжечься. Далее, одни думали, что можно стать европейцем, оставаясь русским; другие настаивали, что необходимо для этого перестать быть русским, что вся тайна европеизации для нас заключается в совлечении с себя всего национального. Существовало даже убеждение, не лишнее остроумия, и, может быть, существует доселе, что если человечность нашла себе высшее выражение в европеизме, то надобно иметь в себе возможно меньше западноевропейского, чтобы стать европейцем. Что еще замечательнее, это убеждение едва ли не первые начали высказывать у нас русские с западноевропейскими фамилиями.

Вы видите, милостивые государи, что этот тип нельзя упрекнуть в упрямстве и застое; в нем, напротив, слишком много нравственной гибкости и умственного движения. Все это затрудняет его историческое изучение, научную классификацию его разновидностей. Пушкин интересовался этим типом и любил некоторые его явления. Он и сам представлял одну из его разновидностей, даровитую, восприимчивую, блестящую. Его наблюдал он вокруг себя и из этих наблюдений создал свою эпопею Евгения Онегина. Сознательно или нет, на разновременных вариантах того же с особенной любовью останавливался он и в преданиях прошедшего. Этим он и помог много историку в изучении любопытного типа. В длинном ряду эскизов и повестей, оконченных и неоконченных: в *Арапе*

*Петра Великого*, в *Дубровском*, в *Капитанской дочке* и др., перед читателем проходят разнохарактерные фигуры этого типа, появлявшиеся на пространстве с лишком ста лет. Надеюсь, вы охотно позволите мне ограничиться простым хронологическим каталогом этих не лишенных занимательности физиономий.

Позади их всех стоит чопорный Гаврила Афанасьевич Р. в *Аране Петра Великого*. Это невольный, зачисленный в европейцы по указу русский. Все его понятия и симпатии принадлежат еще старой неевропейской России, хотя он не прочь послужить на новой службе и сделать карьеру. Это еще не тип европеизованного русского, а скорее русская гримаса европеизации, первая и кислая. Вкус новой культуры еще не привился, но это вопрос недолгого времени. Сам *аран* Ибрагим, к сожалению, остался недорисованным в неоконченной повести. Можно только догадываться по некоторым штрихам, что из него имел выйти один из петровских дельцов — людей, хорошо нам знакомых по Нартовым, Неплюевым и др. Это характеры резкие и жесткие, но хрупкие по недостатку гибкости и потому неживучие: они вымирали уже при Екатерине II. Зато живуч был общественно-физиологический вид, представленный в лице молодого К., Ибрагимова товарища по курсу высшей европеизации в парижских салонах. Это русский петиметр XVIII в., великосветский русский шалопай на европейскую ногу, «скоморох», по выражению старого князя Лыкова в *Аране*, или «обезьяна, да не здешняя», как назван он в одной комедии Сумарокова. В *Аране Петра Великого* он еще не на своем месте, не в пору вернулся из-за моря и испытывает неудобства рано прилетевшей ласточки. Полная весна наступит для него в женские эпохи, при двух Аннах, двух Екатеринах и одной Елизавете. При Петре ему холодно и неловко в его нарядном кафтане среди деловых людей, которые скидали рабочие куртки только по праздникам. Со временем он будет нужным и важным человеком в праздном обществе; теперь он шут поневоле, и Петр колет ему глаза его бархатными штанами, каких не носит и царь. Троекуров в *Дубровском* — постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню дурить на досуге. У младших петровских дельцов часто бывали такие дети. Живя в более распущенное время, они теряли знания и выдержку отцов, не теряя их appetitov и вкусов. Невежественный и грубый Троекуров, однако, старается дать дочери модное воспитание с гувернером-французом и выдает замуж за самого модного барина. Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по

захолустьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах. Это миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал граф Н. Панин, назвав «припадочными людьми». «Как увидишь его, Троекурова,— говорил местный, дьячок,— страх и ужас! А спина-то сама так и гнется, так и гнется»... Особенно удался Пушкину в *Дубровском* князь Верейский, достойный зять Троекурова. Это — настоящее создание екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Князь Верейский — едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развилась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрачивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский *жил* за морем и, приехав *умирать* в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сельской роскоши, и расцветшей на сельском приволье дочерью Троекурова. Он, иначе, тоньше редижированный Троекуров: его европеизованное варварство из острого и буйного троекуровского переродилось в тихое, меланхолическое, не под гуманизирующим влиянием Монтескье или Вольтера, а просто потому, что тесть привез в деревню из Петербурга мускулы и нервы, чего зять уже не привез из Парижа. Отсюда «непрестанная» скука князя Верейского, которая с его легкой руки стала непременной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский-отец — лицо, любопытное по своей литературной судьбе. Это — любимое некомическое лицо нашей комедии XVIII в., ее Правдин, Стародум или как там еще оно называлось. Но оно никогда не удавалось ей. Это потому, что екатерининская комедия хотела изобразить в нем человека старого петровского покроя, а при Екатерине II такой покрой уже выводился. Пушкин отметил его вскользь, двумя-тремя чертами, и, однако, он вышел у него живее и правдивее, чем в комедии XVIII в. Дубровский-сын — другой полюс века и вместе его отрицание. В нем заметны уже черты мягкого, благородного, романтически протестующего и горько обманутого судьбой александровца, члена Союза благоденствия. Среди образов XVIII в. не мог Пушкин не отметить и *недоросля* и отметил его беспристрастно и правдивее Фонвизина. У последнего Митрофан сбивается в карикатуру, в комический анекдот. В исторической действительности недоросль — не карикатура и не анекдот, а самое простое и вседневное явле-

ние, к тому же не лишенное довольно почтенных качеств. Это самый обыкновенный, нормальный русский дворянин средней руки. Высшее дворянство находило себе приют в гвардии, у которой была своя политическая история в XVIII в., впрочем, более шумная, чем плодотворная. Скромнее была судьба наших Митрофанов. Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII в. Это — пехотные армейские офицеры, и в этом чине они протопали славный путь от Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. Они с русскими солдатами вынесли на своих плечах дорогие лавры Минихов, Румянцевых и Суворовых. Пушкин отметил два вида недоросля или, точнее, два момента его истории: один является в Петре Андреевиче Гринева, невольном приятеле Пугачева, другой — в наивном беллетристе и летописце села Горюхина Иване Петровиче Белкине, уже человеке XIX в., «времен новейших Митрофане». К обоим Пушкин отнесся с сочувствием. Недаром и капитанская дочь М. И. Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину. Историку XVIII в. остается одобрить и сочувствие Пушкина, и вкус Марьи Ивановны.

Такова у Пушкина коллекция художественно-исторических портретов, которые все изображают один и тот же тип в его видоизменениях. Ряд их замыкается современником поэта — Е. Онегиным. Герой особого рода, но, однако, сродни своим предшественникам: и Троекуров, и Верейский, и Митрофанов всех сортов — все они прямые или боковые его предки. Онегин — лицо столько же историческое, сколько поэтическое. Мы все читали сочинения и записки людей, чаявших обновления России после войн за освобождение Европы. Припоминая читанное, мы знаем, чем *были* Онегины после 1815 г. Поэма Пушкина рассказывает, чем *стали* они после 1825 г. Это Чацкие, уставшие говорить и с разбитыми надеждами, а поэтому скучающие. Позже, у Лермонтова, они являются страдающими от скуки на горах Кавказа, как другие в то время страдали, хотя и не от одной скуки, за горами Урала.

Так, у Пушкина находим довольно связную летопись нашего общества в лицах за 100 лет с лишком. Когда эти лица рисовались, масса мемуаров XVIII в. и начала XIX в. лежала под спудом. В наши дни они выходят на свет. Читая их, можно дивиться верности глаза Пушкина. Мы узнаем здесь ближе людей того времени, но эти люди — знакомые уже нам



фигуры. «Вот Гаврила Афанасьевич! — восклицаем мы, перелистывая эти мемуары, — а вот Троекуров, князь Верейский» — и т. д., до Онегина включительно. Пушкин не мемуарист и не историк, но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристом он встречает художника. В этом значение Пушкина для нашей историографии, по крайней мере главное и ближайшее значение.

---

## ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Для чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость — культурный стимул, без которого может обойтись человеческая культура. Национальное самомнение, как и национальное самоуничтожение, — это только суррогаты народного самосознания. Надо добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений.

Самосознание — трудное и медленное дело, венчающее работу человека или народа над самим собой, и достигается различными путями. Праздники в память людей, двинувших или облегчивших эту работу, — минутные остановки, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые годы. Так в пути оглядываются назад, чтобы по выдающимся пунктам сообразить пройденное расстояние и проверить направление.

Великие деятельности — проверочные моменты народной жизни. Каким-то трудноуловимым процессом общения лица с окружающей средой в них собираются мелкие, раздробленные интересы и стремления и действием личного творчества перерабатываются в цельное и крупное дело, которое в одно и то же время и вскрывает запас нажитых обществом сил и средств, и предрекает их дальнейшее развитие. Такие деятельности — и показатели народного роста, и указатели направления его жизни. В них, как в зеркале, мы видим самих себя, сквозь них всматриваемся в собственную душу; они объясняют нам нас самих. Великие исторические могилы тем и памятливы, что оживляют народное самосознание.

На протяжении двух последних столетий нашей истории были две эпохи, решительно важные в движении русского самосознания. Они ознаменованы деятельностью двух лиц, работавших на очень далеких одно от другого поприщах, но тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей был император, другой — поэт. *Полтава* и *Медный всадник* образуют поэтическую близость между ними.

Древняя Русь, целые века изнывая в изнурительной борьбе с восточным варварством, оторванная этой борьбой от живого общения с образованным Западом, из доступного домашнего материала и домашними средствами с трудом сколотила невзрачное, тяжелое, но прочное государство. В ней скрывались богатые материальные средства, которых она не умела найти и разработать, а силы духовные росли кое-как, без надлежащего призора и ухода, не зная сами себя. Петр Великий разглядел те и другие и начал с первых, мощными мозолистыми руками взрыв это, как он говорил, божие благословение, втуне под землю скрывающееся, призвав на помощь техническое знание Запада, и трудным ломаным путем из Москвы через Полтаву, Гангут и Ништадт вдвинул Россию в семью европейских держав и народов. С той минуты Европа была объединена и закончена, впервые стала цельной и сплоченной, Западно-Восточной Европой. Оплакивая смерть своего преобразователя, и Россия впервые почувствовала сквозь слезы свою столь нежданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь. Это было чувство ей непривычное и незнакомое; оно и было первым движением пробуждавшегося народного самосознания. Но силы духовные все еще оставались как бы в забвении, в привычном коснении, да и новая материальная работа, грозно заданная народу, мало помогала их возбуждению. Петр трогал их мимоходом, отдельными толчками, вызывая в лучших умах первые проблески русской политической мысли, а в массе — крики боли, выражавшиеся в заговорах, в протестующих подпольных памфлетах и темных толках про антихриста и близкую кончину мира. Конечно, и они, эти силы, не были совсем безучастны в работе Петра: они сказывались в политической выносливости, с какою народ, несмотря на свое чувство боли и эти протесты, отдавал все, и труд, и достояние, и жизнь, на пользу государства. Но преждевременно оторванный от своего дела, Петр завещал дальнейшим поколениям средств довершить его, оставил своему народу ключ, которым можно было бы разомкнуть сковывавшие его дух цепи, — насажденную им науку.

И ключ понадобился скоро. Один русский писатель недав-

него прошлого хорошо сказал, что Петр своей реформой сделал вызов России, ее гению, и Россия ответила ему.

Но ответ дан был не сразу: и Пушкин исторически подготавливался; между ним и Петром легло три поколения. На призыв, раздавшийся с престола, прежде всего откликнулся человек с самого низа общества, и откликнулся так, что преобразователь из глубины своей петропавловской гробницы был вправе воскликнуть: *ныне отпущаеши*. Холмогорский крестьянский сын, отведав московской славяно-греко-латинской, а потом марбургской немецкой науки, внес первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания. Потом в неширокий еще поток русского просвещения введена была тонкая, но довольно энергичная струйка вроде электрического тока. Петр брал с Запада, что находил пригодным для России в самой его жизни, брал готовое, бытовое, практически испробованное — парики, кафтаны, машины, мастерства, учебники, государственные коллегии. Идеи и чувства, над которыми много нужно работать, чтобы переработать их в нравы, в житейские отношения, занимали его гораздо менее. Он и английский парламент понял и оценил именно с этой практической стороны: на одном заседании в присутствии короля, наслушавшись речей оппозиции, Петр сказал своим: «Весело слушать, когда сыны отечества открыто говорят королю правду; вот чему должно у англичан учиться». Екатерина II поступала иначе: брезгуя как философ исторической действительностью, не желая марать рук не всегда опрятной практикой западноевропейской жизни, она брала оттуда прямо идеалы, последние лучшие слова западноевропейской мысли, которые и на родине-то казались светлыми и несбыточными мечтами. Уровень русской жизни не поднялся, но Екатерина добилась некоторого подъема русских умов. С той поры над нашей доморощенной действительностью стала парить идея, чуждая, заимствованная идея, но все же служившая путеводной звездой для тех, кто из родной мглы искал выхода к вифлеемскому свету.

Я не скажу фразы, если скажу, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох — Петра I и Екатерины II. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения. Что сказалось в этой поэзии? До сих пор она не перестает изумлять разнообразием своих мотивов: здесь и детская сказочка и детская песенка про птичку божью, и знобящий душу анализ скупого рыцарского сердца перед раскрытыми сундуками с золотом, и *Брожу ли*

я вдоль улиц шумных и Безумных лет угасшее веселье, и разгулье удалое, и злые речи Мефистофеля, священный ужас поэта, внимающего кроткому поэтическому укору московского митрополита, и озаренная теплым светом холодная пустыня скучающей души великосветского бродяги, и «горний ангелов полет и гад морских подземный ход и дольней лозы прозябанье».

Пушкин не был поэтом какого-либо одинокого чувства или настроения, даже целого порядка однородных чувств и настроений: пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии. Недаром муза еще в младенчестве вручила ему семиствольную цевницу, способную на семь ладов петь и «гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов». Перечитывая его лирические пьесы в хронологическом порядке, испытываешь какую-то ободряющую поэтическую качку от этой быстрой смены несходных чувств и образов, где летучей очередью в стройном разнозвучии проносятся и скучно-грустные впечатления зимней дороги под звуки длинной разгульно-тоскливой песни ямщика, и исполненное светлых надежд послание в Сибирь к декабрьским заточникам, и шаловливый альбомный комплимент, и высокое призвание поэта в величавом образе библейского пророка, а рядом в *Поэте* так жизненно-просто объяснены и самые эти кажущиеся столь своеобразными переходы от низменной сцены малодушных состояний к вдохновенным подъемам свыше призванного духа. Это необъятное протяжение поэтического голоса, дававшее ему силу «владеть и смехом и слезами», еще расширялось необычайной восприимчивостью и гибкостью поэтического понимания, умением проникать в самые разнообразные людские положения, вживаться в чужую душу, всевозможные мирозерцания и настроения, в дух самых отдаленных друг от друга веков и самых несродных один другому народов, воспроизводить и коран и Анакреона, и Шенье и Парни, и Байрона и Данте, и рыцарские времена и песни западных славян, и волшебные сказания старинной русской былины и темную эпоху Бориса Годунова, и не остывшие еще предания пугачевской и помещицкой старины. И из этого плавного и мирного потока впечатлений складывается в воображении образ поэта, который не живет, а горит, постепенно разгораясь ровным и сильным пламенем, сжигая нечистую примесь возраста и времени и в себе самом переплавляя в образы и звуки разнообразие движения человеческой души, великие и малые явления человеческой жизни.

Да в поэзии Пушкина и нет ни великого, ни малого: все

уравнивается, становясь прекрасным, и стройно укладывается в цельное мирозерцание, в бодрое настроение. Простенький вид и величественная картина природы, скромное житейское положение и трагический момент, самое незатейливое ежедневное чувство и редкий порыв человеческого духа — все это выходит у Пушкина реально-точно и жизненно-просто и все освещено каким-то внутренним светом, мягким и теплым. Источник этого света — особый взгляд на жизнь, вечно бодрый, светлый и примирительный, умеющий разглядеть затерявшиеся в житейской сумятице едва тлеющие искры добра и порядка и ими осветить темный смысл людских зол и недоразумений. Как сложился, откуда внушен этот взгляд? Конечно, прежде всего усилиями счастливо одаренного личного духа, стремящегося проникнуть в затемняемый житейскими противоречиями смысл жизни. Вспомните, как Пушкин ночью, в часы бессонницы, тревожимый «жизни мышью беготней», вслушиваясь в ее скучный шепот, силился понять ее смысл и учил ее темный язык. Но неуловимы источники и способы поэтического понимания, умеющего и вокруг себя подметить незаметное для простого глаза, рассеянные там и сям проблески разума жизни и собрать их в светоч, способный осветить темные пути и цели нашего существования. Тот же взгляд просвечивает из глубины русского народного мышления и чувствования, в наших песнях и пословицах, в ходе истории нашего народа, в основе всего его бытового склада. Заглянув пристально в самого себя, каждый из нас найдет его и в основе своего личного настроения, не мимолетного, случайно набегавшего, а того постоянного настроения, которым определяются направление и темп жизни каждого из нас. Вникните в него еще поглубже, разберите мотивы поддерживаемого им настроения, и вы увидите, что они даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общечеловеческой работы. Да разве это чье-либо национальное дело или монополия каких-либо избранных поколений, а не всегдашняя и общая задача человеческого духа — внести нравственный порядок в анархию людских отношений, как некогда творческое слово вызвало зримый нами космос из мирового хаоса?

Поэзия Пушкина — русский народный отзвук этой общечеловеческой работы. Общечеловеческим ее содержанием и направлением измеряется и ее значение для нашего национального самосознания. Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и биб-

лейским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувствовать, какие нетронутые силы таятся в глубине выросившего ее народного духа, ожидая своего призыва на общечеловеческое дело. Вместе с тем она приподняла настроение, повысила тон жизни русского читающего общества, дав столько новой изящной пищи сердцу и воображению, необъятно расширила наш поэтический кругозор, обогатив наш духовный обиход таким запасом отовсюду собранных чувств, впечатлений и образов, разновременных и разнородных картин и воспоминаний, облеченных в небывалые по совершенству литературные формы. Русский читатель более прежнего стал любить свой язык, ценить свою словесность, чтить своего писателя, наконец, уважать самого себя и свое отечество; за многое привычное в русской жизни ему стало теперь стыдно, иное стало казаться нетерпимым, другое обязательным, если не по чувству нравственного долга, то хотя из приличия. Литература перестала быть развлечением для скучающих, стала серьезным, ответственным делом, убежищем и органом мыслящих людей. Но что еще важнее для нашего самосознания: если через поэзию Пушкина мы стали лучше понимать чужое и серьезнее смотреть на свое, то через нее же мы сами стали понятнее и себе самим и чужим. В тоне и настроении этой поэзии, в свойстве и сочетании основных мотивов, ее вдохновляющих, во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его миросозерцания впервые обозначился духовный облик русского человека. В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел народность писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни и отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, с трезвым и бодрым взглядом на жизнь, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на все человеческое, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный.

В *Медном всаднике*, помните, есть два стиха с вопросами, обращенными к гиганту, который «с простертою рукою сидит на бронзовом коне»:

Какая дума на челе?  
Какая сила в нем сокрыта?

Сто лет спустя после рождения Пушкина мы можем ответить на эти вопросы. Дума на челе,— разумеется, о будущем России, а сокрытая в нем сила сказалась в том, что он овладел народной массой, похожей на ту бесформенную скалу, на которой остановился его бронзовый конь, и державно простертою рукою начал над ней свою преобразовательную работу. Та же сила сказалась еще в том, что русский поэт, ставший возможным по мановению той же простертой руки, сквозь окружавшее его общество, о котором я ради памятного дня ничего не хочу сказать, кроме того, что ему, право, было бы не грешно и не трудно быть немного получше,— сквозь это общество первый прозрел в народной массе тот облик народа, который и отпечатлел в своей поэзии. Этим он указал задачу и дальнейшим поколениям: точно запечатлев в своем самосознании образ своего народа, провиденный поэтом, мы и наши потомки обязаны отделять от своего народного существа все лишнее, как случайный нарост, пока не предстанет перед миром и русский народ с тем обликом, который провиден поэтом. Тогда и исполнится то, о чем некогда мечтал Пушкин вместе с Мицкевичем, тогда еще «мирным, благо-склонным»:

...о временах грядущих,  
Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся...

В этой мирной семье народов под знаменем Петра Великого и займет свое место мирный русский народ.

---



## ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

День памяти Пушк<sup>и</sup>на — день воспоминаний. Я начну с воспоминаний о себе самом.

Я родился немного лет спустя по смерти Пушкина. Но, пока я и мои сверстники, получившие одинаковое со мною воспитание, пока мы были юны, Пушкин не переставал быть нашим современником. Мы не спрашивали, жив ли Пушкин. Мы знали, что он живет и будет жить, и это было для нас так же ясно и просто, как то, что небо синее и будет синеть. Когда нам говорили, что он умер, что его давно уж нет, в этих словах нам чуялось что-то нескладное, похожее на неудачную риторическую фигуру.

В те годы мы читали и перечитывали *Евгения Онегина*. Теперь, после стольких лет и стольких житейских впечатлений, свеявших ощущение молодости, трудно припомнить и еще труднее рассказать, чем был для нас этот роман лет 30 назад. Одно можно сказать с уверенностью, что мы отнеслись к нему, как не относились современники Пушкина и как едва ли относится к нему молодое поколение, несколько лет назад теснившееся при открытии московского памятника Пушкину. При жизни Пушкина *Евгений Онегин* был предметом критики или удивления как крупная литературная новость. Теперь он просто предмет изучения как историко-литературный памятник. Для нас он не был ни тем, ни другим: мы не разбирали его, как разбирали тогда новые повести Тургенева, но мы и не комментировали его как *Слово о полку Игореве* или *Недоросля*. Он не был для нас только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление; это было событие нашей молодости, наша биографическая

черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь. При первом чтении мы беззащитно отдавались обаянию стиха, описаний природы, задушевности лирических отступлений, любовались подробностями, составлявшими декорации драмы, разыгранной в романе, не обращая особенного внимания на самую драму. Потом, перечитывая роман, мы стали вдумываться и в эту драму, в ее несложную фабулу и трагическую развязку, задавать себе вопросы и из ответов на них извлекать житейские правила. Мы горько упрекали Онегина, зачем он убил Ленского, хотя не вполне понимали, из-за чего Ленский вызвал Онегина. Каждый из нас давал себе слово не отвергать так холодно любви девушки, которая его так полюбит, как Татьяна любила Онегина, и особенно если напишет ему такое же хорошее письмо. Читая Онегина, мы впервые учились наблюдать и понимать житейские явления, формулировать свои неясные чувства, разбираться в беспорядочных порывах и стремлениях. Это был для нас первый житейский учебник, который мы робкою рукой начинали листовать, доучивая свои школьные учебники; он послужил нам «дрожащим гибельным мостком», по которому мы переходили через кипучий темный поток, отделявший наши школьные уроки от первых житейских опытов. Может быть, такое отношение к роману было педагогическим недосмотром наших воспитателей или нашим эстетическим пороком; может быть, это было только преждевременным и излишним напряжением эстетического чувства, предохранившим нас от многих действительных пороков. Я этого не знаю; я только отмечаю факт, не ценя его, не произнося приговора над своею молодостью. Судите вы и, если угодно, осуждайте за это нас или наших воспитателей. А факт тот, что после 1837 г. воспиталось поколение, которое уже не застало Пушкина в живых и на нравственную физиономию которого его роман более, чем другие его произведения, положил особую немножко сентиментальную складку. Было ли это нашим несчастьем или даром, незаслуженно нам доставшимся, на этот вопрос можно отвечать и так и этак, но в том и другом случае будет виновата случайность нашего рождения. Людям, родившимся годами 10—15 раньше нас, приходилось читать этот роман среди немолкнувших еще споров о Пушкине. Молодежь, которая принималась за *Онегина* немного позднее нас, читала его под действием иных, нелитературных веяний, которые были принесены новым течением, обнаружившимся в нашем обществе с половины 1850-х годов. Мы попали, так сказать, в литературное затишье, начали читать *Онегина*, когда о Пушкине

вспоминали, но уже не спорили, а новые влияния еще не успели донестись до школьных скамеек, на которых мы сидели.

Все это я счел не лишним припомнить и некоторым из присутствующих напомнить по поводу годовщины смерти Пушкина. Ведь мы собрались, чтоб оглянуться на полстолетие, протекшее с того времени, и вспомнить, чем был для нас поэт в это полстолетие. Жизнь поэта — только первая часть его биографии; другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Некто из людей, начавших сознавать себя раньше, чем многие и многие из нас начали дышать, и решился занести свою строчку в эту посмертную часть, отважился выступить из редущего уже ряда своих сверстников, чтобы сказать, чем был для него и для них Пушкин со своим романом.

Помню еще, что из действующих лиц романа всего менее задумывались мы в первое время над его героем. Мы не задавали себе вопроса, кто он, хороший или дурной человек, дельный или пустой малый. Он оставался для нас на каком-то туманном возвышении, с которого мы не сводили его в ряды простых людей, чтобы разглядеть, благовоспитанный ли он человек, удобный ли товарищ. Мы едва ли любили его, а наши сверстницы, наверное, не влюблялись в него, как влюбилась Татьяна. Но и мы и они любовались им; он оставался для нас поэтическим образом, в котором нам нравились самые недостатки, как становятся милы отдельные некрасивые черты на милом лице. Еще менее приходило нам в голову доискиваться, откуда и как попал он в русское общество. Этот «чужак печальный и опасный» проходил в нашем воображении приятным и таинственным незнакомцем, которого мы не догадывались спросить об адресе. Мы не настолько знали тогдашнее общество, чтоб угадать, на кого он похож. Притом мы так мало задумывались над отношением поэтического творчества к действительности, что нам нелегко было растолковать самый смысл вопроса, что это такое: поэтическая ли греза, переложенная в великолепные стихи, или портрет, срисованный с живого человека. Мы видели, что это несовременная нам быль: вокруг себя мы не замечали и не предполагали ничего подобного. Но мы чувствовали, что это и не сказка, что герои этого романа существовали на Руси где-то и когда-то и даже в очень близкое к нам время.

Не успели миновать наши школьные годы, мы только что затвердили *Онегина*, как на нас легли два новые литературные впечатления, и такие глубокие, каких не оставляли в нас дальнейшие произведения русской литературы. Эти впечат-

ления впервые и направили наши мысли на вопрос, что такое *Онегин*. Мы прочитали *Дворянское гнездо* и *Обломова*. Вы, может быть, с удивлением спросите: что общего между этими пьесами, кроме таланта? Я не помню, что говорила тогда литературная критика об этих произведениях, и не могу угадать, что думали и думают, читая их, молодые люди, здесь присутствующие. Но нам они показались двумя частями одной книги об умирающих. Обе пьесы — похоронные песни: в одной отпевался известный житейский порядок, в другой — общественный тип. С Лизой Калитиной, уходившей в монастырь, отрекались от мира чувства и отношения известной дворянской среды, жертвой которых была отшельница, а в лице Обломова, кашляя и кашляя, лез умирать на печку последний наиболее беспомощный питомец и представитель этих же чувств и отношений. В обоих произведениях, совсем не как в *Евгении Онегине*, наше внимание приковали к себе гораздо более главные лица, чем их драматические положения. Мы спрашивали себя, почему эти лица, способные внести много добра в общество, не ужились в нем; нам было прискорбно чувствовать, что это лица исчезающие, что мы уже не встретим их двойников. Мы вспоминали своего старого незнакомца Онегина, и нам почему-то казалось, что и он, лицо менее приятное и менее обещавшее, принадлежит к тому же порядку явлений. Это сходство возбуждало в нас недоумение. После уже, слушая, читая и изучая, мы узнали, что наш век — время ускоренной смены разнохарактерных, совсем не похожих друг на друга типов. Тогда, сопоставляя названные произведения с *Евгением Онегиным*, мы начали внимательнее разбирать его. Это не была критика романа. У нас по-прежнему не поднималась на него критическая рука; он не ветшал для нас, не отставал от нас, а шел вровень с нами, или, лучше сказать, время бесследно шло мимо него, как оно идет мимо нестареющих античных статуй. Мы разбирали не роман, а только его героя, и с удивлением заметили, что это вовсе не герой своего времени и сам поэт не думал изобразить его таким. Он был чужой для общества, в котором ему пришлось вращаться, и все у него выходило как-то нескладно, не вовремя и некстати. «Забав и роскоши дитя» и сын промотавшегося отца, 18-летний философ с охлажденным умом и угасшим сердцем, он начал жить, т. е. жечь жизнь, когда следовало учиться; принимался учиться, когда другие начинали действовать; устал, прежде чем принялся за работу; суетливо бездельничал в столице, лениво бездельничал и в деревне; из чванства не умел влюбиться, как это было нужно, из чванства же поспешил

влюбиться, когда это стало преступно; мимоходом, без цели и даже без злости убил своего приятеля; без цели поездил по России; от делать нечего вернулся в столицу донашивать истощенные разнообразным бездельем силы. И здесь, наконец, сам поэт, не кончив повести, бросил его на одной из его житейских глупостей, недоумевая, как поступить дальше с таким бестолковым существованием. Хорошие люди в деревенской глуши смиренно сидели по местам, досиживая или только еще насиживая свои гнезда; налетел праздный пришелец из столицы, возмутил их покой, сбил их с гнезд и потом с отвращением и досадой на самого себя отвернулся от того, что наделал. Словом, из всех действующих лиц романа самое лишнее — это его герой. Тогда мы начали задумываться над вопросом, который поставил поэт не то от себя, не то от лица Татьяны:

Что ж он, ужели подражанье,  
Ничтожный призрак иль еще  
Москвич в Гарольдовом плаще,  
Чужих причуд истолкованье,  
Слов модных полный лексикон...

Мы начали изучать его. Метод изучения был нам подсказан самой Татьяной. Мы старались пробраться украдкой в кабинеты людей того времени, разобрать книги, которые они читали и которые читали их отцы, с оставленными на полях отметками крестами и вопросительными крючками. Изучая так Онегина, мы все более убеждались, что это — очень любопытное явление и прежде всего явление вымирающее. Припомните, что он «наследник всех своих родных», а такой наследник обыкновенно последний в роде. У него есть и черты подражания в манерах, и Гарольдов плащ на плечах, и полный лексикон модных слов на языке, но все это не существенные черты, а накладные прикрасы, белила и румяна, которыми прикрывались и замазывались значки беспотомственной смерти. Далее мы увидели, что это не столько тип, сколько гримаса, не столько характер, сколько поза, и притом чрезвычайно неловкая и фальшивая, созданная целым рядом предшествовавших поз, все таких же неловких и фальшивых. Да, Онегин не был печальною случайностью, нечаянною ошибкой: у него была своя генеалогия, свои предки, которые наследственно из рода в род передавали приобретаемые ими умственные и нравственные вывихи и искривления. Если вы не боитесь скуки, если печальная годовщина, нас собравшая, располагает вас к терпеливым воспоминаниям о нашем прошлом,

вы позволите неумелою рукой перелистывать перед вами эту родословную Онегина.

Всего усерднее прошу вас об одном: преемственно сменявшиеся положения, которые я отмечу, не принимайте за моменты нашей жизни, соответствующие известным поколениям. Нет, я разумею более исключительные явления. Это были неестественные позы, нервные, судорожные жесты, вызывавшиеся местными неловкостями общих положений. Эти неловкости чувствовались далеко не всеми, но жесты и мины тех, кто их чувствовал, были всем заметны, бросались всем в глаза, запоминались надолго, становились предметом художественного воспроизведения. Люди, которые испытывали эти неловкости, не были какие-либо особые люди, были как и все, но их физиономии и манеры не были похожи на общепринятые. Это были не герои времени, а только сильно подчеркнутые отдельные нумера, стоявшие в ряду других, общие места, напечатанные курсивом. Так как масса современников, усевшихся более или менее удобно, редко догадывалась о причине этих ненормальностей и считала их капризами отдельных лиц, не хотевших сидеть, как сидели все, то эти несчастные жертвы неудобных позиций слыли за чудаков, даже иногда «печальных» и «опасных». Между тем жизнь текла своим чередом; среда, из которой выделялись эти чудаки, сидела прямо и спокойно, как ее усаживала история. Поэтому я не введу вас в недоумение, когда буду говорить об отце, дяде и прадеде Онегина. Онегин — образ, в котором художественно воспроизведена местная неловкость одного из положений русского общества. Это не общий или господствующий тип времени, а типическое исключение. Разумеется, у такого образа могут быть только историко-генетические, а не генеалогические предки.

Явления, которые я отмечу, были все однородного сословного происхождения: предки Онегина все принадлежали к старинному русскому дворянству. Неловкости общих положений, заставлявшие некоторых людей принимать ненормальные позы и необычную жестикуляцию, обыкновенно происходили от недосмотров и увлечений, какие допускались при постановке нового образования, водворявшегося у нас приблизительно с половины XVII в. Это новое образование шло к нам с Запада, как прежнее пришло из Византии. Первым восприимчиком и проводником этого нового образования стало дворянство, как носителем и проводником старого было духовенство. Поспешность и нетерпеливость, с какими вводилось это образование, и были причинами некоторых неловкостей в преемственно сменявшихся общих положениях сословия. Но, по-

вторяю, это были местные неловкости, и ненормальные явления, ими вызванные, не могут войти в общую историю этого почтенного и много послужившего отечеству сословия.

Прадеда нашего героя надобно искать во второй половине XVII в., около конца Алексеева царствования, в том промежуточном слое дворянских фамилий, который вечно колебался между столичною знатью и провинциальным рядовым дворянством. Отец этого прадеда, какой-нибудь Нелюб-Злобин, сын такой-то, был еще нетронутый служака вполне старого покроя: он из года в год ходил в походы посторожить какую-нибудь границу отечества с пятком вооруженных холопов, по временам получал неважные воеводства, чтоб умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы, а на частных деловых его бумагах вместо его подписи ставилась пометка, что отец его духовный, поп Иван, в его, Нелюбово, место руку приложил, затем что он, Нелюб, грамоте не умеет. Его сына ждала менее торная дорога. За бойкость его с 15 лет зачислили в солдатский полк нового, иноземного строя под команду немецких офицеров, за понятливость взяли в подьячие, за любознательность отдали в Спасский монастырь, на Никольской, в Москве, к ученому киевскому старцу «учиться по латиням». С кислую гримасой принимался он за «грамотичное ученье» и то твердил по ходячим в то время словарькам исковерканные и вавилонски перемешанные греческие и польско-латинские вокабулы, написанные русскими литератами: ликос — волк, луппа — волчица, спириды — лапти, офира — молебен, препосит — боярин, нектар — пиво; то в ужасе от мысли, что все это ляхо-латинская ересь, неистово рвал свою грамматику и бежал к туземным благочестивым старцам каяться в соблазне, но, успокоенный батогамы, снова принимался твердить: анагр — дикий осел, претор — губная изба, фулцгур — молния, скандализи ме — соблажняют мя. Киевский старец заставлял молодого подьячего читать переводные космографии, внушал ему католические мнения о пресуществлении св. даров и об исхождении св. духа, обучал его польской речи и искусству слагать хитрые вирши. Набожный выученик, успешно пробегая служебный путь, старался сделать благочестивое употребление из усвоенного иноземного искусства и на досуге перелагал в неуклюжие вирши акафист пресвятой богородице или церковные песнопения о страстях Христовых. Но время шло, разгоралась петровская реформа, и чиновного латиниста с его виршами и всею грамматичною мудростью назначили комиссаром для приема и отправки в армию солдатских сапог. Тут-то, разглядывая сапожные швы и подошвы

и помня государеву дубинку, он впервые почувствовал себя неловко со своим грузом киевской учености и со вздохом спрашивал: зачем этот киевский нехай, учивший меня строчить вирши, не показал мне, как шьют кожаные солдатские спириды?

Дети этого меланхолического комиссара уже подпадали под действие закона 1714 г. об обязательном обучении дворянства, учились в цифирной школе местного архиерейского дома, женились, отцами семейств являлись на царские смотры дворянских недорослей и по разбору компаниями, покидая жен, отправлялись за море для науки под наблюдением комиссара с инструкцией, в которой за нерадение «рукою самого монарха писан престрашный гнев и безо всякие пощады превеликое бедство». Эти компании рассеивались по всем важным приморским городам Западной Европы: Амстердаму, Венеции, Марсели, Кадиксу и пр. В «заграничных академиях» их обучали математике, «экипажеству» и механике, наукам «филозофским и дохтурским», но особенно «мореходским и сухопутским», навигации, инженерству, артиллерии, «черчению мачтапов», боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить. За границей русские навигаторы бегали с учебной службы, спасаясь в монастыри на Афонской горе, должны были посещать австерии и «редуты», т. е. игорные дома, дрались там и убивали один другого, а к родным в Россию слали письма, жалуясь на нищету и разлуку, на то, что наука определена им самая премудрая и хотя бы пришлось им все дни живота своего на тех науках себя трудить, а все-таки им не выучиться; что они на разные науки ходят, да без дела сидят, потому что языков иноземных не разумеют и «незнамо учиться языка, незнамо — науки». Навигаторы молили родных походатайствовать за них у кабинет-секретаря Макарова или у самого генерал-адмирала Апраксина взять их к Москве и определить хотя бы последними рядовыми солдатами или хотя бы в тех же европейских краях быть, но обучаться какой-нибудь сухопутной, только бы не мореходству. В числе этих навигаторов оказался и даже не один прямой наследник неудачи нашего сапожного комиссара, его собственный сын или чужой — это все равно. Поступив солдатом в гвардейский Преображенский полк, он учился в Военной академии в Петербурге и во время второй беременности жены, в конце царствования преобразователя, был послан в Голландию, забежал перед отъездом к доброй императрице, которая «на всякую нужду» дала ему 5 червонных, около 100 руб. на наши деньги; в Амстердаме учился лучше многих



и преимущественно дельным наукам, которые наиболее ценил преобразователь, даже рапортовал местному русскому послу, что отказывается от шпажного и танцевального ученья, «по-неже оно к службе его величества угодно быть не может»; вернувшись в Петербург, успешно сдал экзамен членам адмиралтейской коллегии, определился к делам, служил усердно, чая воздаяния, и тут впервые заметил, что времена переменялись. Великого императора уже не было в живых. Навигацкие науки уступили место иным вкусам. В Петербурге высшее общество дорого платило немцу за то, что «в барабаны бил и на голове стоял», и наш навигатор, попав в общество своих сверстников, очутился между двух огней. Одни, после Петра заболевшие тоской по родной старине, встретили его насмешками и ругательствами за «европейский обычай», привезенный им из Голландии; другие, одержимые вождедением к новизне, преследовали его кличками неуча, деревенского мужика за недостаточный запас европейского обычая, им привезенный, за незнание модного катехизиса, которым вменялось благородному шляхтичу в обязанность то самое шпажное и танцевальное искусство, которое он считал бесполезным; предписывалось намерения свои скрывать, губ рукой не утирать, в сапогах не танцевать, встречному знакомому приятным образом шляпу снимать за три шага, ни ближе, ни дальше, и глядеть на него весело и приятно, с благообразным постоянством. К тому же ближайшие сотрудники Петра скоро перегрызлись. На их места явились неведомые люди из Митавы и Германии, алчные, подозрительные и жестокие. От них страдал и наш навигатор. Раз на святках он отказался наряжаться и вымазаться сажей. За это его на льду Невы раздели донага, нарядили чертом и в очень прохладном костюме заставили постоять на часах несколько часов; он захворал горячкой и чуть не умер. В другой раз за неосторожное слово про Бирона его послали в Тайную канцелярию к Ушакову, который его пытал, бил кнутом, вывертывал ему лопатки, гладил по спине горячим утюгом, забивал под ногти раскаленные иглы и калеккой отпускал в деревню, где он при малейшем промахе дворовых выходил из себя и, топоча ногами, бесконечно повторял: «Ах вы растрепоганые, растрекоаянные, непытанные, немученые и ненаказанные!» Впрочем, он был добрый барин, редко наказывал своих крепостных, читал вслух себе самому Квинта Курция *Жизнь Александра Македонского* в подлиннике, занимался астрономией, водил комнатную прислугу в красных ливреях и напудренных волосах; страдая бессонницей, с гусиным крылом в руке сам изгонял по ночам сатану из

своего дома, окуривая ладаном и кропя святою водою нечистые места, где он мог приютиться, пел и читал в церкви на клиросе, дома ежедневно держал монашеское келейное правило, но дружно жил с женой, которая подарила ему 18 человек детей, и, наконец, на 86-м году умер от апоплексического удара. Однако привезенные им из Голландии математические и навигационные познания остались без употребления. К русской действительности этот ученый русский служака стал как-то криво, нечаянно и больно ушибся головой об ее угол и без особенной пользы, хотя и без вреда, всю остальную жизнь коптил небо, созерцая звезды.

Отцы Онегиных начинали свое воспитание при императрице Елизавете, кончали его при Екатерине II и доживали свой век при Александре I. Их детство протекало под впечатлениями веселой светской жизни, получившей «свое основание» под покровом доброй и умной дочери Петра. То было время отдыха от ужасов бироновщины; тогда начал развиваться в обществе «тонкий вкус во всем и самая нежная любовь, подкрепляемая нежными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получила первое над молодыми людьми свое господство». Молодые дворяне, хорошо пристроенные в столице, 5—6 лет записанные в гвардейский полк рядовыми, лет 15 производились в офицеры, допускались на французские комедии, дважды в неделю дававшиеся на придворном театре, бывали на детских балах, где в присутствии императрицы танцевало пар по 50 детей, строго выдерживая все attitudes взрослых господ и госпож, участвовали в вельможеских бал-маскарадах, длившихся по 48 часов сряду, приветствовали русских барышень, которые привозили из Лондона невиданные в Петербурге английские контрадансы и за то на много дней становились героинями столичного света. Из сферы веселых лиц и речей они нечувствительно переносились в сферу принятых книг и идей. Закон 1714 г. не прошел бесследно. Правда, теперь уже не требовалась петровская военно-техническая выучка, любимая навигационная наука преобразователя упала при его дочери, не любившей моря, кадетов шляхетского корпуса на целые недели отрывали от учебных занятий, заставляя их разучивать и играть новую трагедию Сумарокова. Но обязательное обучение, не давая значительного запаса научных сведений, приучало к процессу выучки, делало ее привычною сословною повинностью, а потом светским приличием и даже возбуждало некоторый аппетит к знанию. Дворянин редко учился с охотой тому, что требовалось по узаконенной программе, но он привыкал учиться чему-нибудь,

хотя обыкновенно выучивался не тому, что требовалось по программе. К 6-летнему гвардейцу выписывали сперва из Берлина m-me Ruinau, потом из Парижа m-lle Berger подороже, наконец m-r Raoult еще дороже, потому что он не только мог преподавать le francais, «но и в том, что называется belles lettres, был гораздо сведущ». Отец выписывал для сына из Голландии, приюта французских мыслителей, библиотеку assez bien choisie из лучших французских поэтов и историков, и лет с 12 гвардейский сержант уже осваивался с Расином, Корнелем, Буало и даже с самим Вольтером. В царствование Екатерины он подходил к самым источникам света. По желанию самой императрицы он посещал фернейский скит Вольтера с толпою других молодых офицеров, «жадничавших» видеть философа и слушать его разговоры, не миновал и «ада молодых людей», как тогда звали Париж питомцы петровской школы, бывал на ужинах, где два философа, три dames d'esprit, один еврей, один капеллан с православным секретарем русского посла и с швейцарским капитаном-кальвинистом часа по четыре сыпали bons mots, рассказывая анекдоты, рассуждая о бессмертии души, о предрассудках, о всевозможных вопросах науки, морали и эстетики. По возвращении в Россию, покинув службу в гвардии, он занял административную должность, но не мог привыкнуть к делам, переехал в свою губернию; задумав служить по выборам, был выбран в дворянские заседатели совестного суда, но соскучился, дожидаясь дел, которых в три года поступило ровно три и не было решено ни одного, пробовал заняться сельским хозяйством, но только сбил с толку управляющего и старосту, хотел по крайней мере пожить весело, окружил себя шутами и шутихами, составил себе выездную свиту из арабов, башкир и калмыков, потчевал гостей частыми обедами, балами и псовою охотой с дворовою музыкой и цыганскою пляской и, наконец, устав и заглянув в долговую книгу, махнул на все рукой и окончательно переселился в деревню доканчивать давно начатую и сложную работу изолирования себя от русской действительности. Здесь он вечно пасмурным брюзгой уединился в своем кабинете:

С печальной думою в очах,  
С французской книжкою в руках.

С этой книжкой в руках где-нибудь в глуши Тульской или Пензенской губернии он представлял собою очень странное явление. Увоенные им манеры, привычки, симпатии, понятия, самый язык — все было чужое, привозное, все влекло его в за-

границную даль, а дома у него не было живой органической связи с окружающим, не было никакого житейского дела, которое он считал бы серьезным. Он принадлежал к сословию, которое, держа в своих руках огромное количество главных производительных сил страны, земли и крестьянского труда, было могущественным рычагом народного хозяйства; он входил в состав местной сословной корпорации, которой предоставлено было широкое участие в местном управлении. Но свое сельское хозяйство он отдавал в руки крепостного приказчика или наемного управляющего немца, а о делах местного управления не считал нужным и думать; ведь на то есть выборные предводители и исправники. Так ни сочувствия, ни интересы, ни воспоминания детства, ни даже сознание долга не привязывали его к среде, его окружавшей. С детства, как только он стал себя помнить, он дышал атмосферою, пропитанною развлечением, из которой обаяниями забавы и приличия был выкурен самый запах труда и долга. Всю жизнь помышляя о «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом. В этом положении культурного межеумка, исторической ненужности было много трагизма, и мы готовы жалеть о нем, предполагая, что ему самому подчас становилось невыразимо тяжело чувствовать себя в таком положении. Некоторые действительно не выносили его и пускали себе пулю в лоб, но это были редкие люди, которым не удавалось вполне уединить себя от действительности, которые не умели заживо бальзамировать себя, чтобы защитить свое мертворожденное миросозерцание от разрушительного действия времени и свежего воздуха. Большинству людей этого рода удавалась операция такого бальзамирования довольно легко, без мучительных кризисов, без потуг тоски и даже скуки. Заурядный екатерининский вольнодумец оставался добр и весел, не скучал и не тосковал. Тосковать будет его сын при Александре I в лице Чацкого, а скучать — его внук в лице Печорина при Николае I. Когда наступала пора серьезно подумать об окружающем, они начинали размышлять о нем на чужом языке, переводя туземные русские понятия на иностранные речения, с оговоркой, что хоть это не то же самое, но похоже на то, нечто в том же роде. Когда все русские понятия с такою оговоркой и с большею или меньшею филологическою удачей были переложены на иностранные речения, в голове переводчика получался круг представлений, не соответствовавших

ни русским, ни иностранным явлениям. Русский мыслитель не только не достигал понимания родной действительности, но и терял самую способность понимать ее. Ни за что не мог он взглянуть прямо и просто, никакого житейского явления не умел ни назвать его настоящим именем, ни представить его в настоящем виде и не умел представить его, как оно есть, именно потому, что не умел назвать его, как следует. В сумме таких представлений русский житейский порядок являлся такою безотрадною бессмыслицей, набором таких вопиющих нелепостей, что наиболее впечатлительные из людей этого рода, желавшие поработать для своего отечества, проникались «отвращением к нашей русской жизни», их собственное будущее становилось им противно по своей бесцельности, и они предпочитали «бытию переход в ничто». Но это были редкие случаи. Большинство, более рассудительное и менее нервное, умело обходить этот критический момент и от непонимания переходило прямо к равнодушию. Очутившись при помощи своеобразного метода изучения родной земли между двумя житейскими порядками, в каком-то пустом пространстве, где нет истории, русский мыслитель удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы с одной стороны, умственные и эстетические подаяния — с другой. Поселившись в этой уютной пустыне, природный сын России, покинутый Франции, а в действительности человек без отечества, как называли его жившие тогда в России французы, он холодно и просто решал, что порядок в России есть *assez immoral*, потому что в ней *il n'y a presque aucune opinion publique*, и думал, что этого вполне достаточно, чтоб игнорировать все, что делалось в России. Так незнание вело к равнодушию, а равнодушие приводило к пренебрежению. Чтоб оправдать это пренебрежение к отечеству, он загримировывался миной мирового бесстрастия, мыслил себя гражданином вселенной, космополитизируя таким образом очень и очень доморощенный продукт, каким он был на самом деле. Так, он создавал себе «своевольное и приятное существование». Вольные мысли, которые он черпал из привозных книг, рассеивали его житейские огорчения, сообщали блеск его уму, украшали его речь, даже порой потрясали его нервы: космополитический индифферентизм не мешал литературной впечатлительности, не подавлял воспитанной чувствительными романсами времен Сумарокова наклонности к отвлеченным, беспредметным восторгам. Быть может, никогда культурный русский человек не плакал так легко

и охотно даже от хороших слов, как во второй половине прошлого века,— плакал, и только. Эстетические восторги и стереотипные философские слезы были только патологическими развлечениями, нервным моционом, но не отражались на воле, не становились нравственными мотивами. Вольно-мыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русской крепостною девичьей и, оставаясь гуманистом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом. Культурно-психологический курьез, он ждет руки художника, но как передаточный пункт идей и преданий, как посредник «двух веков», готовых поссориться, он занимает видное место и в истории нашего общества.

Дети людей этого рода воспитывались в их преданиях, но не под их влиянием. Они наследовали многие из идей, убеждений, взглядов, привычек своих отцов, но не наследовали их вкусов, чувств и отношений к окружающему и не наследовали потому, что выросли и начали действовать под другими впечатлениями. К тому времени, когда они начали учиться, в воспитании знатного русского юношества произошел решительный перелом. Со времени французской революции в Россию наехало множество французских эмигрантов, кавалеров, графов, маркизов, аббатов, роялистов и католиков, даже иезуитов, которые, принявшись за воспитание молодых русских дворян, начали вытеснять гувернеров философского чекана, демократов, республиканцев и атеистов, дотоле господствовавших в знатных русских домах. Новые педагоги принесли с собою свою особую атмосферу, новые чувства и интересы. Они поворотили мысль воспитываемого ими юношества к предметам, которыми пренебрегали их вольнодумные предшественники, к вопросам веры и нравственности; еще важнее было то, что они не ограничивались украшением и развитием ума своих питомцев, но влияли и на их волю, пробуждали позыв к делу, к согласованию поступков с понятиями. Они не только поддерживали, но и усилили в питомцах интерес к политическим вопросам, восставая против демократических понятий, какие распространяли педагоги старого, дореволюционного привоза. Несомненно, при их участии в молодом поколении праздные эстетические влечения и отвлеченные идеи отцов стали сменяться нравственными побуждениями и практическими идеями с политической окраской, обрастать живою плотью. Наполеон довершил дело, начатое французскими эмигрантами. Политические события указали направление и цель

пробужденным стремлениям. Дети людей Екатеринына века, защищая отечество на австрийских, прусских и, наконец, родных полях, должны были с оружием в руках стать против той самой Франции, которая для отцов многих из них была «отечеством сердца и воображения». Эта борьба приподняла их дух. Перед их глазами пронеслись великие события, которые решали судьбы народов и в которых они сами участвовали. Воротившись из похода домой, они чувствовали, что ушли от своих стариков «на сто лет вперед». Толкуя об отечестве вокруг бивачных костров на полях Прейсиш-Эйлау, Бородина, Лейпцига и под стенами Парижа, они сделали два важных открытия. Они с прискорбием узнали, что Россия — единственная страна, в которой образованнейший и руководящий класс пренебрегает родным языком и всем, что касается родины. Потом еще с большею скорбью они убедились, что в русском народе таятся могучие силы, лишенные простора и деятельности, скрыты умственные и нравственные сокровища, нуждающиеся в разработке, без чего все это вянет, портится и может скоро пропасть, не принеся никакого плода в нравственном мире. С этой минуты они круто и прямо повернулись лицом к русской действительности, к которой отцы старались поставить их спиной, как стояли сами. Отцы не знали ее и игнорировали; дети продолжали не знать ее, но перестали игнорировать.

Но с минуты этого поворота люди, его сделавшие, разошлись и пошли различными путями. Одни пошли прямо вперед с нервной отвагой. Мысль «о зле существующего порядка и о возможности его изменения» стала исходною точкой всех их дум и размышлений. Но они смотрели на окружающее сквозь призму патриотической скорби, сменившей космополитическое равнодушие отцов, а в этой призме явления отражались под значительным углом преломления. Это мешало разглядеть достижимые цели, взвесить наличные средства, предусмотреть последствия. Они надеялись одним порывистым натиском сдвинуть с места скалу, которая стояла на дороге и которую они называли существующим порядком, разбежались и ударились об нее. Последствием удара было собственное крушение.

Другие прошли стороной, осторожно вглядываясь вдаль и озираясь вокруг. Они также питали много надежд и иллюзий, желали деятельности и готовились к ней, запасаясь идеями и иноземными образцами, которые можно было бы применить в отечестве. Но еще до 1812 г. они стали замечать, что преобразовательное движение, смело начатое правительством,

тормозится чем-то таким, что не зависит ни от Сперанского, ни от Аракчеева, ни от чьей личной воли. Вглядываясь ближе, они увидели, что это была та же скала, или «грубая толща», как называл Сперанский русскую действительность, которая никак не хотела сдвинуться с места, как ее ни толкали. Они так же знали и понимали ее, как и другие, но они живее других почувствовали ее размеры и устойчивость, чувствовали и то, что они ничего с ней не могут сделать, что для этого нужны не та подготовка, не такие знания и навыки, какими обладали они и их отцы, что надобно переучиваться и перевоспитываться. Это было то же крушение, только не силы, плохо рассчитавшей свое действие, а веры, поддерживавшей деятельность. Причиной крушения было открытие, что не во всем можно извернуться чужим умом и опытом, что если глупо вновь изобретать машину, уже изобретенную, то еще глупее жителю севера заимствовать костюм южанина, что нужно примениться к среде, а для этого необходимо изучать ее и потом уже преобразовывать, если она в чем окажется неудобной. Этим открытием разрушалось целое мирозерцание, воспитанное рядом поколений, привыкших сибаритски смотреть за Западную Европу как на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машин, мод, увеселений, вкусов, приличий, знаний, идей, нужных России, и даже ответов на политические вопросы, в ней возникающие. Тогда люди, сделавшие это открытие, впали в уныние или нравственное оцепенение и опустили руки. После, оправившись от столбняка, одни из них стали кое-как прилаживаться к русской действительности и даже явились дельцами в царствование Николая, другие произнесли над ней отлучение от цивилизованного мира за то, что она не давалась их пониманию без изучения, третьи просто принялись изучать ее в подробностях.

Совершенно особенным образом подействовала патриотическая скорбь одних и уныние других на их младших братьев, которые по молодости лет не принимали участия в военных делах 1812—1814 гг. и не были вовлечены в движение, кончившееся катастрофой 14 декабря. Они проходили школу тогдашнего столичного света с его показным умом, заученными приличиями, заменявшими нравственные правила, и с любезными словами, прикрывавшими пустоту общезития, какой описала его в 1812 г. г-жа Сталь. Эта школа давала много пищи злословию, вырабатывала «насмешку с желчью пополам», но не приучала ни к умственному труду, ни к практической деятельности, напротив,



отучала от того и другого, всего же более располагала к скуке. На наклонности, воспитанные такою школою, ложились чувства старших братьев, патриотическая скорбь, наносное уныние; то и другое чувство в младших рядах поколения не было непосредственным житейским впечатлением, получалось из вторых рук. Из смешения столь разнородных влияний и составилось сложное настроение, которое тогда стали звать разочарованием. Поэзия часто рисовала его байроновскими чертами, и сами разочарованные любили кутаться в Гарольдов плащ. Но в состав этого настроения входило гораздо более туземных ингредиентов. Здесь были и запас схваченных на лету идей с приправой мысли об их ненужности, и унаследованное от вольнодумных отцов брюзжанье с примесью скуки жизнью, преждевременно и бесположно отведенной, и презрение к большому свету с неумением обойтись без него, и стыд безделья с непривычкой к труду и недостатком подготовки к делу, и скорбь о родине, и досада на себя, и лень, и уныние — весь умственный и нравственный скарб, унаследованный от отцов и дедов и прикрытый слоем острых или гнетущих чувств, внушенных старшими братьями. Это была полная нравственная растерянность, выражавшаяся в одном правиле: ничего сделать нельзя и не нужно делать. Поэтическим олицетворением этой растерянности и явился Евгений Онегин. Так я понимаю его, — правильно ли, судите сами. Прибавлю только, что Пушкин один из первых подметил эту новую разновидность русских чудаков. В 1822 г., когда он начал писать свой роман; было много и решившихся на все, и нерешительных патриотов, но разочарованные еще не бросались в глаза, как после 1825 г.

Такова родословная Онегина. Его предки — люди из дворянства, служившего проводником светского образования и органом управления. Это исключительные люди, которых слишком быстрая смена направлений образования и не всегда удачная его постановка ставила в неправильное положение. Сперва потребовалось школьное латинское образование, но под церковным руководством с целью оградить правосмыслие. Но многим получившим такое образование приходилось действовать там, где требовалась уже военно-техническая выучка, которой усиленно и подвергалась дворянская молодежь в царствование Петра I. Многим, получившим и такую выучку, пришлось действовать в обществе, в котором служебные успехи много зависели от степени светской выправки и литературного образования

служащего лица. Но эта выправка и это образование скоро получили такое ненормальное развитие, которое прививало идеи и вкусы, непригодные для государственной и земской деятельности дворянства, расширенной реформами Екатерины II. Тогда и образование высшего дворянства стало получать политическое направление и становилось ближе к русской действительности, к положению управляемого общества. Но такое образование при содействии унаследованных преданий и наклонностей и новых влияний сделало одних нетерпеливыми новаторами, хотевшими все перестроить разом, других — нерешительными пессимистами, не знавшими, что делать, а третьих повергло в настроение, лишавшее их способности и охоты делать что-либо. Эти последние — наши Онегины. С этими людьми, мелькавшими в русском обществе в 1820-х и 1830-х годах, такое настроение и умерло.

Но я слишком долго задержал ваше внимание на личных и исторических воспоминаниях. О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует.

---

## ГРУСТЬ

(Памяти М. Ю. Лермонтова,  
умер 15 июля 1841 г.)

Пятьдесят лет прошло с тех пор, как умер Лермонтов. Воспоминание о смерти поэта, без сомнения, напомнит нам и его поэзию. Да, напомнит, потому что мы успели уже забыть ее. Образцовые стихотворения Лермонтова с разрешения учебного начальства держатся еще в педагогическом обороте, и благодаря тому многие знают наизусть и *Бородино*, и *Ветку Палестины*, и даже *Пророка*. Но поэзия Лермонтова — только наше школьное воспоминание: в нашем текущем житейском настроении, кажется, не уцелело ни одной лермонтовской струны, ни одного лермонтовского аккорда. Жалеть ли об этом? Может быть — да, а может быть — и нет. Ответ зависит от оценки этой давно затихшей песни и от того, запал ли в нас от нее какой-нибудь отзвук, — лучше сказать, была ли она сама отзвуком какого-нибудь ценного общечеловеческого или по крайней мере национального мотива, или в ней прозвучало чисто индивидуальное настроение, которое сложилось под влиянием капризных случайностей личной жизни и вместе с ней замерло, обогатив только запас редких психологических возможностей. В последнем случае поэзию Лермонтова едва ли стоит вызывать с тихого кладбища учебной хрестоматии.

Педагогический успех поэзии Лермонтова может показаться неожиданным. Принято думать, что Лермонтов — поэт байроновского направления, певец разочарования, а разочарование — настроение, мало приличествующее школьному возрасту и совсем неудобное для педагога как воспитательное средство. Между тем после старика Крылова, кажется, никто из русских поэтов не оставил после себя столько превосходных

вещей, доступных воображению и сердцу учебного возраста без преждевременных возбуждений, и притом не в наивной форме басни, а в виде баллады, легенды, исторического рассказа, молитвы или простого лирического момента. Неожиданно и то, что русский поэт первой половины нашего века стал певцом разочарования. Настроение, которое в поэзии обозначается именем великого английского поэта, сложилось из идеалов, с какими западноевропейское общество переступило через рубеж XVIII в., и из фактов, какие оно пережило в начале XIX в., — из идеалов, подававших надежду на невозможность подобных фактов, и из фактов, показавших полную несбыточность этих идеалов. Байронизм — это поэзия развалин, песнь о кораблекрушении. На каких развалинах сидел Лермонтов? Какой разрушенный Иерусалим он оплакивал? Ни на каких и никакого. В те годы у нас были несчастья и потрясения, но ни одного из них нельзя назвать крушением идеалов. Старые верования, исторически сложившиеся и укрепившиеся в общественном сознании, уцелели, а новые идеи еще не успели дозреть до общественных идеалов и свеялись как мечты отдельных умов, неосторожно отважившихся забежать вперед своего общества. Нам не приходилось сидеть на реках вавилонских, оплакивая родные разрушенные святыни, и даже о пожаре Москвы мы вспоминали неохотно, когда вежливо и сострадательною рукой брали Париж.

Поэзия Лермонтова развивалась довольно своеобразно. Поэт не сразу понял себя; его настроение долго оставалось для него самого загадкой. Это отчасти потому, что Лермонтов получил очень раннее и одностороннее развитие, ускорявшееся излишним количеством внешних возбуждений. Рано пробудившаяся мысль питалась не столько непосредственным наблюдением, сколько усиленным и однообразным чтением, впечатлениями, какие навевались поэзией Пушкина, Гейне, Ламартина и особенно «огромного Байрона», с которым он уже на 16 году был неразлучен, по свидетельству Е. А. Хвостовой. Этим нарушена была естественная очередь предметов размышления. То, чем усиленно возбуждалась ранняя мысль Лермонтова, были преимущественно предметы, из которых слагается жизнь сердца, притом тревожного и притязательного. Может быть, хорошо начинать жизнь такими предметами, но едва ли правильно начинать ими изучение жизни. С трудом разбираясь в воспринимаемых впечатлениях, Лермонтов вдумывался в беспокойное и хаотическое настроение, ими навевавшееся, рядился в чужие

костюмы, примерял к себе героические позы, вычитанные у любимых поэтов, подбирал гримасы, чтобы угадать, которые ему к лицу, и, таким образом, стать на себя похожим. Для этой работы особенно много образов и приемов дала ему манерная и своенравно печальная поэзия Байрона, и в этом отношении ей трудно отказать в сильном влиянии на нашего поэта. От этих театральных ужимок осталось на поэтической физиономии Лермонтова несколько складок, следов беспорядочного литературного воспитания, поддержанного дурно воспитанным общественным вкусом. До конца своего недолгого поприща не мог он освободиться от привычки кутаться в свою нарядную печаль, выставлять гной своих душевных ран, притом напускных или декоративных, трагически демонизировать свою личность, — словом, казаться лейб-гвардии гусарским Мефистофелем. Было бы большою ошибкой видеть во всем этом один бутафорский прибор, только чуждые накладные краски, которые с годами должны были свалиться ветхою чешуей с поэтического подлинника, не оставив на нем своего следа. Эти изысканные приемы поэтического творчества появляются у Лермонтова в такие ранние годы, когда усвоенная манера не столько отражает, сколько направляет настроение души. Поэту уже не вернуть своих юных гордых дней; жизнь его пасмурна, как солнце осени суровой; он умер, душа его скорбит о годах развратных — всё это пишет не более как 15-летний мальчик, посвящая друзьям свою поэму, свои «печальные мечты, плоды душевной пустоты». Когда успел пережить все эти нравственные ужасы благовоспитанный и прекрасно учившийся гимназист университетского благородного пансиона? Вторя этому настроению, в *Корсаре*, *Преступнике*, *Смерти* и других пьесах тех лет (1828—1830 гг.) являются все мрачные образы, печальные или ожесточенные; в юношеских тетрадах поэта уцелели наброски задуманных драм, все с ужасными сюжетами, с трагическими положениями. Из этих образов и положений постепенно складывается тип, который так долго владел воображением поэта. Сначала, например в *Портрете*, *Моем демоне* и первом очерке *Демона* (1829 г.), он выступает в неясных общих очертаниях и потом получает определенный облик, даже несколько обликов в целом ряде поэм, драм и повестей, конченных и неконченных. Поэт лелеял этот тип как свое любимое поэтическое детище, всматривался в него, ставил его в разнообразные позы и обстановки, изображал то печальным и влюбленным демоном, то мстительным русским дворовым холопом-пугачевцем, то ди-

ким кавказским горцем, то великосветским игроком, то ипохондрик-художником, то, наконец, кавказским офицером-баричем из высшего столичного света, не знающим, куда девать себя от скуки. На всех этих изображениях положена печать той «горькой поэзии», которую, по выражению самого поэта, наш бедный век выжимал из сердца ее первых проповедников; во всех них сказывается то чувство житейской нескладицы, противоречий людской жизни, которое проходит основным мотивом в ранних произведениях Лермонтова. Он с любовью искал этих противоречий и с наслаждением любовался ими, не отворачиваясь даже от самых пошлых, с таким мефистофельским злорадством изображенных им в стихотворении *Что толку жить*. Недаром сам поэт сопоставлял себя с своим «хладным и суровым» демоном, называя себя зла избранником, который в жизни зло лишь испытал и злом веселился; припомним, что первоначально поэт думал изобразить демона торжествующим и жертву его страсти превратить в духа ада, как будто торжество зла тогда более гармонировало с его эстетическим настроением. Из всех этих несродных поэту усилий воображения и сердца он вынес, по его словам, усталую душу, объятую тьмой и холодом, еще далеко не достигнув рубежа молодости. Лермонтов быстро развивался. Согласно с привычным направлением своей мысли, он и этой небеспримерной особенности своего роста придавал трагическое значение. У него сложился взгляд на себя как на человека, рано отцветшего и преждевременно созревшего, успевшего отжить, когда обыкновенно только начинают жить. Любимым образом, к которому он обращался для своей характеристики, был тощий плод, до времени созревший, который сиротой висит между цветов, не радуя ни глаз, ни вкуса.

Ужасно стариком быть без седин...

В 1832 г., 18-ти лет от роду, Лермонтов писал в одном дружеском письме: «Всё кончено; я отжил, я слишком рано созрел; далее пойдет жизнь, в которой нет места для чувств». Он стал думать, что пора мечтаний для него миновала, что он утратил веру, отцвел для наслаждений и потерял вкус в них; по крайней мере за год до выхода из юнкерской школы (1833 г.), мечтая об офицерских эполетах и рисуя план своей жизни по окончании школьного курса, он писал, что сохранил потребность только в чувственных удовольствиях, в счастье осязательном, в таком, какое покупается

золотом и которое можно носить с собою в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало его чувства, оставляя в бездействии его усталую душу. В этой печальной повести поэта о своем нравственном разорении, конечно, не все действительный житейский опыт, а есть и доля поэтической мечты, есть даже немало заимствованных со стороны, вычитанных образов, принятых за свою собственную мечту. Но мысль, рано и долго питавшаяся такими образами и чувствами, должна была покрыть в глазах поэта людей и вещи тусклым светом; настроение уныния и печали, первоначально навевавшееся случайными, хотя бы даже призрачными впечатлениями, незаметно превращалось в потребность или в «печальную привычку сердца», говоря словами поэта. Это настроение, столь неблагоприятное для нравственного роста поэта, имело, однако, благотворное действие в другом отношении. Утомляемый или возбуждаемый впечатлениями, приносимыми со стороны, он рано начал искать пищи для ума в себе самом, много передумал, о чем редко думается в те годы, выработал то умение наблюдать и по наружным приметам угадывать душевное состояние, которое так ярко уже блестит местами в его ранней и наивной, но необыкновенно живой и бойкой *Повести*. Историю этих ранних и любимых дум своих, смутных, тревожных и настойчивых, он сам рассказал в стихотворении, помеченном 11 июня 1831 г. (*Моя душа, я помню, с детских лет*). Эта пьеса, которую можно назвать одной из первых глав поэтической автобиографии Лермонтова, показывает, как рано выработалась в нем та неугомонная, вдумчивая, привычная к постоянной деятельности мысль, участие которой в поэтическом творчестве вместе с удивительно послушным воображением придает такую своеобразную энергию его поэзии.

Всегда кипит и зреет что-нибудь  
В моем уме...

Было бы очень жаль, если бы чувства и манеры их выражения, рано усвоенные поэтом, дали окончательное направление его поэзии. Эти чувства и манеры были особенностью его поэтического воспитания, а не свойствами его поэтической природы, и послужили только средством для него глубже понять свой талант. Ранние поэтические опыты Лермонтова были пробой пера, предварительною черной работой над своим талантом. Странное дело! Чем настойчивее готовился поэт к собственным похоронам, чем больше накоп-

лялся в его уме запас мрачных и печальных дум, тем чаще прорывались в его песне светлые ноты, тем выше поднимался его тон. Это настроение довольно рано начинает пробиваться из-под прежнего и становится особенно заметно по выходе поэта из юнкерской школы (в 1834 г.), когда он вступил в третье десятилетие своей жизни. Лермонтов иногда возвращался к прежним темам, перепевал свои старые песни под лад нового настроения. Сравните его пьесу 1830 г. *Я не люблю тебя* с пьесой 1837 г. *Расстались мы*. Тема обеих пьес одна и та же — след, оставленный в воспоминании исчезнувшей сильною привязанностью, но мотивы различны. В первой пьесе ее образ, оставшийся в его душе, служит ему только бессильным напоминанием умчавшегося сна страстей и мук; во второй пьесе этот образ сохраняет еще часть силы своего подлинника над своим носителем, который не может разлюбить его как призрак своих лучших дней; самый момент, схваченный поэтом, оттенен несколько различно в обеих пьесах: в первой это разрыв, во второй — как будто только разлука. Эта перемена настроения сказалась и в новой развязке, какую дал поэт *Демону* в окончательной редакции поэмы: Тамара не достается навсегда духу-искусителю; ей всё прощается за то, что она много страдала и любила. Новое настроение выразилось в целом ряде поэтических образов, которые каждый из нас так хорошо помнит смолоду. Мятельный парус, просящий бури, как будто в бурях есть покой, пустынные пальмы, наскучившие своим спокойным одиночеством и поплатившиеся жизнью за удовлетворенное желание порадовать чей-нибудь благосклонный взор, дубовый листок, оторвавшийся от родной ветви и на далекой чужбине напрасно просящий приюта у молодой избалованной чинары, одинокий старый утес, тихонько плачущий в пустыне после разлуки с погостившей у него золотой тучкой, наконец, этот двойной *Сон*, поражающий красотой скрытой в нем печали, в котором он, одиноко лежа в знойной долине Дагестана с пулей в груди, видит во сне, как ей среди веселого пира грезится его труп, истекающий кровью в долине Дагестана, — как непохожи эти образы на прежде ласкавшую воображение поэта дикую картину бурного океана, замерзшего с поднятыми волнами, в театральном виде мертвенного движения и беспокойства! В этих образах и жажда тревог и волнений без цели, без мысли о счастье, просто как привычная потребность беспокойного сердца, и грустная ирония жизни над горделивым и самолюбивым желанием стать источником счастья и радостей для других, и уединенная грусть о мимо-



летно скользнувшем счастье, и упрек бессердечному самодовольству счастливых людей, и безмолвная без жалоб обоюдосторонняя заочная скорбь размываемого смертью взаимного счастья без возможности утешить друг друга в минуту разлуки — все мотивы, мало отвечающие эпопее бурных страстей, самодовольной тоски и гордого страдания, которыми проникнуты ранние произведения поэта. Наконец, ряд надменных и себялюбивых героев, все переживших и передумавших, брезгливых носителей скуки и презрения к людям и жизни, у которой они взяли все, что хотели взять, и которой не дали ничего, что должны были дать, завершается спокойно грустным библейским образом пророка, с беззлобною скорбью ушедшего от людей, которым он напрасно проповедовал любви и правды чистые ученья. Демонические призраки, прежде владевшие воображением поэта, потом стали казаться ему «безумным, страстным, детским бредом». То был не перелом в развитии поэтического творчества, а его очищение от наносных примесей, углубление таланта в самого себя. Новые образы постепенно выступали из беспорядочных и смутных юношеских видений, новые мотивы складывались из нестройных порывистых впечатлений по мере того, как зревшая мысль очищала их от тяжелого бреда неустановившейся фантазии. Лермонтов не выращивал своей поэзии из поэтического зерна, скрытого в глубине его духа, а, как скульптор, вырезывал ее из бесформенной массы своих представлений и ощущений, отбрасывая все лишнее. У него не ищите того поэтического света, какой бросает поэт-философ на мироздание, чтобы по-своему осветить соотношение его частей, их стройность или нескладичу, у него нет поисков смысла жизни; но в ее явлениях он искал своего собственного отражения, которое помогло бы ему понять самого себя, как смотрятся в зеркало, чтобы уловить выражение своего лица. Он высматривал себя в разнообразных явлениях природы, подслушивал себя в нестройной разноголосице жизни, перебирал один поэтический мотив за другим, чтобы угадать, который из них есть его собственный, его природная поэтическая гамма, и, подбирая сродные звуки, поэт слил их в одно поэтическое созвучие, которое было отзвуком его поэтического духа. Это созвучие, эта лермонтовская поэтическая гамма — грусть как выражение не общего смысла жизни, а только характера личного существования, настроения единичного духа. Лермонтов — поэт не мирозерцания, а настроения, певец *личной грусти*, а не *мировой скорби*.

Мировая скорбь и личная грусть — между этими настроениями больше разницы, чем между словами, их выражающими. В лексиконе это синонимы, в психологии — почти антитезы. Психический процесс, который вводит в состояние мировой скорби, чаще всего называют разочарованием. Разочароваться — значит утратить веру в свой идеал, не самый идеал, а только веру в него, выйти из его обаяния. Идеал как мыслимый и желаемый порядок или поэтический обзор остается, только исчезает вера в его действительность или осуществимость. Можно сохранять убеждение в пригодности известного идеала для людей вообще и при этом потерять уверенность, годятся ли эти люди для такого идеала. Когда разрушается самый идеал, т. е. сознается его нелепость, тогда наступает не разочарование, а отрезвление. Но последнее состояние не может быть источником никакой скорби. Отрезвленный радуется торжеству здравого смысла над нелепою мечтой; разочарованный скорбит о торжестве нелепой действительности над разумным стремлением. Грусть — ни то, ни другое; ее источник — не торжество рассудка и не поражение идеала. Грусть — чувство довольно простое само по себе; но, как все такие чувства, она тем труднее поддается анализу. Ее понимаешь, пока чувствуешь, и перестаешь чувствовать, как только начнешь разбирать. По крайней мере, что такое грусть Лермонтова? Он был поэтом грусти в полном художественном смысле этого слова: он создал грусть как поэтическое настроение, из тех разрозненных ее элементов, какие нашел в себе самом и в доступном его наблюдению житейском обороте. Потому не психологию надобно призывать для объяснения его поэзии, а его поэзия может пригодиться для психологического изучения того настроения, которое служило ей источником.

Грусть стала звучать в песне Лермонтова, как только он начал петь:

И грусти ранняя на мне печать...

Она проходит непрерывающимся мотивом по всей его поэзии; сначала заглушаемая звуками, взятыми с чужого голоса, она потом становится господствующею нотой, хотя и не освобождается вполне от этих чуждых звуков. Некоторыми наружными признаками и переходными моментами своей поэзии Лермонтов близко подходил к разным скорбным мирозерцаниям, философским или поэтическим, и к разочарованному презрению жизни и людей, и к пессимизму, который

относится к мировому порядку, как брюзгливый учитель к торопливому экспромту рассеянного школьника, и к желчной спазматической тоске Гейне, для которого мир — досадно расстроенный музыкальный инструмент, а жизнь — раздражающая логика противоречий. Но все это — целые мирозерцания, создающие скорбное настроение. Поэзия Лермонтова — только настроение без притязания осветить мир каким-либо философским или поэтическим светом, расширяться в цельное мирозерцание. Притом некоторыми частями своего психологического состава это настроение существенно отличается от всех видов скорби. Скорьбь есть грусть, обостренная досадой на свою причину и охлажденная снисходительным сожалением о ней. Грусть есть скорьбь, смягченная состраданием к своей причине, если эта причина — лицо, и согретая любовью к ней. Скорьбеть — значит прощать того, кого готов обвинять. Грустить — значит любить тогò, кому страдаешь. Еще дальше грусть от мировой скорьбь. Эта последняя вызывается общею причиной, которая всех равно касается и если не во всех возбуждает скорьбь, то носителей скорьбь заставляет скорьбеть за всех. Грусть всегда индивидуальна, вызывается отражением житейских явлений в личном сознании и настроении. Но простое по своему психологическому составу, это настроение довольно сложно по мотивам, его вызывающим, и по процессу своего образования. Люди живут счастьем или надеждой на счастье. Грусть лишена счастья, не ждет, даже не ищет его и не жалуется.

У неба счастья не прошу  
И молча зло переносу.

Однако это не есть состояние равнодушия, наступающее, когда простятся с счастьем и всеми надеждами на него. Это равнодушие достигается тем, что перестают любить, чего не удалось добиться, заставляют себя думать, что не стоить желать, на что напрасно надеялись. И в грусти теряют надежду достигнуть желаемого и любимого и даже мирятся с этою безнадёжностью, но не теряют ни любви, ни желания. Что же любят и зачем желают? А желают, чтобы было что любить, и любят самое это желание. Потребность любить создает любимые предметы; жизнь может уничтожить их, но потребность остается, как «печальная привычка сердца». Человек не легко поддается ударам судьбы или капризам случая; бороться с ними — его нравственная гордость. Его любовь

можно заставить отказаться от всего любимого и даже примириться с утратой, с своим горем, но нельзя заставить отказаться от самой себя, совершить самоубийство; когда ничего не останется любить, она обратится на самое себя, будет любить свое собственное горе. Странное и, может быть, не совсем нормальное состояние, но довольно обыкновенное в действительности. Так муж продолжает любить жену, покинувшую его для другого; так вдова ходит на кладбище на свидание со своим покойником. Что продолжают они любить? Конечно, не чужую любовницу и не скелет, засыпанный землей. Оба они продолжают любить свое прежнее чувство, которым жили и которым не хотят поступиться: одна — в угоду произволу смерти, другой — в угоду произволу чужого сердца. В сильном и негибком характере это чувство может так исключительно сосредоточиться на одном впечатлении, что дальнейшие только напоминают и освежают его, не вытесняя, хотя бы давно уже не существовало предмета, его произведшего. Эта мономания сердца с поэтической силой выражена Лермонтовым в стихотворении *Нет, не тебя так пылко я люблю:*

В твоих чертах ищу черты другие;  
В устах живых уста давно немые.

Наконец, как часто плачут, чтобы не тосковать, и грустят, чтобы не злиться! Значит, в грусти, как и в слезах, есть что-то примиряющее и утешающее. Вызываемая потребностью продолжить погибшее счастье или заменить не сбывшееся, она сама становится нравственной потребностью как средство борьбы с невзгодами и обманами жизни:

Сладость есть  
Во всем, что не сбылось...

Усилиями сердца можно усладить и горечь обманутых надежд. Правда, все это напоминает медведя, который с голода сосет собственную лапу. Но чем ненормальнее такой диеты настроение печального поэта, влюбляющегося в собственную печаль? Человек, переживший опустошение своей нравственной жизни, не умея вновь населить ее, старается наполнить ее печалью об этом запустении, чтобы каким-нибудь стимулом поддержать в себе падающую энергию. Никто из нас никогда не забудет одной из последних пьес Лермонтова, которая всегда останется единственной по неподражаемому сочетанию энергического чувства жизни с глу-

бокою, скрытую грустью,— пьесы, которая своим стихом почти освобождает композитора от труда подбирать мотивы и звуки при ее переложении на ноты: это стихотворение *Выхожу один я на дорогу*. Трудно найти в поэзии более поэтическое изображение духа, утратившего все, чем возбуждалась его деятельность, но сохранившего жажду самой деятельности, одной деятельности, простой, беспредметной. Не уцелело ни надежд, ни даже сожалений; усталая душа ищет только покоя, но не мертвого; в вечном сне ей хотелось бы сохранить биение сердца и восприимчивость любимых внешних впечатлений. Грусть и есть такое состояние чувства, когда оно, утратив свой предмет, но сохранив свою энергию и от того страдая, не ищет нового предмета и не только примиряется с утратой, но и находит себе пищу в самом этом страдании. Примирение достигается мыслью о неизбежности утраты и внутренним удовлетворением, какое доставляет стойкое чувство. В этом моменте грусть встречается и расходится с радостью: последняя есть чувство удовольствия от достижения желаемого; первая есть ощущение удовольствия от мысли, что необходимо лишение и что его должно перенести. Итак, источник грусти — не торжество нелепой действительности над разумом и не протест последнего против первой, а торжество печального сердца над своею печалью, примиряющее с грустной действительностью. Такова по крайней мере грусть в поэтической обработке Лермонтова.

Как и под какими влияниями сложилось такое настроение поэта? Своим происхождением оно тесно соприкасается с нравственною историей нашего общества. Поэзия Лермонтова всегда останется любопытным психологическим явлением и никогда не утратит своих художественных красот; но она имеет еще значение важного исторического симптома. Лермонтов — поэт по преимуществу лирический; его творчество воспроизводило почти исключительно жизнь сердца и касалось трудноуловимых ее мотивов. Господствующее место среди мотивов этой жизни занимает личное счастье. Вопрос об этом счастье, о том, в чем оно состоит и как достигается, всегда составлял важную и тревожную задачу для человеческого сердца. Поэзия Лермонтова подходила к этому вопросу с обратной стороны, с изнанки, если можно так выразиться: она пыталась указать, в чем не следует искать счастья и как без него обойтись. Ныне вопрос о счастье не любят ставить во всем его объеме. Состав счастья так осложнился, что не выдержал прежней своей цельности и распался на разнообразные свои элементы, на специальности. В обществе

говорят о богатстве, гигиене, гражданских добродетелях, талантах, успехах по службе или среди женщин; говорить о счастье вообще позволено только очень молодым девицам, притом лишь монологически, подобно профессору, при общем молчании аудитории, да и это допускается лишь потому, что за одними девицами оставлено пока право быть наивными в обществе. В состав счастья вошло столько разнообразных благ, что самый смелый эвдемонический аппетит не надеется сладить со всеми. Каждый, смотря по напряжению и растяжимости своих желаний, выбирает себе какое-либо одно благо или подбирает несколько сподручных благ и на их достижении вырабатывает силы своего ума и сердца, разучивая более и менее высокую октаву счастья. Поверхностный и всеобъемлющий, т. е. за все хватающийся дилетантизм признан неудобным и в сердечной жизни, как во всякой другой; в интересе технического успеха рядом с разделением труда усиливается и специализация наслаждений. Так, стремление к счастью раздробилось на отдельные житейские *охоты*, своего рода спорты сердца. Самое слово *счастье* стало непопулярно, потеряло свое прежнее обаяние и приобрело специфический, немного приторный запах женского института. Это потому, что над счастьем много смеялись легкомысленные люди, а люди серьезные перестали ясно понимать значение этого слова. Но если пострадали ясность понимания и цельность вкуса счастья, то культ его сохранил прежнюю силу. Не все отчетливо понимают, что такое счастье вообще; но то конкретное, что разумеют под этим словом, те специальные блага, которые выбирает себе каждый из общего запаса счастья, составляют смысл, цель и сильнейший стимул личного существования. Идею счастья мы прививаем к своему сознанию воспитанием, оправдываем общим мнением людей, наконец, извиняем всеми инстинктами своей природы. Разружьте эту идею, и мы перестанем понимать, для чего родимся и живем на свете. Мы менее огорчаемся, когда безуспешно ищем счастья, чем когда не находим его там, где искали. Так жаждущие в знойной пустыне более удовлетворяются раздражающим призраком воды, чем просто мыслью, что воды нет. Отсутствие счастья делает нас менее несчастными, чем его невозможность.

Были, однако, сострадательные попытки освободить людей от идолослужения этой идее, заставить их усилиями ума и сердца, напряженной работой над своею волей отказаться от личного земного счастья как от обязательной цели жизни,

священной заповеди блаженства. Один из процессов этой эмансипации от ига счастья особенно знаком каждому из нас. С наименьшим трудом удается эта работа простым верующим христианам. Они не знают ни философских, ни физиологических оправданий учения об эвдемонизме, о житейском благополучии, а воспитание в духе долга и смирения регулирует у них деятельность инстинктов. Так создается очень простой и ясный взгляд на жизнь. Правило жизни — самоотвержение. Не мир своими благами обязан служить притязаниям лица, а лицо своими делами обязано оправдать свое появление в мире. Страдание признается благодатным призывом к этому оправданию, а житейская радость — напоминанием о ее незаслуженности. Христианин растворяет горечь страдания отрадной мыслью о подвиге терпения и сдерживает радость чувством благодарности за незаслуженную милость. Эта радость сквозь слезы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье. Христианская грусть слагается из мысли, что личное существование должно служить целям мирового порядка, следовать путям провидения, и из чувства, что мое личное существование не оправдывает этого назначения; значит, она слагается из идеи долга и чувства смирения. Говорим о христианской грусти не по нравственному христианскому вероучению, которое учит не грустить, а надеяться и любить; разумеем грусть, какую она является в домашней практике христианской жизни, терпимой христианским нравоучением. Неподражаемо просто и ясно выразил эту практическую христианскую грусть истовый древнерусский христианин царь Алексей Михайлович, когда писал, утешая одного своего боярина в его семейном горе: «И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим чрезмеру не скорбеть, а нельзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться, и прослезиться надобно, да в меру, чтоб бога наипаче не прогнать».

Поэтическая грусть Лермонтова была художественным отголоском этой практической русско-христианской грусти, хотя и не близким к своему источнику. Она и достигалась более извилистым и трудным путем. Лермонтов родился и вырос в среде, в которой житейские условия воспитали неумеренную жажду личного счастья. Лучи образования, искусственно и не всегда толково проведенные в эту среду, возбудили, но не направили ее сонной мысли, не научили ее человечнее понимать людские отношения. Напротив, они сделали ее самоувереннее и притязательнее и развили в ней

гастрономию личного счастья изысканными приправами; его стали искать не в одних материальных благах, не в одной бесцельной власти над ближними: науки и искусства, мировой порядок и само провидение обязаны были служить ему под опасением быть наказанными за ослушание сердитым пессимизмом и неверием со стороны такого прихотливого и раздражительного мирозерцания. Среди искусственной юридической и хозяйственной обстановки, доставлявшей много досуга, но мало побуждений к размышлению, целые поколения образованных господ и госпож питались таким мирозерцанием, жертвуя прямыми своими интересами и обязанностями усилиям воспитать в своей среде безукоризненные образцы тонкого вкуса и изысканного общежития. Эти поколения и создали ту удивительную культуру сердца, которая утонченностью и ненужностью воспитанных ею чувств, соединенных с крайне неустойчивою нервной и моральною системой, так напоминает старинную барскую теплицу с ее дорогою и прихотливою флорой, способною занять ботаника только разве тем, что она служила удачным опытом борьбы с климатом и хозяйственным смыслом. По лучшим произведениям нашей беллетристики пятидесятых и шестидесятых годов еще памятливы превосходно изображенные образчики этой тепличной, нервной, сентиментально-вялой и нравственно-уступчивой культуры.

Сильному уму не много нужно было усилий, чтобы понять противоречие столь искусственно сложившейся и хрупкой среды. Лермонтов стал к ней в двусмысленное отношение. Родившись в ней и привыкнув дышать ее воздухом, он не восставал против коренных ее недостатков; напротив, он усвоил много дурных ее привычек и понятий, что делало столь неприятным его характер, как и его обращение с людьми. Редко платят такую тяжелую дань предрассудкам и порокам своей среды, какую заплатил Лермонтов. Он был блестящею иллюстрацией и печальным оправданием пушкинского *Поэта*, в минуты безделья, пока божественный глагол не касался его слуха, умел быть ничтожней всех ничтожных детей мира или по крайней мере любил таким казаться. Но при таком практическом примирении с воспитавшею его средой тем неодолимее было его нравственное отчуждение от нее. Он как будто мстил ей за противные жертвы, какие принужден был ей принести, и при каждой оглядке на себя в нем вспыхивала горькая досада на это общество, подобная той, какую в увечном человеке вызывает причина его увечья при каждом ощущении причиняемой им неловкости.



...по праву мести  
 Стал унижать толпу под видом лести...

По его признанию, общество всегда казалось ему собранием людей бесчувственных, самолюбивых в высшей степени и полных зависти, к которым он с безграничным презрением обращал свою ненависть. При виде этого «надменного, глупого света с его красивой пустотой» как ему хотелось дерзко бросить этому свету в глаза железный стих, облитый горечью и злостью! Но Лермонтову не из чего было выковать такой стих, и он не стал сатириком. В его стихе иногда звучала сатирическая нота, он был способен на злую и горькую остроту, но был лишен той острой горечи и злости, какую необходимо полить сатирический стих. У Лермонтова было слишком много лиризма, под действием которого сатирический мотив растворялся в элегическую жалобу, как это случилось с его *Думой*. Очень рано и выразительно сказалась эта связь сатирического негодования с ослаблявшею его грустью в одной мимолетной заметке 16-летнего поэта, уцелевшей в его тетради 1830 г.: «в следующей сатире всех разругать и одну грустную строфу». А потом, во имя чего восстал бы Лермонтов против порядков, нравов и понятий современного общества, во имя каких правил и идеалов? Ни вокруг себя, ни в себе самом не находил он элементов, из которых можно было бы составить такие правила и идеалы; ни наблюдение, ни собственное мирозерцание не давали ему положительной сатирической темы, без которой сатира превращается в досужее зубоскальство. Лучшее, что он мог заимствовать у своего общества, была все так же эстетическая культура сердца, заменявшая нравственные правила тонкими чувствами, общественные и другие идеалы — мечтами о личном счастье. Он возмущался против общества, среди которого вращался, но мирился с общежитием, к которому привык.

Я любил  
 Все обольщенья света, но не свет...

Однако он чувствовал, что этими обольщениями он нравственно связан и с самим нелюбимым светом, и не мог порвать этой связи, хотя порой и стыдился ее. От этого света вместе с понятиями и привычками унаследовал он и раннюю возбужденность чувств, которой сам дивился и которой любил наделять своих героев: трех лет он плакал, растро-

ганный песню матери, десяти лет был уже влюблен. Ему тяжело было поднимать сатирический бич на это общежитие, хотя порой он и хлестал им самое общество и даже страдал за это. Ему пришлось бы бить по собственным больным местам, до которых и без того было больно дотронуться. Не имея сил бичевать испорченное общежитие, с которым он так тесно соприкасался, он обратил печальную мысль на болезни, которыми сам заразился через это соприкосновение. Эта печаль прошла две фазы в своем развитии. Первая была порой бурного и ожесточенного разочарования. Прежде всего своею тревожною мыслью и тонким чутьем поэт постиг пустоту и призрачность тех благ, из которых люди его общества строили свое личное счастье и в которых он сам искал его.

И презирал он этот мир ничтожный,  
Где жизнь — измен взаимных вечный ряд,  
Где радость и печаль — все призрак ложный,  
Где память о добре и зле — все яд.

Это зрелище развеяло его собственные юношеские мечты и отравило ему вкус жизни. Бывало, и он молил о счастье. Теперь

...тягостно мне счастье стало,  
Как для царя венец...

После, незадолго до смерти, в *Валерике*, поражающем сосредоточенною и жестокою печалью, которую так редко выдерживал Лермонтов, он в сжатой, как бы схематической исповеди изложил ход своего разочарования, последовательными моментами которого были: любовь, страдание, бесплодное раскаяние и, наконец, холодное размышление, убившее последний цвет жизни. Невозможно счастье, так и не нужно его, — таков был несколько надменный и детски-капризный вывод, вынесенный поэтом из первых житейских испытаний. Но эти самые утраты и поражение «сердца, обманутого жизнью», помогли поэту одержать важную победу над своим самомнением. Верный духу и мирозозерцанию своей среды, он начал сознательную жизнь мыслью, что он — центр и душа мирового порядка. В одном письме 18-летний философ, размышляя о своем «я», писал, что ему страшно подумать о том дне, когда он не будет в состоянии сказать: я, и что при этой мысли весь мир превращается для него в ком грязи. Теперь он стал скромнее и в *Думе* пропел похоронную песню ничтожному поколению, к которому принадлежал сам. Эта по-

беда облегчила ему переход в новую фазу его печального настроения, в состояние примирения с своею печалью. Он переставал волноваться и скорбеть о своей «пустынной душе», опустошенной «бурями рока», и понемногу населял ее мирными желаниями и чувствами. Наскучив бурями природы и страстей, он начинал любить

Поутру ясную погоду,  
Под вечер тихий разговор...

Присматриваясь к этим мирным явлениям природы и к тихим разговорам людей, он стал чувствовать, что и счастье может он постигнуть на земле, и в небесах видит бога. Счастье возможно, только надобно сберечь способность быть счастливым, а если она утрачена, следует довольствоваться пониманием счастья: так переиначился теперь прежний взгляд поэта. Из этого признания возможности счастья и из сознания своей личной неспособности к нему и слагалась грусть Лермонтова, какой проникнуты стихотворения последних шести-семи лет его жизни.

Теперь может показаться странным и непонятным процесс, которым развивалось поэтическое настроение Лермонтова. Это развитие, конечно, направлялось особенностями личного характера и воспитания поэта и характером среды, из которой он вышел и которая его воспитала. Изысканно тонкие чувства и мечтательные страдания, через которые прошла поэзия Лермонтова, прежде чем нашла и усвоила свое настоящее настроение, теперь на многих, пожалуй, произведут впечатление досужих затей старого барства, и нужно уже историческое изучение, чтобы понять их смысл и происхождение. Но самое настроение этой поэзии совершенно понятно и без исторического комментария. Основная струна его звучит и теперь в нашей жизни, как звучала вокруг Лермонтова. Она слышна в господствующем тоне русской песни — не веселом и не печальном, а грустном. Ее тону отвечает и обстановка, в какой она поется. Всмотритесь в какой угодно пейзаж русской природы: весел он или печален? Ни то, ни другое: он грустен. Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно. Вы усиливаетесь припомнить, что где-то было уже выражено это впечатление, что русская кисть на этих полотнах только иллюстрировала и воспроизводила в подробностях какую-то знакомую вам общую картину русской

природы и жизни, произведшую на вас то же самое впечатление, немного веселое и немного печальное,— и вспомните *Родину* Лермонтова. Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим фактом. Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле божией. Это — русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское.

На Западе знают и понимают эту *резиньяцию*; но там она — спорадическое явление личной жизни и не переживалась как народное настроение. На Востоке к такому настроению при­мешивается вялая, безнадежная опущенность мысли и из этой смеси образуется грубый психологический состав, называемый фатализмом. Народу, которому пришлось стоять между безнадежным Востоком и самоуверенным Западом, досталось на долю выработать настроение, проникнутое надеждой, но без самоуверенности, а только с верой. Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочарования, навеянного жизнью светского общества, на последней ступени своего развития близко подошла к этому национально-религиозному настроению, и его грусть начала приобретать оттенок поэтической резиньяции, становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: *да будет воля твоя*. Никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский, и ни один русский поэт доселе не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов.

---

## О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Человек — главный предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает или старается выразить. А человек любит выражать, обнаруживать себя. Понятно его побуждение: мы любим понимать себя и стараемся, чтобы и другие понимали нас так же, как мы сами себе представляемся.

Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и чрез которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, через которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет человек, выразительна не менее его наружности. Его платье, фасад дома, который он себе строит, вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, все этого говорит про него и прежде всего говорит ему самому, кто он и зачем существует или желает существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать другим, что он понимает, что он за человек.

Обстановку, какой окружает себя человек дома и в какой он выходит на улицу, вид, в каком он появляется в обществе, художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть наблюдать. На это есть свои правила и приметы. Когда вы входите в кабинет к человеку со средствами, у которого все просто и опрятно, по стенам ни одной картинке, на столе ни одной фотографии, никакой

блестящей безделки и даже лампа какая-то матовая, будьте уверены, что перед вами человек замкнутый, но доброжелательный, очень мало интересующийся вами при первой встрече, но человек с подвижным и сильным воображением, не нуждающийся во внешних возбуждениях, и по вашему уходу он мысленно сделает из вас что угодно, вылепит какой угодно идеал, и уж непременно запомнит вас надолго, если только вы оставили в нем сколько-нибудь благоприятное впечатление. Я раз пришел к очень богатому барину. В маленьком кабинете на антресолях его собственного дома я заметил несколько худеньких стульев, кожаный сильно просиженный рваный диван, небольшой письменный стол на курьих ножках, с озеровидными пятнами на потертом зеленом сукне. Человек в опрятном фраке и безукоризненных белых перчатках на дорогом подносе поставил на стол кофе и при этом передвинул стоявшие на нем два подсвечника: тут я заметил, что это были бронзовые подсвечники старинной работы, ценное качество которой без труда почувствовал даже мой несведущий в таких вещах глаз. Мы долго и оживленно говорили о предмете, сильно его занимавшем, он с видимым любопытством меня выслушивал, при прощанье крепко жал мне руку за полученные сведения, а через неделю в гостях не узнал меня. Есть люди, которые любят щеголять нарядными драгоценными рубищами, чтобы заставить людей запомнить себя, и забывают о собеседнике тотчас, как только расстаются с ним.

Человек украшает то, в чем живет его сердце, во что кладет он свою душу, свои умственные и нравственные усилия. Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо. В древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои недостатки. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных домиков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов. В 1289 г. умирал на Волыни в местечке Любомли Владимир Ва-

сильевич, очень богатый, могущественный и образованный для своего времени князь, построивший несколько городов и множество церквей, украшавший церкви и монастыри дорогими коваными иконами с жемчугом, серебряными сосудами, золотом шитыми бархатными завесами и книгами в золотых и серебряных окладах. Он умирал от продолжительной и тяжелой болезни, во время которой лежал в своих хоромах *на полу на соломе*. Или возьмем жившего немного позднее московского князя Ивана Даниловича Калиту. Это был один из самых сильных и богатых князей, если не сильнейший и богатейший князь Северной Руси в начале XIV в., отличавшийся притом большим скопидомством, а между тем, перечисляя в своей первой духовной грамоте (не позднее 1328 г.) наиболее ценную домашнюю движимость, которую он оставлял своим наследницам, он прописывает 12 золотых цепей, 9 поясов золотых и несколько серебряных, 1 женское ожерелье, одно монисто, 14 женских обручей, 1 чело, 1 гривну, 7 кожухов и кафтанов, 1 золотую шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд и другой посуды золотой и серебряной и 1 золотую коробочку — все это, как видите, можно уложить в один порядочный сундук.

Теперь обстановка и убор человека далеко не имеют того значения, какое они имели в старые времена. Современный человек обставляет и убирает себя по своим понятиям и вкусам, по своему взгляду на жизнь и на себя, по той цене, какую он дает самому себе и людскому мнению о себе. Современный человек в своей обстановке и уборе ищет самого себя или показывает себя другим, афиширует, выставляет свою личность и потому заботится о том, чтобы все, чем он себя окружает и убирает, шло ему к лицу. Если исключить редких чудаков, мы обыкновенно стараемся окружить и выставить себя в лучшем виде, показаться себе самим и другим даже лучше, чем мы на самом деле. Вы скажете: это суетность, тщеславие, притворство. Так, совершенно так. Только позвольте обратить ваше внимание на два очень симпатичные побуждения. Во-первых, стараясь показаться себе самим лучше, чем мы на деле, мы этим обнаруживаем стремление к самоусовершенствованию, показываем, что хотя мы и не то, чем хотим казаться, но желали бы стать тем, чем притворяемся. А во-вторых, этим притворством мы хотим понравиться свету, произвести наилучшее впечатление на общество, т. е. выражаем уважение к людскому мнению, свидетельствуем почте-

ние к ближнему, следовательно, заботимся об умножении удобств и приятностей общежития, стараемся увеличивать в нем количество приятных впечатлений. Видимая суетность и тщеславие становится вспомогательным средством или орудием альтруизма. Конечно, мы улыбаемся при виде иной дамы в пожилых летах и с юным сердцем, которая любит рядиться в молодые цвета. Но вы отдадите справедливость ее доброму намерению: скрывая свой пожилой возраст, она ведь отклоняет вас от мысли о неприятности, которая ждет и каждого из вас.

В старые времена личности не позволялось быть столь свободной и откровенной. Лицо тонуло в обществе, в словесии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения. Над личными вкусами и понятиями, даже над личными доблестями царили общеобразовательное приличие, общепризнанный обычай. В древней Греции даже честным и даровитым позволялось...<sup>1</sup> В настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I или по меньшей мере Бисмарка, хотя в кармане у него балльная книжка, где всё двойка, двойка и двойка; встречаешь порой и гимназистку, особенно в очках, что теперь не редкость, которая смотрит императрицей Екатериной II или даже самой Жорж Занд, хотя это просто Машенька Гусева с Зацепы и больше ничего. Теперь такие несвойственные возрасту и положению выражения величия вызывают только веселую улыбку, а в старину они навлекли бы строгое внушение. В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека, в значительной мере имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянии костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе — он должен был иметь властные жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидать с себя торжественного костюма, хотя бы все это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским — поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-Воротынски, а стал монахом — так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не

<sup>1</sup> Фраза не окончена.— *Ред.*



рассыпай по встречным и поперечным. Словом, назвался груздем, так полезай в кузов.

Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногойском аргамеке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он — столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но не родовитый князь Пожарский. Появись он на улице кой-как, за просто, в растрепанном виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных, как смутились бы молящиеся в соборном храме, если бы при полном праздничном освещении, среди всего церковного благолепия из царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах.

Припоминаю один давний случай. Давали благотворительный концерт с участием какой-то дивы и с очень повышенными ценами. В первом ряду сидел в блестящих мундирах, фраках и туалетах цвет местного общества. К распорядителю, принимавшему у входа билеты, подходит скромно одетая и с скромным видом дама и подает один из первых номеров. Подозрительный и неловкий распорядитель посмотрел на билет, потом на даму, потом опять на билет и имел неосторожность спросить: позвольте узнать, как ваша фамилия? — Княгиня такая-то, тихо ответила дама, выговорив такую фамилию, от которой у распорядителя зарябило в глазах, и он, растерянно извиняясь, повел ее к первому ряду, который встал весь при ее появлении. В старые времена житейская обстановка предотвращала подобные недоразумения. Отдельные лица прятались за типами; внешними признаками резко отмечались и различались целые классы людей, общественные состояния, а классы, состояния рассматривались не как простые случайности рождения или капризы счастья, а как естественные нормы жизни или предначертания всем правящей всевышней десницы: кому что на роду написано, судьба.

Если вы потрудитесь вникнуть в логику такого исторического разума гения, который строил формы и отношения людского общежития, вам не покажутся странными некоторые явления старинной русской жизни, с которыми вы можете встретиться, изучая русские исторические памятники

для своих художественных композиций. Столь известная в истории раскола, небезызвестная в русской живописи Федосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, была большая московская боярыня времен царя Алексея Михайловича. Она была замужем за родным братом боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя и свояка этого царя, и обладала огромным богатством: у ней было 8 тыс. душ крестьян; дома ей прислуживало человек 300 челяди; в доме у нее всякого добра было больше чем на 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> миллиона рублей на нынешние деньги. После, когда ей пришлось встать за благочестие, хотя и ложно понятое, за то, что она считала старой истинной верой, за двуперстие и сугубую аллилуйю, она показала, как она мало дорожит всеми дарованными ей житейскими благами и честью при дворе и золоченой кроватью дома, не побоялась ни допросов, ни сырого боровского подземелья, куда ее посадили. А посмотрите, как она, оставшись молодой вдовой, в «смирном образе», по-нашему в трауре, выезжала из дома: ее сажали в дорогую карету, украшенную серебром и мозаикой, в шесть или двенадцать лошадей, с гремющими цепями; за нею шло слуг, рабов и рабынь человек со сто, а при особенно торжественном поезде с двести и триста, оберегая честь и здоровье своей государыни-матушки. Царица ассирийская да и только, скажете вы,— раба суеверного и тщеславного пышного века! Хорошо. Перейдем к концу XVIII столетия, в век Вольтера, Руссо и императрицы Екатерины II, в эпоху разума, свободы, равенства и естественной простоты, когда под горячими лучами разгоревшейся человеческой мысли таяли людские суеверия и предрассудки. Вице-канцлер Екатерины II граф Иван Андреевич Остерман был сын любимца Петра Великого барона Андрея Ивановича Остермана. Этот вице-канцлер был образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости. На святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими стеклами, точно фонарь на шестерке белых лошадей; на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из-под которых выглядывали казакины с серебряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина; перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в щегольских чулках и баш-

маках, какая бы ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало бы народному гулянию характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено веселым хохотом. Сто лет назад эту процессию столичная толпа встречала с обнаженными головами и почтительным шепотом: «Его сиятельство граф Остерман едет!»

Конечно, и в современной жизни много условного, ненужного для прямых целей общежития, но удобного для прикрытия его недостатков. Люди, которым приходится видаться, но не о чем говорить, поневоле говорят о политике и погоде, чтобы не смотреть молча в глаза друг другу. Но эти условности, еще удержавшиеся в жизни по привычке или необходимости, эти переживания быстро теряют свою обязательность в общем сознании или в общественном мнении. Все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения. Мы улыбнемся при виде вороны в павлиньих перьях, но едва ли осудим ее в душе — за что? Если она умеет носить их прилично и не задевая ими простых неукрашенных ворон. В старые времена, при других понятиях и нравах, такая своеобычность была менее удобна и, во-первых, не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми — таково было общее правило.

Известно, что в древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и таким образом сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных. Но духовенство не благоволило к обычаю, подозревая в нем иные, худшие побуждения. Однако были софисты, которые замысловато оправдывали этот обычай. Вот что случилось в 1653 г. в доме муромского воеводы. В праздник собрались к нему гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку: так что ж, что белится? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный о. Логгин жестко возразил: да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится. Однако от воеводы полетел в Москву донос к патриарху, что-

де муромский протопоп Логгин хулит иконы. Один иноземец, бывший в Москве при царе Михаиле, рассказывает, что одна красивая московская боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на нее: она осрамить нас вздумала: «Я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и чрез мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и ты, подобно нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии. Будь как все, шагай в ногу со всеми. Вот характерная нравоописательная картинка из записок известного московского подьячего времен царя Алексея Михайловича. «В домах своих живут они смотря по чину и общественному весу каждого, вообще же без особенных удобств. Малочинному приказному человеку нельзя построить хорошего дома: оболгут перед царем, что-де взяточник, мздоимец, казнокрад, и много хлопот наделают тому человеку, пошлют на службу, которой исполнить нельзя, инструкцию такую напишут, что ничего не поймешь, и непременно упекут под суд, а там — батоги и казенное взыскание, продажа движимого и недвижимого с публичного торга. А ежели торговый человек или крестьянин необычно хорошо обстроится, ему податей навалят. И потому, — заключает Котошихин, — люди Московского государства домами живут не гораздо устроенными и города и слободы у них неблагоустроенные же».

Впрочем, свобода убора и обстановки стеснялась не одной людской зависимостью, но и соображениями благочиния и благоустройства. При тогдашних нравах свобода могла повести и приводила к вредным излишествам и чудачествам, рассказами о которых так обильны наши предания о добрых старых временах. Правительство тогда считало своим долгом отечески опекать подданных и во имя общественной дисциплины вмешиваться в их частную жизнь. У нас, как и в других странах, к этой цели было направлено целое законодательство о платье и роскоши. Еще в прошедшем столетии у нас запрещался ввоз из-за границы некоторых дорогих материй и других предметов роскоши. Закон хотел сделать из людской слабости поощрение к труду, к образованию и общественному служению, из личной суетности и тщеславия средство общественного порядка, щегольство превратить в стимул гражданского чувства. Обстановка должна была стать не просто выставкой богатства, но и отметкой общественного положения, социального распорядка лиц, знаком отличия за уменье вести дела и за заслуги обществу и государству. Хочешь блеснуть перед людьми, доставить себе удовольствие, кольнуть их завистливые глаза своей персоной, ливреей лакея или упряж-

кой — приобрести на это установленный патент трудолюбием и искусством да и делай это разумно и осторожно, чтобы люди не посмеялись и над тобой, и над тем, кто патентовал тебе привилегию колоть им глаза своей персоной или упряжкой. Раскройте жалованную грамоту императрицы Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи: вы найдете там ряд статей о том, как могли по закону выезжать люди разных городских состояний. Городское население по грамоте делилось на именитых граждан, на купечество трех гильдий, на цеховых ремесленников и простых рабочих. Эти звания приобретались городской общественной службой, образованием, искусством и размером капитала, т. е. величиной платимого с него в казну процентного сбора, значит, трудолюбием, талантом, услугами обществу и государству. Грамота прямо говорит, что «название городских обывателей есть следствие трудолюбия и добронравия, чем и приобрели отличное состояние». Так к высшему состоянию именитых граждан причислились наравне с крупнейшими капиталистами ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники четырех художеств, именно архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители также с академическими аттестатами «и по испытаниям главных российских училищ признанные таковыми». И вот что мы читаем в грамоте о правах выезда для лиц высших городских состояний: именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парюю и четвернею; купцам первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете только парюю, купцам второй — в коляске парюю, третьей же гильдии запрещается ездить в карете и впрягать зимою и летом больше одной лошади; то же и цеховым ремесленникам или мещанам.

Но довольно, господа! Теперь подсчитаем, до чего мы договорились. Я обещал сказать вам свое мнение о том, как надобно художнику смотреть на обстановку и убор изображаемых им лиц. Этот взгляд устанавливается различным значением обстановки и убора в прежние времена и теперь, иначе говоря, историческим значением этих житейских подробностей. Это различие в свою очередь зависит от неодинакового отношения лица к обществу теперь и в прежние времена. Теперь человек старается сознавать и чувствовать себя свободной цельной единицей общества, которая живет для себя и даже свою деятельность на пользу общества рассматривает как свободное проявление своей личной потребности быть полезным для других. Согласно с этим он подбирает себе, разумеется, в пределах своих средств, обстановку и убор

по своим личным вкусам и понятиям, по своему взгляду на жизнь, на людей и на себя. Все, что мы видим на современном человеке и около него, — есть его автобиография и самохарактеристика, так сказать. Мода, общепринятый обычай, общеобязательное приличие указывают только границы личного вкуса и произвола. Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных, и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво автоматическом жужжании пчелиного улья. Люди прежних времен умели быть эгоистами не хуже нас, даже бывали чудаками и самодурами, какими не сумеем стать мы; но они менее нас умели быть оригинальными, без странностей, своеобразными и самобытными, без неудобных чудачеств, без потребности в полицейском надзоре. Потому в своей житейской обстановке, как и в своем наружном уборе, они были столь же мало своеобразны и изобретательны, как в своих чувствах и вкусах, повторяли общепринятые завитки, цвета и покрои, исторически сложившиеся, отцами и дедами завещанные. Теперь обстановка — есть характеристика личного настроения и положения человека, его средств и взгляда на свое отношение к обществу. Прежде она была выставкой его общественного положения, выражением не его взгляда на свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное положение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, а прежде — как его понимали другие, т. е. общество, в котором он жил. Отсюда следует, что, изображая современного человека, вы, разумеется, в указанных пределах общепризнаваемого обычая и приличия можете придумывать своему герою какую угодно обстановку, платье и прическу, лишь бы все это верно выражало его своеобразный характер, можете быть для него и портными и парикмахерами, только оставаясь художниками и психологами. Но в изображении стародавних людей художник обязан быть историком, окружать и убирать его, как тогда все себя окружали и убирали, хотя бы это окружение и этот убор и не согласовались с характером изображаемого лица.

---

# ИСТОРИКИ ОТЕЧЕСТВА

И. Н. БОЛТИН

(умер 6 октября 1792 г.)

Сто лет прошло со смерти Болтина. Имя этого русского историка давно забыто, а его труды по русской истории перестали читать, кажется, даже раньше, чем перестали помнить имя их автора. Его тяжеловесные фолианты давно вышли из состава оборотной русской исторической литературы, которой питается русская любознательная публика, и отложены в запасный фонд русской историографии, до которого редко дотрагивается даже рука специалиста. Шлецер своим критическим исследованием о Несторе, изданным в начале нынешнего столетия, отодвинул Болтина от внимания исследователей отечественной истории, а Карамзин своим блестящим трудом закрыл его от глаз читающей русской публики. Но в свое время Болтин пользовался известностью как знаток русской истории. Сам надменный Шлецер, с немецким пренебрежением относившийся ко всем русским исследователям русской истории, для Болтина допускал исключение, признавая его единственным русским историком, кое-что смыслившим в истории своего отечества. Пользуясь столетнею годовщиной Болтина, можно вспомнить этого историка, и не столько его самого, сколько его время, те условия, при которых вырабатывалась историческая мысль этого писателя, не самого блестящего, но одного из самых умных и приятных русских писателей XVIII в. На поминках говорят не столько о самом покойнике, сколько о том, что любил он, а Болтин больше всего любил Россию своего времени.

Он был сам виноват в том, что его учено-литературная известность была так скоротечна. Прежде всего он сам слишком мало заботился о приобретении и упрочении такой известности.

Он не был ученым-историком по профессии. Его практическая деятельность шла вдали от летописей и архивов: начав службу рядовым конногвардейского полка, он продолжал ее чиновником таможенного ведомства и кончил генерал-майором и членом военной коллегии. К этому надобно прибавить, что Болтин был деловитым и добросовестным служакой, а потому не располагал большим досугом. Но он находил время учиться, много читал и с особенным прилежанием собирал втихомолку сведения по русской истории, считая знакомство с родною стариной нравственною обязанностью образованного человека. Русскому образованному человеку того времени было гораздо труднее исполнить эту обязанность, чем теперь: тогда это не значило выслушать курс русской истории в высшем учебном заведении или прочесть несколько популярных сочинений по этому предмету. Тогда надобно было самому кропотливо собирать источники и разбираться в них, запасаться вспомогательными средствами для их чтения и истолкования, наводить мелочные справки; в то время, чтобы быть студентом русской истории, необходимо было стать для самого себя профессором этого предмета.

Правда, тогда существовали уже два важные пособия, значительно облегчавшие труд изучения отечественной истории. Одно из них состояло в появлении любительских собраний отечественных древностей. В наше время занимающемуся изучением русской истории открыто много казенных и общественных древлехранилищ, музеев и архивов, в которых собраны разнообразные памятники русской старины, письменные и вещественные; есть и частные богатые коллекции, любезные владельцы которых радушно делятся своими сокровищами с теми, кто в них нуждается. В прошедшем столетии собрания первого рода были неизвестны или трудно доступны, а последние очень редки. Было богатое собрание рукописей по русской истории у отца русской научной историографии В. Н. Татищева, но оно сгорело вскоре по смерти владельца в его подмосковном имении (умер в 1750 г.). Известный академик и историограф Миллер также скопил обильный запас рукописных материалов по русской истории, который был куплен императрицей Екатериной II и вошел в состав московского архива Министрства иностранных дел. Много старинных рукописей и бумаг осталось после комиссара и подрядчика времен Петра I Крекшина, пытавшегося описать жизнь преобразователя и долго собиравшего материалы для его истории. Эти рукописи и бумаги были потом куплены А. И. Мусиным-Пушкиным и вошли в состав его драгоценной рукописной



библиотеки, той библиотеки, гибель которой в московский пожар 1812 г. никогда не перестанет вызывать тяжелый вздох из груди всякого, кто не считает изучение русской истории бесполезным делом. Этот самый граф Мусин-Пушкин, церемониймейстер двора, а потом обер-прокурор св. Синода и президент академии художеств, был типическим представителем образовавшегося в царствование Екатерины II кружка «любителей отечественной истории», как они сами себя называли.

Это коллекционное любительство и надобно признать вторым важным пособием, много содействовавшим успешному изучению русской истории во второй половине прошлого столетия. Немного странно ставить наклонность к собиранию памятников родной старины, спорт своего рода, в числе научных исторических пособий наряду с географическими картами, указателями, словарями и т. п. Но эта наклонность у Мусина-Пушкина и его ученых друзей осложнялась такими качествами, соединена была с такими задачами, благодаря которым не грешно было бы назвать простым спортом. Эта наклонность поддерживалась в них таким взглядом на дело и такою любовью к нему, которыми они умели до некоторой степени восполнять недостаток технических пособий и одолевать научные затруднения, какие ставил этот недостаток изучению отечественной истории. Их антикварский дилетантизм поддерживался побуждениями, не похожими на те, коими руководились Татищев и Миллер. Эти последние имели в виду цели практического или профессионального свойства. Первый из них, деловой человек суровой петровской школы, горный чиновник-золотоискатель, а потом губернатор, приведен был к собиранию и ученой обработке материалов для истории и географии России государственною нуждой, административною потребностью в исторических и географических справках. Для второго эта работа была делом по долгу службы, как русского академика и историографа по штатной должности с окладом. В любителях русской старины, подобных Мусину-Пушкину, можно заметить некоторую родственную связь с практическим взглядом Татищева на дело: и они видели в своем занятии служение на пользу отечества. Но, как занятие добровольное, не положенное в число штатных обязанностей русского гражданина, оно соединено было с неприятностями и требовало некоторой доли самоотвержения, гражданского мужества. Не говорим о том, что такой любитель-коллекционер на каждом шагу подвергался опасности потратить даром время и деньги, впасть в забавную погрешность по самой новости дела, по недостатку технических посо-

бий. В образованном русском обществе того времени оставалось еще немало людей, не умевших растолковать себе смысла этого патриотическо-археологического донкихотства. Они видели в этом занятии досужую затею, привлекательную разве только по своей бесспорной ненужности, и, слыша о жертвах, приносимых этому странному делу, разводили руками с таким же комичным удивлением, с каким встретили бы мы газетное известие о спортсмене, решившемся проползти ничком от Москвы до Петербурга. Зато и наши спортсмены «родной старины» мстили своим насмешникам самым беспощадным христианским великодушием: они не только весело, без ненависти и злости шли по саркастическому терновнику, которым усыпали их плохо протоптанный путь, но даже находили досуг выражать сожаление о людях, которые принимали на себя неблагодарный и непосильный труд смеяться над ними. Так, Мусин-Пушкин, говоря в одном из своих ученых изданий о людях модного французского воспитания, тех самых людях, которые особенно ядовито глумились над любителями старины и более всего отечественной старины, с непритворною жалостью скорбит о том, что, привыкши просыпаться за полдень, никогда не видали они красоты солнечного восхода и не испытали удовольствия слушать утреннее божие славословие. Это были превосходные живые сюжеты для тогдашнего водевиля; но они нисколько не боялись опасности увидеть в театре самих себя из партера на сцене. Такой счастливый характер, надобно думать, вырабатывался в них при помощи их своеобразного отношения к предмету своей охоты: в свою возню с манускриптами они вносили такой взгляд на дело или, выражаясь любимым словечком их же собственного изделия, такое «умоначертание», которое помогало им не только побеждать технические трудности чтения и разумения древних летописей и актов, но даже понимать и ценить столь обветшалое и отсталое нравственное и политическое миросозерцание, какое светится сквозь неуклюжие и неразборчивые строки этих незанимательных для тогдашнего философского ума и сердца произведений отжившего суеверия и произвола. Эти археологические Плюшкины были не простые любители-собиратели от скуки или по дурной привычке, а набожные поклонники отечественной старины; собирание древнего письменного тряпья и металлического хлама было для них не развлечением от нечего делать, а делом пиетета, нравственно-патриотического влечения, одним из способов служения человечеству, как тогда любили говорить. Среди пыльной ветоши, уцелевшей от родной старины наперекор времени

и назло тогдашним абстрактным инженерам будущего, для наших наивных и конкретных любителей старины не было вещей нужных и ненужных, памятников более важных и менее важных: всякая древняя русская рукопись, всякая древняя монета, найденная в пределах России, еще прежде, чем они успевали ее прочесть и обследовать, самим своим видом, каждая по-своему, вещала им о родной старине, была наглядным и осязательным выражением ее духа. На их благоговейный археофильский взгляд, эти ветхие хартии и свитки в своих таинственных складках хранили то, что выветрилось из легкомысленных современных умов и сердец, — добрые обычаи старины, «отцов наших почтенные нравы», черты самобытного национального характера. Это не могильные памятники с печальными надписями об угасшей жизни; это молчаливые сторожа, оставленные при народном сокровище на время иноземного нашествия и ждущие возврата хозяина — русского национального самосознания. Наши любители, кажется, и на самих себя начинали смотреть тоже как на сторожей, представленных оберегать собираемые ими памятники до появления историографа, который бы по ним достойно воссоздал историю отечества. Не считая себя призванными к такому делу, они относились довольно платонически к вещам, которыми они так дорожили. Внимательно рассматривая скопидомно собираемые ими рукописи, «извлекая из-под спуда кроющиеся в них и свету неизвестные древности нашей отрывки», они обогащали свои исторические познания и при этом на каждом шагу встречали любопытные новости, иногда делали и капитальные открытия, от которых затуманились бы глаза у современного специалиста. находка Мусиным-Пушкиным *Слова о полку Игореве*, изданного им в 1800 г., была блестящим завершением патриотических усилий наших антиквариетв-любителей XVIII в. Но это были сдержанные открыватели, не спешившие выставлять напоказ свои архивные Америкы; они вообще мало и осторожно издавали, особенно под своими именами, еще меньше печатали ученых исследований, довольствуясь комментариями издаваемых памятников. Это не уменьшает огромной услуги, оказанной ими русской историографии: они сберегли много драгоценных памятников нашей старины, возбуждали интерес к ней в равнодушном к предметам подобного рода обществе, и каким бы досужим бездельем ни казались еще многим в этом обществе их археологические хлопоты, они своим влиятельным положением в свете ободряли более робких и не так благоприятно поставленных работников. Вспомнить о них — значит пожалеть, что их уж нет.

Такое отношение к памятникам старины не могло не оказать действия на направление и задачи исторического их изучения, говоря точнее, это отношение само устанавливалось теми же задачами, какие ставили себе патриоты-любители при этом изучении. Отечественная история не была для них только предметом научной любознательности; они искали в ней ответов на живые практические запросы и нужды текущей жизни, надеялись найти в ней восполнение того, чего, по их мнению, недоставало современному русскому обществу. Таким образом, их любопытство вполне органическим стимулом входило в состав общего взгляда, какой к концу XVIII в. установился в тесном кругу русских образованных людей на русскую историю, на задачи и приемы изучения русского прошлого и на отношение этого прошлого к современному положению вещей.

Обдуманное и своеобразное выражение этого взгляда находим в сочинениях Болтина. Он сам принадлежал к числу описанных любителей и был одним из наиболее видных по уму и образованию людей в их кругу. Довольно трудно рассказать, каким процессом мысли и изучения выработался у него этот взгляд. У него заметно еще меньше писательского нетерпения, чем у других подобных ему любителей того времени. Он не был охотником выставлять свои ученые занятия напоказ, предпочитая вести их втихомолку, хотя и любил вместе с другими провозглашать, что извлечь из-под спуда неизвестные свету остатки русской древности — значит «услужить отечеству». До преклонных лет он, по-видимому, все еще считал себя учеником, все готовился. Некоторые вскрывшиеся потом следы этой подготовки показывают, как он тяжело вооружался. Объездив чуть не всю Россию, везде ко всему прислушиваясь и присматриваясь, изучая нравы, обычаи, костюмы, говоры, промыслы и общественные отношения, он в то же время «чрез многие лета в отечественной истории упражняясь», делал выписки из русских летописей, грамот и других сочинений, составлял общий географический словарь России, изучал язык памятников древнерусской письменности и начал составлять толковый славяно-русский словарь. Вместе со светскими людьми модного французского воспитания он усердно читал наиболее популярных писателей новой французской литературы: Бэйля, Вольтера, Монтескье, Мерсье, Рейналя, Руссо и других, и в то же время изучал более старых и даже средневековых западных историков и публицистов: Лорьера, Конринга, Шопена, Буше, Клеманжи, Бомануара, не исключая и писавших по-латыни Бодена с его

*Методом* и Потгизера (*De conditione et statu servorum apud Germanos*). По усвоенной смолоду привычке делать выписки из читаемой книги, рукописи, документа Болтин накопил себе путем разнообразного и усидчивого многолетнего чтения огромный запас бумажного материала; после него осталось до ста связок разных его рукописей, которые куплены были Екатериной II. В числе этих бумаг оказался даже сделанный Болтиным и собственноручно перебеленный перевод французской энциклопедии. Что цельного могло выработаться из такого разнообразного изучения и какое научное или практическое употребление надеялся Болтин сделать из своего запаса цитат, переводов, заметок, записок, житейских наблюдений, исторических анекдотов? Он вел работы для себя, «для собственного моего удовольствия», по его признанию, руководясь своею личною любознательностью и не ставя себе никакой определенной учено-литературной цели. Но он был слишком умен, рассудителен и практичен, притом до самой смерти слишком занят по службе, чтобы стать бесцельным кабинетным мешком книжной всякой всячины, уличным коробейником своего настольного любимца Бэйлева словаря или праздным салонным разносчиком пикантных идей французских энциклопедистов. Эти разносторонние изучения и наблюдения должны были объединяться какою-нибудь более серьезною целью или по крайней мере разумным побуждением, которое и вскрылось случайно. Когда Болтину неожиданно для него самого пришлось мобилизовать для литературной полемики разнообразные исторические, географические, этнографические и другие познания, они у него оказались в готовности и обдуманно и искусно направлены были к одной цели, к возможно многостороннему и глубокому уяснению памятников и смысла отечественной старины и ее связи с настоящим состоянием России. Стало быть, эти сведения заготавливались и обрабатывались с тою же целью, хотя при этом и не имелось в виду, что какой-нибудь иностранец Леклерк заставит взяться за перо и привести весь заготовленный арсенал в боевое печатное движение. В Болтине по его характеру и «умоначертанию» при той обстановке, в какой он вращался, и без иностранца Леклерка могла родиться потребность в историческом изучении, направленном к такой цели. В самом русском обществе, как и в русской литературе того времени, стоял такой хаос исторических, политических, моралистических и разных других суждений, увлечений и недоразумений, от которого у размышляющего и восприимчивого человека могла закружиться голова и заколебаться почва под ногами, и у рассудительного

патриота само собою рождалось желание собственными усилиями приобрести твердую точку опоры среди этого вавилонского столпотворения и отдать себе отчет в том, что творится вокруг, откуда все это пошло и как все это привести в порядок. Нравственно-патриотическая потребность приобрести возможную устойчивость, говоря его словами, «в защищении правды и отечества» от кривых или спутанных толков, раздававшихся вокруг, заставила Болтина приняться за разностороннее историческое изучение «для собственного удовольствия», не помышляя об ученом авторитете. Он хотел освоиться с прошедшим и настоящим России, с прошедшим и настоящим Западной Европы; как военный человек, он считал необходимым для усиления своей боевой готовности привести себя в состояние становиться фронтом на все четыре стороны, но главный его фронт был обращен в сторону отечественной старины, наименее укрепленную и подвергавшуюся наиболее отважным нападкам со стороны «напоенных сенским воздухом гг. наших полуфранцузов», как выразился Н. И. Новиков. На этой оборонительной линии Болтин хотел приобрести полную самостоятельность, черпать научные средства из самых источников и не боялся неопытной работы их очистки, собирал и сличал летописи, проверял и восстанавливал тексты, толковал темные слова и обороты древнего языка. При сходстве интересов и понятий он сблизился с Мусиным-Пушкиным, «крайним древностей наших любителем», как он его называл, и засиживался в богатой рукописной библиотеке своего приятеля, торопливо просматривая надписи и почерк рукописей. Скрытая грусть звучит в его словах, когда он за три года до своей смерти писал, полемизируя с кн. Щербатовым, что не имел еще времени прочесть все эти заманчивые редкости, обещающие много важных открытий, как бы предчувствуя, что он уже не успеет это сделать.

Болтин пользовался авторитетом глубокого знатока русской истории среди людей, его знавших и интересовавшихся этим предметом. К нему обращались за указаниями, спрашивали о его мнениях; сама императрица пользовалась его содействием в своих занятиях русскою историей и даже отдавала на его суровый суд то, что она, по ее выражению, «марала по истории» (*que je griffonnais sur l'histoire*). Но ему было уже 50 лет, а в русской литературе еще не появлялось прямых следов, накопленных его многолетними трудами исторических знаний. Вероятно, эти знания вместе с ним и умерли бы, если бы с 1783 г. не начала издаваться в Париже под пышным заглавием *История древней и новой России* некоего Леклерка.

Не случилось ничего особенного: французский врач по профессии и русский педагог, даже почетный член русской Академии наук, по игре случая, по авантюре, чувствительный поэт и аферист, немножко Дон-Кихот и немножко Хлестаков, Леклерк перехватил наскоро несколько известий у своего соотечественника Левека и несколько у русских своих корреспондентов, в том числе у кн. Щербатова, и, сказав, как умел, сообщенное ему и им прочитанное, смастерил из всего этого многотомную книгу, в которой обещал изложить все-стороннюю историю России, т. е. дал читателю кучу «всякой всячины», как выразился Болтин. Между прочим, новый историк наговорил немало обидных вещей для русского национального самолюбия и наделал много новых ошибок, которых не успели еще сделать другие историки России. Все это было в порядке вещей: к иностранным щипкам национального самолюбия давно уже привыкло русское общество, а в сфере новых ошибок за иностранными повествователями о России и тогда признавалось, как признается теперь, право на бесконечные новизны и открытия. Это право еще до Леклерка было подтверждено Вольтером, который на запрос, зачем он в своей книжке о Петре Великом искажил доставленные ему из России материалы, отвечал, что он не привык слепо списывать со всего, что ему присылают, что у него есть свой взгляд. Однако ворчливый старик Болтин, читая «лжи и клеветы» Леклерка на Россию, вскипятился не хуже набожного старообрядца, у которого в моленной накурили табаком, и он вознегодовал не столько на французского курильщика, сколько на нечестивый смрад, им напущенный. Он принялся писать критические примечания и писал их для себя, для удовлетворения своего возмущенного чувства, не помышляя об их издании; но, говорят, кн. Потемкин и другие приятели критика уговорили его приготовить разбор книги Леклерка к печати, а императрица в 1788 г. на свой счет издала этот труд в двух томах. Один из корреспондентов Леклерка, кн. Щербатов, сам автор обширной истории России, почувствовал себя задетым критикой Болтина и возражал. Болтин отвечал, и загорелась полемика, следствием которой были новые два тома критических примечаний Болтина на первые томы истории кн. Щербатова.

Остается поблагодарить «дерзкого клеветника и сущего враля», как не совсем учтиво величает сердитый генерал-майор своего противника: свою легкомысленную болтовней заносный историограф заставил туземного знатока выйти из его любительского молчания и выступить с готовым цельным и стройным взглядом на прошедшее и настоящее России,

т. е. с такою новостью, которая едва ли не впервые появлялась в нашей литературе с выходом толстых книг Болтина в четвертую долю листа. Но этому взгляду по самому характеру своего труда критик не мог придать цельного изложения, высказывал его по частям, осколками, когда разбираемая книга давала к тому повод. Только собирая и склеивая эти разбросанные в разных местах осколки, можно восстановить цельность и стройность исторических воззрений Болтина, впрочем, со значительными недомолвками и пробелами, которые можно восполнить только догадками.

Этот взгляд имел самую тесную связь с ходом просвещения в России XVIII в. и, рассматриваемый отдельно от него, покажется совершенно неожиданным. В самом деле, человек, имевший европейское образование, черпавший знание и идеи из тех же источников, которыми питались тогдашние русские вольтерьянцы, этот самый человек высказывал воззрения, очень близкие ко взглядам его противника кн. Щербатова, только без сентиментальности последнего. Болтин нередко выступает одним из тогдашних стародумов допетровского закала, своего рода боковым предком славянофильства,— и это со своим любимым словарем Бэйля в руках!

Такие кажущиеся несообразности в явлениях русского просвещения XVIII в. происходили оттого, что русский просвещенный человек того века при видимой своей педагогической простоте и элементарности был очень сложным умственным и нравственным составом, в который входили разные культурные элементы, притом в разнообразных сочетаниях, иногда очень досуже и замысловато придуманных. Прежде всего над этим составом много поработало законодательство, применяя его то к текущим практическим и притом материальным нуждам государства, то к отвлеченным воззрениям законодателей, руководившихся лишь снисходительным вниманием к потребностям общества, а иногда вступавшим даже в открытую полемику с его понятиями и вкусами. Достаточно припомнить превосходный в своем роде *Устав шляхетского сухопутного кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского юношества 1766 г.* с сопровождающими его педагогическими трактатами, чтобы видеть, каким сложным санитарно-морально-дидактическим процессом надеялись тогдашние руководители воспитания «вкоренить в нежные сердца добронравие и любовь к трудам, словом, новым воспитанием новое бытие нам даровать и новый род подданных произвести». С своей стороны и русское общество приложило старание, чтобы еще более осложнить состав русского просвещения,



вводя в воспитание юношества если не прямо антилегальные, то внезаконные и большею частью решительно антипедагогические элементы и мотивы, например знакомя 12—13-летних недоросков с пикантными произведениями тогдашней французской литературы. Благодаря этому участию общества в воспитании своего юношества предписанные педагогические программы иногда получали такое практическое исполнение и приводили к таким наглядным результатам, к таким нравственным и умственным формациям, каких и не предвидел законодатель, и он уж, конечно, не начертал бы такой программы, если бы их предвидел. Законодательству не привыкать терпеть такие неудачи. Известно, какое трудное и великое дело составить удачный закон. «Не так легко писать законы, как для больных рецепты»,— ядовито замечает Болтин в одном месте Леклерку, коля ему глаза его ремеслом. Но двусторонняя рецептура русского просвещения XVIII в. не прошла легко и бесследно. Трудно объяснить, как это случилось, но можно заметить, что это просвещение начало плескаться в противоположные стороны, подобно беспорядочно взболтанной воде в мелком сосуде. В русском просвещенном обществе все заметнее выступали резкие крайности, несговорчивые контрасты, вытесняя переходные, уживчивые и житейски удобные комбинации; происходила своего рода поляризация просвещения. Взгляды обращались в противоположные стороны, потому что, как выразился один русский писатель начала XVII в. о своих современниках, каждый повертывался спиной к другому, и одни смотрели на восток, а другие на запад. Одни, познав просвещение, ничего уже не хотели знать, кроме просвещенных стран, и отворачивались от своего отечества, подобно сумароковскому петиметру, который и своего русского языка знать не хотел и жаловался, зачем он родился русским. Другие, наблюдая печальные плоды просвещения в современной действительности, отворачивались от нее и от самого просвещения и переселялись помыслами и чувствами в допетровскую старину, где искали добрых нравов и самобытных понятий и находили все это, находили и много такого, чего там не было, но чего искали. Русские полуфранцузы, ослепленные светом европейского просвещения, не видели уже ничего светлого в родной среде, и она в их глазах наполнялась непроглядною тьмой, а архирусские староверы мысли, насмотревшись на эти темные пятна современного просвещения, боязливо или брезгливо закрывали глаза и мысленно переносились в прошедшее; но свет бил и на их опущенные веки, и под его болезненным действием их исторические воспоминания превращались в фанта-

стические миражи. Так и западное просвещение, и русская действительность с обеих сторон терпели напраслину и становились без вины виноваты: первое — в том, что им не умели пользоваться и, вместо того чтобы освещать темные предметы, слепили их собственные глаза, а вторая — в том, что в ней искали того, чего не находили, или находили то, чего не желали.

Зрелище странного движения представило бы русское просвещенное общество, если бы составилось только из чистых западников и восточников, повернувшихся спинами друг к другу, среди многого множества людей непросвещенных, но тоже кое о чем размышлявших,— это общество лебедя, щуки и рака. К счастью, приблизительно с половины века, с того времени, когда сверстники Болтина выходили из детства, в это общество стали проникать или в нем самом пробивались новые течения, под влиянием которых оба господствовавшие в нем непримиримые типа просвещенных людей начали разлагаться и перерождаться, образуя новые культурные составы, между которыми стали возможны мирные встречи и обоюдные уступки. Прежде всего господство Бирона и немцев, нашествие «сатаны и аггелов его», по выражению елизаветинских церковных ораторов, вместе с внешними успехами России пробудили патриотическое одушевление, чувство народной гордости. Потом под накладные французские парики стали проникать новые заносные идеи, и их встречали там тем гостеприимнее, что они были землячки этих париков, приходили с тех же сенских берегов, на которых еще до их прихода поселились сердцем их новые послушные адепты. С одной стороны, «молодые кощуны, ненавидящие свое отечество», как их характеризовал потом Новиков, привыкшие пересмехать самые добродетели предков наших, под давлением патриотической возбуденности окружающих стали поджимать губы и внимательнее присматриваться к столь неожиданно для них ободрившейся отечественной действительности, а новые просветительные идеи, упавшие на бригадирских Иванушек как новая повинность светского приличия, вообще приневолили их серьезнее смотреть на вещи. Перед этим более серьезным взглядом все заметнее выступали пятна и в западном влиянии, и в проводившей его у нас реформе Петра, с которой западники вели бытие России и свое собственное. Скептическое отношение к Западной Европе овладевало даже такими людьми, которые по своему образованию не могли быть суеверными европеодами и сами много черпали из европейского культурного запаса для своего просвещения: подобно Фонвизину, они только и замечали

в Европе, что там-то «во всем генерально хуже нашего», а там-то «весьма много свинства» и т. п. С своей стороны, и идиллики родной старины стали благосклоннее относиться к людям модного воспитания, замечая в них зачатки серьезного мышления; начали трезвее смотреть на отечественную старину и на Западную Европу, а что было всего важнее, пришли наконец к той простой, но всегда трудноусвояемой мысли, что великие предки не могли совершенно выродиться в негодных потомков, не оставив достойных продолжателей своего дела, что старина живет в современной действительности. Так обе стороны сделали взаимные уступки: одни поступились несколько своими западными идеалами, другие — своими противоевропейскими антипатиями и археологическими иллюзиями, а те и другие вместе — своим общим равнодушием к настоящему положению отечества. Внимание к современной действительности, расширяясь и усложняясь новыми интересами и чувствами, постепенно выросло в любовь к отечеству. Эта любовь и послужила почвой, на которой враждебные воззрения могли встретиться мирно и понять друг друга. На страницах тогдашних журналов разыгрывались любопытные полемике и высказывались характерные признания. Так, в *Зрителе* 1792 г. западник из Орла, отвечая на упреки патриотов в наклонности унижать отечественное, пишет: «Вы душевно привязаны к своему отечеству, и я тоже. Как же одна причина могла произвести разные действия? А вот почему: вы любите его, как любовницу, а я — как друга». Когда противники заспорят о качестве своей привязанности к одному и тому же предмету, дело непременно кончится тем, что предмет общей привязанности сблизит и помирит соперников. Укоренившись на этой питательной почве, самые воззрения и настроения несколько переродились: если, с одной стороны, фетишистское поклонение Западной Европе стало сменяться почтительным отношением к западноевропейской науке, научную любознательность, то и, с другой — чувство народной гордости переходило в чувство нравственной связи с родным народом, самопрославление сменялось стремлением к самопознанию. Эти перемены в воззрениях и настроениях не могли не оказать прямого действия и на ход, задачи и приемы исторического изучения, особенно изучения отечественной истории. Мысль *открыть свету* древность и славные дела российского народа, в чем видел задачу русской историографии Ломоносов, теперь соединилась с потребностью *уяснить себе самим* ход и смысл своего прошлого; потребность написать достойную историю своего народа усложнилась мыслью о не-

обходимости прежде изучить ее основательно; наконец, нападки на русскую жизнь со стороны пробудили желание познакомиться для сравнения с историческою жизнью других стран.

Исторический взгляд Болтина вырос и воспитался на этой почве сближения и примирения враждовавших воззрений и настроений, и с этой стороны он сам по себе, помимо своих научных качеств, является выразительным признаком известного перелома в умах или известного уровня, до которого поднялось общественное сознание. Важно уже одно то, что это был *взгляд*, попытка составить себе ясное и отчетливое представление о целом предмете, которое, легко проникая в умственный оборот общества, незаметно направляло и исправляло ходячие мнения, будило общественную мысль, как несколько капель хорошего вина незаметно оживляют кровообращение.

Впрочем, мы поступили довольно произвольно, взявшись за определение особого *исторического* взгляда Болтина: такого *особого* взгляда у него не было. У него были убеждения и чувства религиозные, нравственные, политические, гражданские, в состав которых входили и известные исторические представления; но эти убеждения и чувства так органически срослись друг с другом при помощи единства своих оснований, а эти представления проходили через них такими неуловимыми нервными нитями, что их трудно разнять и расщипать на отдельные волокна. Его цельное «умоначертание» построено было так просто и неудобно, что его неудобно разгородить на мелкие клетки, по которым можно было бы разместить его понятия и правила, одни по категориям чистого мышления, другие по соображениям житейской мудрости. Потому и исторический взгляд Болтина трудно выделить из общей связи его воззрений. Обсуждая современную действительность, он ни на минуту не забывал истории, как, объясняя историческое явление, он не выпускал из глаз своего времени. У него были свои мысли, о прошедшем и настоящем России, как и свои чаяния о ее будущих судьбах. Но прошедшее и настоящее были для него только навязанные привычкой грамматические формы выражения непрерывного исторического процесса или оптические иллюзии, подобные впечатлению движущегося по небесному своду солнца. Трудно припомнить русского исторического писателя, который бы яснее сознавал, что старина живет в современном, и живее чувствовал в старине корни современного. Иногда он совершенно врасплох захватывает мысль читателя на далекой древности и ставит ее прямо перед каким-либо выразительным явлением своего времени, освещающим эту древность. Оспаривая мнение кн. Щербатова,

будто древние новгородцы вследствие своих торговых успехов и богатства привыкли к сластолюбию, Болтин утверждает, что торговля к сластолюбию не приучает, причем ссылается на пример торговых и воздержанных голландцев и тут же прибавляет: «Противное сему в самих себе обретаем, ни торговли, ни богатства не имея, в роскоши и сластолюбии всех богатейших народов превзошли». Тот же кн. Щербатов неловко рассказал о том, как Всеволод III, желая подкрепить против врагов своего приятеля и киевского посаженника Рюрика, потребовал у него себе несколько городов из его княжества. Вот отличный друг, возражает Болтин, и надежное средство к подкреплению: подобным образом ныне (писано в 1789—1790 гг.) прусский король предлагает Польше, видя ее изнеможение, чтобы она для умножения своих сил уступила ему Данциг и Торн. Эту цельностью взгляда объясняется калейдоскопическое разнообразие аргументации у Болтина; чего-чего только не встретишь в его полемическом арсенале, начиная элементарною истиной исторической азбуки и кончая последним словом тогдашней политической и исторической литературы: рядом идут у него общий исторический закон и наивный архаический обычай русского захолустья, трактат о причинах возвышения цен в России XVIII в., замечания о значении счастья и свободы и историческая справка о том, как понимают поцелуй у разных народов. Такая видимая хаотичность — обычный признак мирозерцаний, выработанных путем опыта и наблюдения на самом толоке жизни, а не в тишине закупоренного кабинета, где отвлеченным мышлением отливаются математические схемы, прозрачные и кристаллически правильные, как альпийские льды, но зато ломкие и холодные, как они же. У Болтина графическая размеренность воззрений заменялась живою подвижностью гибкого соображения; у него все было так слажено и пригнано одно к другому, что его сложный научный прибор легко приводился в движение; житейское наблюдение влекло за собой ряд исторических соображений, из которых сами собой, без видимой нажимки, выпадали научный вывод или практическое правило.

Может быть, исторические суждения Болтина в свое время потому и не произвели заслуженного впечатления, что их нельзя было оторвать от всего склада его мыслей и убеждений, а тогда таких сложных и цельных умственных и нравственных складов не любили или не понимали в русском обществе. Здесь в тот век было немало сильных, даже слишком сильных и прямолинейных характеров, подобных однополчанину и приятелю Болтина кн. Потемкину, но было большою редкостью

цельное миросозерцание. Вероятно, это происходило оттого, что сильные характеры создаются как-то природой или складом обстоятельств, а цельные миросозерцания — только внутренней личною работою человека над самим собой. Пародируя известную фразу Фигаро о графе Альмавиве, можно сказать, что в русском обществе XVIII в. умели родиться сильные люди, но не умели вырабатываться цельные умы. Всего труднее было в этом обществе, где давали тон «случайные» люди века, жившие день за день, мыслившие сами себя только минутными дождевыми пузырями, — всего труднее было вкоренить здесь мысль, что в истории нет ничего случайного и мир не творится вновь каждый день с восходом солнца, что эти постоянно лопающиеся пузыри возникают и исчезают по точному смыслу законов вековечного исторического процесса и эти безродные знаменитости, выкидываемые капризом фортуны на поверхность жизни, могут, буде того пожелают, умирать без потомства, но не сумеют обойтись без предков. Зато как раз по умственной мерке и даже по вкусу тогдашнему просвещенному русскому обществу приходился другой прием исторической методики Болтина. Это общество привыкло все русское мерить западноевропейской меркой и таким образом подготовилось к сравнительно-историческому взгляду на вещи, а такой взгляд был одним из принципов того «умоначертания», которого держались русские образованные люди болтинского образа мыслей. Только у них этот взгляд имел более сложное происхождение. Политические и исторические идеи просветительной литературы века в том составе, как они воспринимались просвещенными русскими людьми, поселяли в их сознании немало противоречий и недоразумений. Рационалистическая обработка и космополитическая тенденция этих идей располагали к таким отвлеченным построениям человеческого общежития, которые были столь же далеки от русской, как и от европейской действительности, являлись не выражением или поправкой, а подчас радикальным отрицанием и горьким осуждением существующего исторически сложившегося порядка. В этих новых воззрениях явственно выступали две мысли: 1) о закономерности исторического процесса и 2) о возможности построить, точнее, перестроить жизнь человечества по началам разума. Охотно усвоили себе эти мысли, но считали их несовместимыми и затруднялись их примирением, потому что в исторической закономерности видели нечто фаталистическое, следовательно, неразумное, а вечные начала разума не всегда достаточно отличали от капризного прожектерства разумников. При более углубленном

обсуждении предмета находили и внутреннее логическое согласие между этими видимо непримиримыми тезисами. Неразумная историческая действительность, если уж решено, что она неразумна, есть плод злоупотребления историческими силами, происходящего от непонимания их свойств и законов их действия, а может быть, и самая неразумность ее есть только наше недоразумение, подобное тому, как, не умея предостеречься от так называемых возмущений в физической природе, иногда с досадой считаем их отступлениями от физически закономерного или провиденциально направляемого порядка. Значит, неразумная действительность есть не более как плод нашего собственного неразумия или недоразумения, а разумная перестройка ее будет только восстановлением либо нормального закономерного действия исторических сил, либо правильного понимания действующего исторического порядка.

Боимся взвести напраслину на современных Болтину русских мыслителей, утверждая, что они предвосхитили гегелианское понимание разумности существующего; но что живущие люди своим неразумием могут испортить существование себе и своим ближайшим потомкам, это по крайней мере у Болтина высказывается не раз явственно и даже настойчиво. Эта мысль возможна только при ясном представлении о нормальном и разумном ходе вещей, а космополитические теории и рационалистические приемы мышления, помощью которых составилось это представление, сведены были русскими мыслителями к тому окончательному итогу, что закономерное и разумное развитие общества есть развитие естественное, непринужденное, согласное с условиями климата и почвы, следовательно, самобытное, не подгоняемое и не искривляемое искусственно сторонними влияниями. Так западноевропейская мысль дала нашим патриотам-мыслителям оружие против излишеств западноевропейского влияния, а когда последнее пыталось встать за свою оспариваемую монополию, новые неучтивые толчки, полученные от рассерженных завоевателей взбунтовавшеюся русскою мыслью, помогли ей продвинуться еще на шаг вперед в своей мятежной диалектике и захватить новые опорные пункты, сделать дальнейшие выводы из похищенного украдкой у западноевропейской философии тезиса. В этой самобытности и беда ваша, возражали обиженные учителя, потому что вы самобытны, как варвары, непричастные общей жизни просвещенного мира: для вас самих и всего человечества было бы выгоднее, если бы вы в меньшей мере обладали этой доблестью. Это возражение вызвало со стороны атакуемых особую тактику самообороны, целое на-

ционально-оборонительное мышление, оставившее некоторые следы в тогдашней и последующей литературе. Диалектическая схема этой апологетики была довольно проста. Заезжие наблюдатели в литературе и гостиницах, выписные гувернеры в учебных комнатах выражали: «Все у вас дурно, да ничего хорошего в России и не бывало, и вы только обезьяны, способные перенимать». Им отвечали: «А у вас во всем генерально хуже нашего, и мы больше люди, нежели вы». Так или почти так формулировалась сущность прений самими русскими полемистами. В наиболее наивной или запальчивой форме эта полемика очень походила на дипломатический обмен мыслей, бывающий между поссорившимися детьми, когда один маленький забияка угостит другого известным словом, на которое, по словам Гоголя, так щедр человек, а обиженный ответит ему: «Ты сам такой же».

В этой перебранке русских апологетов скрывался несомненный зародыш сравнительно-исторического метода. Они становились на любимую космополитическую точку зрения своих противников, замечали их логическую непоследовательность и размышляли: нас отлучают от человечества только за то, что мы не во всем похожи на западных европейцев, не отказывая в звании людей даже эскимосам, которые ни на что не похожи; стало быть, не умеют ни мыслить правильно, ни судить справедливо, «а если бы взяли на себя труд рассматривать вещи добросовестно и беспристрастно и сравнивать их философским взглядом с тем, что мы видим в остальном человеческом роде, то увидели бы, что русский народ стоит приблизительно в уровень с остальными народами Европы». Последние слова принадлежат автору *Антидота*, апологетического труда, направленного против соотечественника Леклерка и его товарища по ремеслу изделия напраслин на Россию. Этот безымянный автор (Екатерина II) выработал свои историко-апологетические взгляды из одинакового материала с патриотами болтинского кружка и даже при их прямом содействии. Он упрекает своего ученого противника в том, что, ненавидя народ русский, он не рассматривает человека как жителя вселенной, везде одинакового, и чувствуется добрая капля яду в словах автора, когда он говорит, что иностранцы, не прощая русским желанья оставаться самими собой, негодуют на то, что эти русские у себя дома смеют казаться им иностранцами. Космополитическая точка зрения помогла нашим мыслителям по-своему разбираться в исторических явлениях, столь тенденциозно запутываемых. «Люди везде люди, — писал Фонвизин из-за границы, — прямо умный и достойный



человек везде редок». Значит, последний — местная редкость, а общечеловеческое — то, что обыкновенно и что везде встречается. Поэтому темные пятна, выступающие в жизни отдельных народов, русского, как и других, надобно поставить на счет общего несовершенства человеческой природы, а подвиги и доблести, как злаки, выращиваемого местными силами климата и почвы, должны быть причислены к качествам национального характера, ни у кого не заимствуемым и никем не повторяемым, имеющим свой корень во «врожденном свойстве душ российских». Стало быть, необходимо изучать местную отечественную историю, но непременно совместно с общею историей человечества, чтобы распознать, какие страсти и пороки свойственны нам как людям и какие доблести должны быть усвоены нами как русскими. Такое развитие космополитической идеи можно признать довольно неожиданным и гибким оборотом русской патриотической диалектики прошлого века: космополитизм, обыкновенно враждебный местному, национальному, как чему-то зоологическому, был употреблен опорой и стимулом патриотического чувства и из историко-философского мирозерцания, из идеального общечеловеческого мерила превратился в простой методологический прием, стал чем-то вроде химической кислоты, употребляемой для очистки туземного металла от общечеловеческой примеси. В такой диалектике сказалось напряжение оборонительного отпора, вызванного усиленным натиском, какой во имя человечества делали тогда на самобытность русской жизни. В этом методологическом космополитизме не могло быть много того оптимизма, к какому были склонны чистые космополиты. Один из последних, молодой «русский путешественник» по Западной Европе, ребром поставил совершенно обратную формулу космополитизма в своих путевых письмах, печатавшихся в последний год жизни Болтина, сказав: «Все народное ничто пред человеческим; главное дело быть людьми, а не славянами». Такой космополитизм, по признанию его проповедника, питался созерцанием природы, как обширного сада, в котором зреет «божественность человечества». Если бы Болтин, согласно тогдашним учениям, видевший в природе прежде всего известное сочетание условий климата и почвы, влияющих на образование национальных характеров, встретил эту формулу и это признание Карамзина у своего приятеля Леккера, может быть, он с своею обычною иронией записал бы в критических на него примечаниях: и мы — граждане мира, сыны человечества, поколику мир во зле лежит и поколику мы грешные люди. Болтину не пришлось встретиться

с Карамзиным на учено-литературной арене. Но его друзья, патриоты-апологеты, дожили до печального торжества над своими противниками, увидев, как они после революции сидели и плакали на дымившемся еще пожарище своего космополито-оптимистического мирозерцания, и горше всех плакал Карамзин. Когда русскому путешественнику по Западной Европе привелось самому стать русским историком, он написал в предисловии к своему монументальному труду: «Истинный космополитизм есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все — граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством; любим его, ибо любим себя». Признание абиссинского гражданства наравне с европейским со стороны настоящего русского историка, которого всю жизнь поджидал Болтин, вполне оправдало его патриотическую апологетику, и покойный генерал-майор, сошедший в могилу среди двусторонней борьбы с невежественными хулителями и с невнимательными почитателями русской истории, дождался наконец хотя посмертного права сказать: *ныне отпущаеши...*

Запальчивая полемика, какой подогревалась патриотическая апологетика Болтина, была наносным стимулом его критики, навязанным его задорными или самоуверенными противниками. Если снять этот налет, под ним окажутся здравые положения исторической науки, не лишенные новизны для тогдашней русской историографии. Во-первых, довольно последовательно было выведено из тогдашних философских взглядов, что национальная самобытность сама по себе не подлежит осуждению с разумной и общечеловеческой точки зрения как вещь, терпимая и даже поощряемая общим строем мировых сил, который не убивает особей, напротив, поддерживает их, приспособляя их к местным условиям, ибо мироздание построено на гармонии индивидуальностей, а не на однообразии безразличностей. Возражая своему противнику, видевшему во всех отраслях древнерусского управления только зверство, политическое невежество и склонность русских грабить соседей, Болтин писал, что не следует приписывать одному народу пороков и страстей, общих всему человечеству в известные времена, на известных ступенях развития; но он не перегибал в противную сторону положения космополитов об отношении народного к общечеловеческому, как тогда делали в русских патриотических журналах и гостиних, не утверждал, что человечеству свойственны только пороки и страсти и лишь один русский национальный характер .слагается только из

добродетелей. Он не идеализировал ни древней, ни новой России, не говорил, что у нас все было хорошо, не отрицал недостатков русской жизни; он только не любил много говорить о них, с библейскою совестливостью страшился вскрыть срам матери своей. Зато при каждом злостном указании западноевропейского оппонента на политический, социальный, домашний или религиозный недостаток России он приводил в движение весь запас своей огромной начитанности, собирал все средства своего остроумия, чтобы доказать, что на Западе было не лучше, если еще не хуже нашего, и доказывал это с жаром, подчас поднимавшимся выше границ общепринятого приличия, с фактической изобразительностью, удручающей самое выносливое историческое воображение. Конечно, не надо забывать, что мы имеем дело не с кабинетным ученым, составляющим научную диссертацию, а с патриотическим бойцом, отстаивавшим обижаемую чужаком родину. Но этой полемике нельзя отказать и кое в каком научном, именно методологическом значении: она приучала, обороняя свое, пристально всматриваться в чужое. В этом состоял второй основной научный результат исторической критики Болтина: освобождаясь от полемической горячки, его патриотическая оборона русской жизни превращалась в спокойное сравнительное изучение русской истории, а такое изучение побуждало искать законов местной народной истории и тем приучало понимать закономерность общего исторического процесса.

Форма подстрочных критических примечаний, притом с постоянными полемическими отступлениями, мало помогала стройному выражению основных исторических взглядов критика и последовательному приложению его методики к явлениям русской истории. Дело специального изучения — собрать и свести в нечто цельное отдельные текстуальные толкования и фактические объяснения Болтина, которые сам Шлецер признавал новыми и превосходными. Понимая Болтина, прежде всего припоминаешь условия, в которых стояло у нас историческое изучение сто лет назад, интересы, которые возбуждали историческую мысль, средства, какими она располагала, препятствия, с какими ей приходилось бороться. Только припомнив все это, поймешь, чего стоили Болтину иные выводы и соображения, которые крупными зернами золота блещут в беспорядочной массе критических справок, фактических подробностей и полемических излишеств. Всего ценнее в сочинениях Болтина самое отношение автора к делу, которому он посвящал свой досуг: он смотрел на него как на «служение отечеству», т. е. как на дело, которое следует делать серьезно,

сосредоточенно. Такое значение сообщала в его глазах отечественной истории конечная цель ее, народное самопознание, которое достигается путем сложного и разборчивого изучения. Называя себя не более как трутнем в республике наук, поедающим чужие труды, Болтин не признавал себя настоящим историком, потому что предъявлял «истории, пишемой в настоящий просвещенный век», требования, которых удовлетворить не считал себя способным, и даже думал, что написать историю народа едва ли под силу одному человеку при всех дарованиях, на то потребных. История не летопись: «Не все то пристойно для истории, что прилично для летописи». Отсутствие полной хорошей истории России он объясняет не недостатком исторических материалов, «припасов», а тем, что нет «искусного художника, который бы умел те припасы разобрать, очистить, связать, образовать, расположить и украсить». Что же пристойно для истории? Болтин отлично усвоил себе проведенное Вольтером в его знаменитом *Опыте о нравах* различие между преходящими, случайными явлениями, не укладывающимися в цепь исторических причин и следствий, и коренными, постоянными фактами истории, между «приключениями мимоходящими и обычаями». Понимая требования прагматизма не смешивать и не разрывать «союза времен и происшествий», следить за обстоятельствами, нужными «для исторической связи и объяснения последственных бытий, причин их и следствий», Болтин с особенным вниманием вникал в учреждения, законы, занятия, нравы, обычаи, понятия, знания, в бытовые мелочи, поговорки, восстанавливая таким образом ткань быта, как бы сказать, физиологическую клетчатку, по которой шла жизнь народа. Ни у кого еще из русских исторических писателей этот новый порядок исторических фактов не выступал так отчетливо и настойчиво и никто из них до Болтина, кажется, не подходил так близко к наиболее сокрытым пружинам народной жизни, не докапывался до таких глубоких ее течений. Привычка наблюдать явления этого порядка сообщила ему чутье последовательности исторического процесса. Оспаривая быструю перемену в нравах Руси, вдруг освободившейся от своего варварства с принятием христианства, Болтин возражает кн. Щербатову, что такая перемена была бы чудом несравненно большим, чем стон идола, которого, по летописи, св. Владимир повелел стащить в Днепр.

В этих явлениях, которыми обозначалось последовательное движение народной жизни, Болтин искал постепенного проявления народного «умоначертания», самобытного содержания национального характера. Это помогло ему найти «точку

времени», которую можно было бы принять за начало нашей истории: таким начальным моментом должно быть время, с которого стало обнаруживаться это содержание. Наша история началась с зачатием нашего народа, а это случилось, когда встретились и породнились его родители, племена, от которых он произошел. Эта встреча совершилась с приходом Рюрика и руссов к новгородским славянам, что повело к слиянию встретившихся пришельцев и туземцев, образовавших русский народ. «Следственно, Рюриково пришествие есть эпоха зачатия русского народа», который, может быть, нечто заимствовал в своем характере от родителей, но со временем заимствование стало незаметно: «Возмужало дитя, оказались новые склонности, особенный нрав, от обстоятельств и вещей его окружавших породившиеся». Соединившиеся славяне и руссы вобрали в себя много других племен, и так составилась цельный великий народ, «который нравы и свойства получил сообразные климату, правлению и воспитанию, под коими он жил».

Не столько важно такое начало истории, сколько то методическое удобство, которое извлек из него Болтин. Показав, почему бесполезно «далее Рюрика возводить нашу историю и терять время в тщетных разысканиях», он погубил целый прием учености, процветавшей некогда у нас и у других народов, которые старались отыскать себе праотцев среди детей и внуков Ноя, как бы боясь, «чтобы не назвал их кто незаконно-рожденными», если они не запасутся библейскою генеалогией. Правда, и он мог обойтись без «тщетных разысканий» о неизвестных народах, некогда населявших нашу страну; но он поступил с этим этнографическим столпотворением больше по-военному, чем по-ученому. Он разделил эти народы на 4 дивизии, на скифов — татар, гуннов — калмыков, сарматов — финнов и славян, и между ними распределил прочие племена сомнительного происхождения, литву, ятвягов и самих варягов поверстал в сарматы, киргизов зачислил в скифы, даже козар нашел возможным произвести в славяне. Только перед русскими он остановился было в раздумье, но потом и их откомандировал к кимврам, т. е. к тем же сарматам. Развивая мысль Ломоносова о смешанном племенном составе исторических народов, Болтин придавал научное значение не «первоначальной породе» их составных элементов, а новым образованиям, происходившим от их смешения и создавшим новые национальные типы, которые и являются настоящими деятелями в истории. Это дало Болтину смелость высказать своеобразную мысль, что хотя мы должны назвать своими

праотцами и славян, смешавшихся с русскими, но все заимствованное от них «климат и время превратили в русское, и едва ли осталась в жилах наших одна капля крови славянской», и это случилось не с одними славянами, но и со многими другими элементами, коих «имена и природы погрузились в название и природу русского народа», образовавшего из себя новую историческую особь. Такая постановка дела отвязала мысль Болтина от генеалогических басен и этнографических гипотез и облегчила ему переход к изучению культурно-исторических фактов, скрытых в надежных памятниках. Возражая Леклерку, представлявшему русских IX и X вв. кочевниками и первобытными лесными дикарями, Болтин немногими крупными и выразительными чертами изобразил тогдашний уровень русской гражданственности в небольшой, но яркой картинке, которую пополнял в других местах своих сочинений и в которой доселе нечего поправить.

Так, переступая через порог русской истории, Болтин знал, как и куда идти: хорошо выясненная точка отправления и верно намеченная цель с обеих сторон освещали ему путь в этой темной области знания. Полемизируя с своими противниками, он и прорепетировал с ними всю русскую историю, пересмотрел ее важнейшие факты в поперечном, как и в продольном ее разрезе, останавливаясь на выдающихся эпохах или следя за отдельными учреждениями на всем пути их развития. Принятие христианства, политический порядок удельных веков, татарское иго, Грозный, Смутное время и царствование Михаила, главные моменты русского законодательства с их памятниками, судьбы русского дворянства с крепостным правом и другими слившимися с судьбой сословия учреждениями, условия экономического быта народа — всё это проходит перед читателем в постоянно меняющейся панораме, освещаемой попеременно то формулой закона исторического процесса, то параллелью однородных явлений западноевропейской истории, то сопоставлением с современным автору состоянием России; и среди этих монографических изображений автор вслед за любопытными данными о населенности современной ему России в легком, но глубоко обдуманном сравнительно-историческом очерке, доказывая Леклерку, что обширность России не истощает ее сил, описывает образование и распространение Русского государства в связи с колонизацией страны и обрусением встречных инородцев.

Вооружая современного читателя наблюдениями над действием исторических сил и над ходом жизни древней Руси, Болтин подводил его к XVIII в., к своему времени, и заставлял

его сличать явления своего века как с этим действием, так и с этим развитием. В каком виде должен был представиться просвещенному читателю его век при таком сопоставлении? Под влиянием местных физических и исторических условий русский народ вышел довольно своеобразным и менее похожим на другие европейские народы, чем похожи они друг на друга. Это естественно: «Государства европейские во многих чертах довольно сходны между собою; знаяши о половине Европы, можно судить о другой, применяясь к первой; но о России судить таким образом не можно, понеже она ни в чем на них не похожа», хотя переживала одинаковые с ними затруднения и положения, имела сходные «поведения и деяния». Она нажила себе свои нравы и обычаи, «качества сердца и души», которые, может быть, не лучше, хоть и не хуже чужих, но свои и на чужие не похожи. Не все эти обычаи и нравы одинаково добры; но они помогли народу устроить общежитие, которое тоже если не лучше, то и не хуже, чем у других, а качество народных нравов и обычаев определяется их способностью соединять людей и устроить общежитие. В самобытных нравах и обычаях выражается и ими поддерживается духовная энергия народа, даже его физическая крепость, они сообщают ему нравственную физиономию. Но самобытность не обязывает к неподвижности, и энергия не есть инерция. Условия жизни русского народа изменялись, новые уничтожали или ослабляли действие старых; это и было причиною, «что нынешние наши нравы со нравами наших праотцов никакого сходства не имеют». Не должно изменять насильем «народные начала и образ их умствования; удобнее законы сообразить нравам, нежели нравы законам; последнего без насилия сделать не можно». Надобно очень хорошо знать сердце человеческое, чтобы при исправлении нравов не сделать лишнего, поражая пороки, не ослабить добродетелей. Словом, нравы должны не срезываться хирургически, как мозоли, а перерождаться физиологически, как обновляется вещество в живом организме. Вся эта столь известная теперь историческая физиология целиком прилагалась к жизни русского общества для проверки нормальности ее отправления. Древняя Русь выработала самобытные нравы и обычаи, полезные для общежития, но страдала недостатком просвещения. Следовало сохранить свои нравы и обычаи и заимствовать просвещение, знания и искусства. Поступили наоборот: частью по вине закона, частью по увлечениям общества, по принуждению или по легкомыслию заимствовали не столько чужое просвещение, сколько чужие нравы, притом дурные, забывая

свои добрые с их нравственными опорами, любовью к отечеству, привязанностью к вере отцов. «Итак, мы старое позабыли, а нового не переняли и, став непохожими на себя, не сделали тем, чем быть желали».

Таково было последнее русское слово сравнительно-исторического изучения русского прошедшего в XVIII в., и никто не сказал этого слова лучше Болтина. Век русского просвещения был осужден во имя просвещения за то, что с помощью этого просвещения пытался стереть своеобразную физиономию народа и забыть свое прошлое. Но кто были эти мы, столь безнадежно осужденные? Это не могла быть современная Болтину Россия, которую он защищал с такою любовью, с таким знанием и искусством. Притом именно Болтиным впервые высказана у нас в литературно-ученой обработке мысль, что современность есть живой музей древностей, ходячая летопись прошедшего. Очевидно, это была та часть просвещенного русского общества, которая успела отрешиться от «народных начал и образа умствования их», созданных русскою историей. Итак, во имя разума и просвещения европейски образованный человек осудил своих точно так же образованных соотечественников за то, что они отрицали отечественную старину и оставшуюся ей верной современность как неразумную и непросвещенную. Как могло это случиться? Очень просто: эти соотечественники, скучая трудными источниками европейского просвещения и черной работой, какой оно добывалось из них, пили только его сладкие капли в виде последних слов просветительной литературы, в которых сказывалось ее презрение не только к русскому, но и ко всякому прошедшему, ее непонимание законов и сил не только русской, но и всякой истории. Болтин был слишком просвещенный человек, чтобы довольствоваться последними словами просвещения, и слишком умный человек, чтобы не вникнуть в его источники и приемы, которыми он и воспользовался для уяснения хода и смысла как родного, так и чужого прошедшего. Его правило было: «Необходимо нужно, читая книги, а паче пишучи историю, понимать чтomое». Притом он черпал образование не из одних чуждых источников. Он отлично знал свое отечество и по своему домашнему воспитанию, и по многообразным житейским наблюдениям, и по усидчивым документальным справкам. Двойным светом, туземным и заимствованным, он воспользовался не так, как тогда было в обычае на Руси — пользоваться тем и другим раздельно. Тогда одни употребляли только первый для того, чтобы не замечать второго, а другим второй помогал только презирать первый. Болтин воспользо-



вался туземным просвещением, чтобы уметь правильно употреблять заимствованное, а заимствованным — чтобы лучше ценить туземное, и обоими вместе — чтобы осветить родное прошлое сравнительно с европейским. Потому можно отнести ему особое место в русской историографии. И прежде, и после него были русские историки России, которые пытались взглянуть на нее европейским историческим взглядом. Болтин победил европейского историка России, который хотел посмотреть на нее тем же взглядом; победителю подобает звание русско-европейского историка, который и на историю Европы первый попытался взглянуть русским историческим взглядом.

Несмотря на успехи русской историографии после Болтина, его сочинения доселе не утратили интереса. По ним все легче видеть, как вопросы, давно возбужденные и не переставшие занимать нас, ставились и решались сто лет назад лучшими русскими мыслителями того времени. Этим сравнением наглядно вымеряется пространство, пройденное русскою мыслью. С умом, привыкшим размышлять о строении и жизни человеческих обществ, Болтин стал перед скудным запасом едва разобранных фактов нашей истории и перед необозримой грудой совсем нетронутых изучением исторических памятников. Своею трезвою, немного сухою мыслью, согретою теплым патриотическим чувством и вооруженною небрежным, но острым словом, он пытался проследить по этим памятникам протекшую жизнь своего отечества, сопоставляя ее на каждом шагу с жизнью остальной Европы, — он первый попытался это сделать и не без успеха, стoisшего ошибок и больших усилий. Он не идеализировал древней Руси, не думал воскресить старину, воротить вчерашний день, подобно кн. Щербатову и другим просвещенным староверам своего времени, но он считал долгом гражданина изучить родную старину, потому что это изучение вскрывает корни и уясняет смысл тех жизненных начал, которые составляют силу современности. Это внушило ему простые правила методики народного самопознания: наблюдайте других, чтобы лучше знать себя, помните, чем вы были, чтобы понять, чем вы стали, и пока не всмотритесь в себя, не спешите походить на других. Поставленные Болтиным вопросы стали после него очередными задачами русской историографии, а высказанные им мысли незаметно проникли в общество и в литературу, оторвались от своего источника и безыменными каплями затерялись в общественном сознании. У нас нередко повторяют, что впервые сказал Болтин, и очень редко припоминают, что Болтин первый сказал это.

---

## ПАМЯТИ И. Н. БОЛТИНА

Общество истории и древностей российских постановило в настоящем году почтить память И. Н. Болтина, со смерти которого прошло ровно сто лет. Обществу, посвящающему свои труды изучению памятников отечественной истории, есть за что помянуть теплым словом этого писателя-историка. В столетие, протекшее со дня смерти Болтина, историческое изучение России достигло значительных успехов, прошло две стадии, явственно обозначившиеся появлением двух капитальных творений по русской истории, созданных Карамзиным и Соловьевым. Труды Болтина не оставались безучастными в этом движении русской историографии; по крайней мере решительно можно сказать, что достигнутые ею успехи без этих трудов достигались бы с большими усилиями. В другом месте<sup>1</sup> я пытался объяснить исторические взгляды и приемы Болтина в связи с ходом просвещения и движением самосознания в русском обществе XVIII в. Теперь, исполняя желание Общества, я предложу его благосклонному вниманию попытку определить значение исторических трудов Болтина в ходе русской историографии.

Один из любителей отечественной истории, каких у нас немало было в прошедшем столетии, Болтин начал писать в последние годы своей 58-летней жизни. Но эти поздние литературные опыты были только завершением многолетних усидчивых занятий русской историей. Строгий в понимании обязанностей историка и скромный в оценке своих личных учено-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду статья В. О. Ключевского «И. Н. Болтин» (Наст. изд. С. 161—187).— *Ред.*

литературных средств, Болтин не считал себя настоящим историком и думал, что самое большее, что он призван сделать, — это соби́рание и предварительная обработка «припасов», материалов для отечественной истории. В реестре бумаг, оставшихся после Болтина и купленных Екатериной, не находим следов работы над каким-либо цельным историческим повествованием; но он считал себя достаточно вооруженным, чтобы предпринять критическую проверку чужого сочинения по русской истории или ученое издание древнего русского памятника с объяснениями.

Только в последние годы жизни Болтину представились случаи, побудившие его выступить в литературе историческим критиком и комментатором и обнаружить обширные и разнообразные исторические знания, накопленные многолетними усидчивыми трудами. В 1783 г. вышел в Париже *Histoire de la Russie ancienne et moderne* известного Леклерка. В 1786 г. у Болтина были уже готовы два объемистые тома критических *Примечаний* на пять томов этой *Истории*, напечатанных к тому году. Кн. М. М. Щербатов, который с 1770 г. начал издавать обширную *Историю российскую от древнейших времен*, почел себя задетым некоторыми замечаниями Болтина и в 1789 г. напечатал в свое оправдание *Письмо* к одному приятелю. Болтин в том же году издал свой *Ответ* на это письмо. Пространно отбив нападения противника и уверив его и публику, что в разборе книги Леклерка он отнюдь не подразумевал кн. Щербатова, генерал-майор Болтин в конце *Ответа* сам перешел в наступление и написал 19 возражений, направленных против самой *Истории* кн. Щербатова, прибавив в заключение, что всё приведенное в разборе из этой истории суть только цветочки, а ягоды он приберег «для переду». Эти обещанные ягоды были собраны и приготовлены для публики в двух больших томах *Критических примечаний* на первые два тома *Истории* кн. Щербатова. Энергический критик, невзирая на недуги возраста, начал эти примечания в том же 1789 г. и, по-видимому, успел кончить их еще до конца следующего, 1790 г., когда умер кн. Щербатов (12 декабря), как можно догадываться по тому, что у Болтина нет намека на это. Но публика прочитала новый труд уже после смерти автора, когда его приятель и товарищ по занятиям гр. А. И. Мусин-Пушкин издал его в 1793 и 1794 гг. Со своей стороны и кн. Щербатов не успокоился и, несмотря на зарок в *Письме* к приятелю не отвечать на новые возражения Болтина, прочитав его *Ответ*, не утерпел, подходя уже к своей могиле, собрался с силами и написал

*Примечания на Ответ* Болтина, составившие целую книгу. И эта книга увидела свет только по смерти своего автора, уже в 1792 г., так что едва ли успел прочитать ее тот, против кого она была направлена, как сам кн. Щербатов, воюя с *Ответом* Болтина, не знал, какие два громовые тома готовил против него неутомимый его противник. Так учено-литературная борьба Болтина с кн. Щербатовым, представляющая во многих отношениях один из самых занимательных эпизодов в ходе русской историографии, была dokonчена типографским станком, когда оба борца уже сошли с арены и успели подать друг другу руки при заgrabной встрече.

Окончив полемику со вторым противником, Болтин перешел к более мирным ученым работам. Он входил в состав тесного кружка «любителей отечественной истории», душой которого был упомянутый граф А. И. Мусин-Пушкин, «крайний древностей наших любитель», по выражению Болтина, составитель знаменитой по своему богатству и по своей несчастной судьбе рукописной библиотеки. В ученых сношениях с этим любительским кружком находилась сама Екатерина II, которая по смерти Болтина писала о нем и о Мусине-Пушкине, что они много занимались русской историей. Друзья копались в древних рукописях, как в золотоносной почве русской историографии, читали, комментировали, ссужали любознательную императрицу справками, делали открытия, научную цену которых сами затруднялись определить, — словом, находились в положении геогностов, которые, прокопав первые мелкие шурфики, начинают чувствовать, какое обильное металлическое содержание найдут в более глубоких пластах дальнейшие изыскатели, которые до них докопаются. Екатерина, пользуясь учеными услугами любителей, не оставалась безучастна в их успехах. По указу 11 августа 1791 г., исходатайствованному Мусиным-Пушкиным, синодальным обер-прокурором в св. Синод скоро прислано было много летописей и других рукописных памятников из монастырских архивов...

Можно подивиться умственной бодрости больного старика, который в том же году, в котором вышла его *Русская Правда* и осенью которого он умер, удосужился исполнить еще одну критическую работу, в некоторых отношениях даже самую трудную из всех ученых работ, им исполненных. Разумею разбор драмы Екатерины II из жизни Рюрика. Благодаря Болтину судьба этой драмы стала любопытным эпизодом из истории русской литературы прошлого века, живо характеризующим как действующие в нем лица, так и общество, среди которого они действовали. Некоторые черты этого эпизода

были потом не без юмора рассказаны самой Екатериной в письме к Гримму.

Трудясь над своими *Записками* по русской истории для русского юношества, она пришла к некоторым догадкам касательно Рюрика, поддерживаемым всего только немногими словами, какие обронил Нестор в своей летописи (quelques mots lâchés par Nestor), да одной страницей в *Истории Швеции* Далина. Она потому не решилась внести таких рискованных конъектур в настоящую историю, но ей вздумалось (il me prit fantaisie) найти им место в поэзии, построив из них историческую драму, образцом для которой послужил не кто другой, а прямо сам Шекспир, которого автор тогда читал в немецком переводе. Драма была написана и без имени автора напечатана в 1786 г. под заглавием *Подражание Шакеспиру, историческое представление из жизни Рюрика*. Никто не обратил внимания на анонимную пьесу, и *Рюрик* лет пять пролежал в книжных лавках мертворожденным или умирающим младенцем. В 1792 г. Болтин чрез Мусина-Пушкина поднес императрице в рукописи свой разбор *Истории* кн. Щербатова. Екатерина, три года назад уже издавшая на свой счет *Примечания* Болтина на *Историю* Леклерка и пользовавшаяся его указаниями при чтении русских летописей, задумала реабилитировать свое погибшее творение, призвав на помощь опытную диагнозу знатока-критика, так как, по ее признанию, «она охотно готова была отдать на суровый суд Болтина то, что марала по истории». Когда раз Екатерина заговорила с Мусиным-Пушкиным о своем многострадальном *Рюрике*, сетуя на невнимание к нему, тот смешался: оказалось, что ни он, ни Болтин, к стыду обоих знатоков русской истории, не только не читали, даже и в глаза не видали драмы императрицы с ее историческими конъектурами. Но Болтин поправил дело, принялся объяснять драму, которая по его просьбе скоро была напечатана с его примечаниями и пошла в ход, была даже переведена по-немецки. Учено-художественное дитя ожило в критических руках опытной няньки. Екатерина не рассказывает, как произведена была сама операция, как Болтин исполнил ее намек или желание, выраженное Мусину-Пушкину. Чтобы видеть это, надобно взять в руки самые примечания Болтина. Дело было чистым искушением для нашего критика: надобно было остаться правдивым, не становясь неприятным, хвалить без лести и усмешки и судить, не обличая и не огорчая,— словом, резать правду автору, помня хлеб-соль хозяйки.

Генерал-майор Болтин с искусством истинного тактика одержал победу над своим положением, явился беспристраст-

ным судьей писательницы, не нарушив обязанностей кавалера к даме. Для этого он из критика превратился в комментатора и даже в педагога, объяснял, где нужно было исправить, и исправлял, что следовало зачеркнуть, учил, где нужно было обличать. Прежде всего подысканы были для драмы исторические источники, из коих иные едва ли подозревал и сам драматург, потом создания чистой фантазии были подбиты мягкой подкладкой сложных исторических справок и соображений или представлены вольно-поэтическими вымыслами, «прилично выдуманнами», слова и действия героев, не встретившие никакой опоры в исторических источниках, подперты доводами исторической логики, непредумышленные общие места развились в метко схваченные черты древнего быта или даже цельные исторические картины, нечаянно удачные обмолвки оказались результатом исторической эрудиции, а недоразумения или простые промахи либо явились смелыми гипотезами, во всяком случае возможными, хотя и могущими встретиться с гипотезами более вероятными, либо превратились в неясные намеки, которые и истолкованы в разборе с остроумной находчивостью и полным прибором ученой критики, как истолковывал Болтин темные места древних памятников в других своих сочинениях. Драма поставила древнему Новгороду целых трех посадников вместо одного надлежащего. *Всякому* известно, тонко поясняет комментатор, что в Новгороде было всегда по одному посаднику, и рядом ученых соображений приходит к выводу, что один был только *степенный*, действительный посадник, которого и надо разуметь под первым из выведенных в драме; но от него надо отличать посадников *старых*, бывших, какими, конечно, и были двое остальных и каких всегда могло быть и больше двоих, сколько угодно. В заключение всего в разборе подобраны места драмы, где Рюрик, Аскольд и другие ее лица высказывают любимые идеи времени об отечестве, о власти, общественном порядке, вычитанные этими передовыми людьми IX в. из Наказа Екатерины по изданию 1767 г. Так Болтин, бережно приняв хилое дитя, оправил и оживил, спеленал его и, слегка потянув за нос, как это дельвали в старину повивальные бабушки с новорожденными, показал его публике, причем, не скрывая имени матери, пожелавшей остаться неизвестной, сближением пьесы с Наказом невзначай приподнял перед читателем край прозрачного вуаля, ее покрывавшего. Его звали судить драму перед присяжными знатоками, но он, щадя материнское сердце и не кривя ученой совестью, предпочел растолковать смысл пьесы самому ее автору в присутствии публики. Автор, оче-

видно, хорошо знал критика, а критик еще лучше понимал автора, и оба остались отменно довольны друг другом, ибо изрядно обдумали, что делали. Немного месяцев, вероятнее недель, спустя умный критик закрыл глаза, а благородный автор купил оставшиеся после него ученые бумаги.

Я нарочно остановился на примечаниях Болтина к драме Екатерины. В этом небольшом труде, которому суждено было стать лебединой песнью Болтина, может быть, именно потому с наибольшей наглядностью отразились особенности этого исторического критика, несмотря на то что в этом труде историческая критика идет об руку с литературой *courtoisie*. По такому специальному поводу, как драма из времен Рюрика, критик приводит в движение разнообразные исторические источники, и русские летописи, и скандинавскую *Эдду*, и песню Рагнара Лодброка, даже современные акты русского законодательства, толкует имена и термины древних памятников, обращается к явлениям других стран и времен — все это для того, чтобы глубже вникнуть в быт славяно-русского общества столь отдаленного века, в его нравы, понятия, учреждения. Это своего рода историческая программа, примерно демонстрированная на частном случае, на отдельном факте, где автор обозначил и очередные задачи русской историографии, и способы их разрешения, и пределы, до которых можно было вести работу при наличных средствах.

Задачи, стоявшие на очереди, как их понимал Болтин, указывались ему современным положением русской историографии, и это положение создано было трудами ближайших его предшественников. Русская научная историография в лице начинателя своего Татищева непосредственно примыкает к древнерусскому летописанию, составляя органическое его продолжение. Не ставя далеких целей и не чертя широких планов, Татищев решил, что надобно начинать новое дело с начала, т. е. разыскать источники, собрать, разобрать и свести материал, прежде всего летописи, скромно прибавив к его тексту посильные пояснения в примечаниях. Он и составил такой свод, доселе не сходящий со стола занимающегося русской историей. Но, стоя одной ногой в ряду древнерусских летописцев, он считал возможным ступить другой немного вперед, в область исторического исследования. Во введении и первой части труда он предпослал своему летописному своду научное определение истории, ее задач, средств и приемов и длинный ряд ученых предварительных разысканий, направленных к тому, чтобы прояснить тот начальный момент нашей истории, с которого идет нить летописного повествования, чтобы это

повествование не начиналось с пустого темного места. Таким образом, Татищев дал русской истории ученые рамки, заключил ее древнейший источник в методологическую оправу и дал первые попытки комментария в примечаниях.

Что мог он сделать больше? По крайней мере он сделал то, что было нужно. Надобно припомнить отношение русского общества к отечественной истории при Татищеве, изображаемое частью самим Татищевым, чтобы видеть, что больше ничего нельзя было сделать. Тогда в русском обществе слышались самые смутные суждения об этом предмете. Один толковал, что у русских нет «историй древних» и поэтому им не по чему узнать свою древность. Другие поддакивали, но с прибавкой: да не было и «деяний» важных, потому не стоит изучать эту древность. Одни оправдывали свое незнание русской истории, презирая научную историографию, другие оправдывали неудовлетворительную наличную историографию, не находя ничего хорошего в самой русской истории, в самой отечественной старине. Наконец, третьи, желая устранить жалобы тех и других, принимались украшать эту старину или, по выражению Татищева, «баснями закрывать сущую правость сказания древних», но этим только оправдывали тех и других, поддерживая презрение первых и невежество вторых. Татищев, показывая свой свод, как бы говорил в ответ всем толкам: вот сущее правое сказание древних, не искаженное новейшим ученым баснословием — послушаем прежде его, — и в оправдание своих слов дал беспрепятственно говорить древнему летописцу, не перебивая его рассказа, а сам стал в стороне, в ряду слушателей, только порой делая в примечаниях заметки по поводу этого рассказа.

Ломоносов смелее взялся за дело. Он читал древние русские летописи и самого Татищева и нашел, что в русской старине есть и деяния важные, «разные дела и герои, греческим и римским подобные», но только не было у нас искусства, «каковым греческие и латинские писатели своих героев к полной славе предали вечности». Так намечены были и дальнейшие задачи русской историографии и даже частью ее метод: предстояло вскрыть в источниках достойное знания содержание русской истории и путем сравнительного изучения поставить его рядом с историей других народов. Его параллель русской и римской истории, «некоторое общее подобие в порядке деяний российских с римскими», важна не по своей научной ценности, а как первое наивное выражение научного приема, которым должна была с большим умением воспользоваться дальнейшая русская историография.



Сравнение однородных явлений неизбежно вело к общим выводам, к познанию законов истории, и достаточно припомнить рассуждение Ломоносова об образовании народов путем племенных смешений, его положение, что «народы от имен не начинаются, но имена народам даются», чтобы видеть, как полезен был для русской историографии этот прием даже в своем зачатке.

Кн. Щербатов хотел быть продолжателем Ломоносова в русской историографии. Он думал, что накопилось уже достаточно научных средств, чтобы изобразить «разные состояния, в которых было мое отечество, разные его перемены и знатные случившиеся в нем дела», т. е. изобразить в прагматической последовательности течение жизни народа. Он, кажется, первый ввел в нашей историографии прием разграничивать периоды истории обзорами внутреннего состояния страны или «рассмотрением о состоянии России, ее законов, обычаев и правлений». Но и личные и научные средства Щербатова далеко отставали от его смелой задачи и даже от его научных приемов. И он любит сравнивать русские явления с фактами всеобщей истории. Но это сравнение является у него не вспомогательным средством научного познания, а прикрытием его личного недостатка, незнания хода русской истории, недостаточного изучения ее явлений. Всеобщую историю он знал лучше русской; явления первой ему растолковывали другие историки; русских явлений он сам растолковать себе не успел и, чтобы разглядеть их, поневоле брал готовый чужой светильник. Его исторические сравнения имели один источник с постоянными галлицизмами его изложения и напоминают русский разговорный язык великосветских наших людей екатерининского времени, пересыпавшийся французскими словами вследствие неумения выразить известные понятия по-русски. Недостаточное изучение памятников отечественной истории, даже непонимание их языка сказывается у него в обильных и часто забавных недоразумениях, за которые ему так больно досталось потом от Болтина: княжна Малфрида, одна из языческих жен Владимира, преобразилась у него в богатыря Малфреда храброго, насекомое *прузи* — в племя пруссов, *полковой стяг* — в сенной стог и т. п. без конца.

Таковы были научные опыты, унаследованные Болтиным от важнейших его предшественников. В этих опытах он мог найти много поучительных уроков и предостережений. Успехи, достигнутые предшественниками, избавляли его от необходимости начинать дело сначала; их ошибки указывали ему, чего не следовало повторять; его личный ум и образование давали

ему средства угадать, что следовало делать дальше, в каком направлении продолжать дело. Сохранился небольшой документ, в котором вскрывается ход ученой подготовки Болтина как русского историка. Для современного магистранта русской истории очень назидательны некоторые особенности этой подготовки. Это — реестр рукописным бумагам Болтина, купленным Екатериною после его смерти за десять тысяч руб. Всех бумаг показано в реестре 83 нумера, или связки. За исключением черновиков печатных сочинений Болтина, это все подготовительные работы по изучению истории всеобщей и русской и вспомогательных наук. Во-первых, видно, как Болтин изучал всеобщую историю. Он делал обширные выписки из словаря Бейля, из энциклопедического французского лексикона, сопровождая их своими примечаниями, выписывал из сочинений Гиббона, Смита (по немецкой истории), Вольнея. Из печатных трудов Болтина знаем, что эти уцелевшие по смерти его выписки были лишь скудными остатками его обширных работ по изучению новой и даже средневековой литературы всеобщей истории. Далее следуют обширные выписки из разнообразных памятников русской истории, из летописей, разрядных книг, *Уложения, Большого чертежа, Четьи-Миней*, из бумаг Посольского приказа. Очень крупный отдел в реестре составляют бумаги, указывающие на работы Болтина по славяно-русской лексикографии. Болтин был членом Российской академии с самого ее открытия в 1783 г. и принимал очень деятельное участие в ее трудах по составлению академического словаря, так что в 1786 г. Академия увенчала его «труды и усердия» золотой медалью. В протоколах Академии за те годы отмечено, что Болтин сообщил Академии для словаря «великое число слов, выписанных из многих книг славянских, яко плод долговременных трудов своих», давал полезные советы и указания касательно плана и состава словаря. Независимо от того, он много работал над составлением своего особого *«Толкового славяно-российского словаря»*. В реестре обозначено несколько связок тетрадей с материалами для этого обширного труда. Кроме того, в реестре показан *«Географический и исторический словарь, объясняющий местности, в летописях упоминаемые, и слова, вышедшие из употребления»*. Отмечена в реестре еще какая-то «Роспись на российско-гражданский лексикон». Но самый видный отдел в реестре составляют описания семи наместничеств Русской империи. Митрополит Евгений в своем словаре русских светских писателей сообщил известие, что Екатерина поручила Болтину составить историческое, географическое и статисти-

ческое описание Российской империи, для чего повелела собрать по всем губерниям нужные для того сведения, которые и были ему доставлены. Трудно сказать, были ли показанные в реестре описания простые сборники доставленных сведений или обработанные историко-статистические описания. В печатных трудах Болтина встречаем драгоценные статистические данные о рекрутских наборах, о монетном деле, о народонаселении России по областям и сословиям, почерпнутые из этих местных источников и из архивов разных центральных ведомств. Русская историография никогда не перестанет жалеть о том, что эти описания наместничеств погибли вместе со всеми другими бумагами Болтина и с самой библиотекой его приятеля гр. Мусина-Пушкина, которому они были показаны императрицей.

Без сомнения, реестр очень неполно отражает ход подготовительных исторических занятий Болтина. Но и по нему можно видеть план этих занятий, а из-за плана выступают задачи русской историографии, которые Болтин ставил на первую очередь. В своих работах он не выпускал из вида своих предшественников, хотел продолжать путь, ими начатый.

Особенно крепко держался он за своего любимого Татищева, труды которого он собирал и изучал с особенным вниманием. В его бумагах находилась какая-то «Роспись на первые пять книг Геродотовой истории», писанная рукою Татищева, выписки и примечания на Стоглав из *Истории Татищева* и три части его же «*Российского исторического, географического, политического и гражданского лексикона*», изданные по смерти Болтина графом Мусиным-Пушкиным. Болтин верно угадал, что нужно было делать после Татищева. Татищев старался собрать и свести основные источники русской истории, прежде всего летописи. Болтин видел, что далее предстоит, во-первых, выучиться читать эти памятники, понимать язык их. Отсюда его заботы о толковом историческом и других словарях. И он достиг замечательного для его времени искусства в чтении и объяснении древнерусских памятников. Без его перевода и комментария *Русской Правды* доселе нельзя обойтись при изучении этого трудного документа. В поставленном Болтиным требовании — прежде чем воссоздать по памятникам цельную и стройную историю России, надобно уметь читать и понимать эти памятники, — состоял первый важный шаг вперед, сделанный Болтиным после Татищева в научной постановке дела изучения русской истории.

Но Болтину принадлежала заслуга и второго, не менее важного шага. Сквозь тусклые и невнятные, часто отрывочные

строки древних памятников предстояло разглядеть то, что составляет основное содержание, фон истории — это сеть ежедневных людских отношений, из которых сплетается человеческое общежитие, историческая жизнь народов. В постановке этой задачи сказалось влияние современной ему европейской историографии, которая в критическом изучении ставила на первый план учреждения, обычаи, нравы, верования, понятия народов. Болтин первый начал у нас серьезное и систематическое изучение этих глубоких течений русской исторической жизни и доселе остается одним из лучших их знатоков. К явлениям этого порядка он и применил сравнительный прием изучения. Недостатки и ошибки учено-литературных противников помогли ему технически усовершенствовать этот прием. Защищая честь отечества от напраслины иноземного историка России, он старался рассмотреть, лучше ли складывалась и шла жизнь других народов и от каких условий зависело ее превосходство, таким образом учился измерять сравнительно уровни развития народов. С другой стороны, толкуя противникам смысл непонятого ими древнего факта, учреждения, обычая или понятия, он показывал его отдаленные отрасли в современном складе жизни и призывал настоящее на помощь для объяснения прошедшего. Прошедшее живет в настоящем, и настоящее, следовательно, есть один из основных источников для изучения прошедшего. Мысль, что современность есть музей древностей, живая летопись прошедшего, впервые настойчиво была проведена Болтиным. Этим объясняется, почему Болтин отдавал так много времени и усилий изучению современного положения России. В своем *Ответе* кн. Щербатову он писал, что «деяния исторические весьма тесно сопряжены с познанием той страны, в которой они происходили», т. е. с познанием ее настоящего положения. Таким образом, сравнительное историческое изучение, по Болтину, состоит в сравнении как однородных явлений в жизни разных народов, так и разновременных явлений в жизни одного и того же народа.

Таковы были наиболее крупные методологические заслуги, оказанные Болтиным русской историографии. Своими опытами он показал, что надо знать и как поступать, чтобы толково объяснить исторические тексты и исторические факты. Применяя выработанную методологическую технику к изучению русской истории, Болтин *истолковал много темных мест в древних наших памятниках*, еще больше объяснил непонятых прежде явлений нашей истории и восстановил ход развития целых учреждений, так что в конце XVIII в. стало возможно

составить дельную стройную историю по крайней мере древней России. С помощью своих научных приемов и знаний Болтин сложил довольно цельный взгляд на ход всей русской истории и даже успел вывести из него некоторые заключения нравственного характера, пригодные для практического разрешения тревог, волновавших современное ему русское общество. Эти заключения все сводились к одному главному: конечная цель изучений отечественной истории должна заключаться в познании и укреплении нравственных начал русской жизни.

Я без меры утомил бы Ваше внимание изложением этого взгляда. Вместо того позвольте мне повторить последние строки суждения о Болтине, высказанного в напечатанной уже статье...<sup>1</sup>

---

---

<sup>1</sup> Имеются в виду последние строки статьи В. О. Ключевского «И. Н. Болтин»: «У нас нередко повторяют, что впервые сказал Болтин, и очень редко припоминают, что Болтин первый сказал это». — *Примеч. сост.*

## ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

*(умер 4 октября 1855 г.)*

Полвека прошло, как закрылась могила Грановского. От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора. Едва он успел закрыть глаза, а Соловьев, Дмитриев, Бабст, Кавелин, Чичерин уже благоговейно приникают к памяти человека, с которым расходились в иных научных взглядах, в складе ума и характера. Их соединяла с Грановским идея, которая в свое время и привлекала студентов в его аудиторию.

Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни. Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах сквозь вековые препятствия все тяготы преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу. С его времени, с его публичных лекций Московский университет стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образованного русского общества. Грановский завязал ту внутреннюю духовную связь

между Московским университетом и обществом, которая крепка доселе и для обеих стала старозаветной традицией. *Наш университет, наш Грановский* — эти слова стали привычными выражениями в Москве с того времени. Эта связь в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны. В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни.

Таково предание, сложившееся о Грановском в продолжение пятидесяти лет со дня его смерти. Можно было бы думать, что мысль Грановского, привыкшая работать над великими мировыми делами и деятелями, неохотно обращалась к отечественной истории, к ее невзрачным или печальным явлениям, о которых повествуют тощие страницы его летописей. Но русская история стояла вокруг Грановского со всеми своими тяжелыми условиями, над которыми поработали века. От этой истории, точнее, от действительности, ею созданной, невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась в каждое независимое личное существование со своими грубыми требованиями. Да и натура Грановского была не такова, чтобы он мог стать ученым-отшельником. Он рано почувствовал, что только упорной борьбой можно пронести сквозь толщу тогдашней жизни общественные начала, которым он решил служить. Он искал вокруг себя и прежде всего в своей аудитории свежих сил, которые можно было бы подготовить к делу. В 1845 г., предупреждая задуманную студентами оvacию, Грановский, тогда 32-летний преподаватель, сказал в аудитории своим слушателям, что он и они принадлежат к молодому поколению, в руках которого и будущность отечества, что им предстоит долгое служение «нашей великой России», преобразованной Петром, идущей вперед и с одинаковым презрением относящейся и к клевете иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей Западу, и к старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». «Побережем себя на великое служение», — сказал в заключение Грановский. В этих словах выразился его взгляд на свое профессорское дело, а в этом взгляде сказалось глубокое понимание окружающих условий, в которых жило русское общество. Нужно было действовать не только на мысль, но и на *настройку* и готовить деятелей для будущего. Грановский и смот-

рел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, вырвавшихся из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагоделят ее. Грановский не проводил своих идей как запретного товара среди поразительной наивности правительства, видевшего конституционную прокламацию в альманахе, и среди пугливого общества, чужавшего запах революции в трескучем письме Погодина. Лояльно — прямо, возвышенно и художественно он воспитывал в слушателях на своих исторических построениях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответственности перед обществом. И этим Грановский шевелил смутную тревогу в людях николаевского режима. Его долго не пускали в деканы, чтобы затруднить ему общение со студентами и влияние на строй преподавания, ославили чуть не тайным революционером, а после его, всколыхнувших московское общество, публичных курсов позаботились, чтобы в Москве забыли, что такое публичные университетские лекции. Но самую идею профессорской деятельности Грановского все более цепеневшие казенные руки уловить и задушить были бессильны.

Жизненная драма Грановского навеивает глубокую грусть. Грановский верил и надеялся, верил в свое дело и надеялся на его успех. Веру он мужественно сберег до конца, но успех становился все безнадежнее, особенно после 1848 г., хотя в личности Грановского соединялись свойства, способные в другом порядке обеспечить ему торжество. Он обладал в высшей степени силой нравственного обаяния, тайна которого скрывалась во всем его духовном складе. Это был оптимист в лучшем смысле слова. Не игнорируя зла, он во всем и во всех искал добра, в каждом явлении умел находить положительную сторону; в его широком взгляде на жизнь и историю смягчались слишком односторонние или резкие направления. Так отзывались о нем люди, хорошо его знавшие, без различия личного к нему отношения. Отрицание было совсем не свойственно его ясному и стройному уму. Но, примирительный по природе, он не был уступчив в принципах. Мягкость отношений соединялась у него с твердостью характера; никого не вызывая на бой, он никому не хотел сдаваться. Между тем вокруг себя он видел только нетерпимость или духовную апатию. Под гнетом господствовавшего порядка люди озлоблялись или теряли нравственное и общественное понимание. Известен невольный идейный разрыв Грановского с ближайшими друзья-



ми, известно и то, как он утратил веру в их эмигрантскую деятельность. Еще более известны ужасные слова его про славянофилов: «Эти люди противны мне, как гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда; оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории». Но, разорвав с обеими оппозициями в обществе, он не стал менее подозрителен для правительства, и там не могли ничего усвоить из того, за что он стоял. Он изверился, наконец, и в будущем. Заступаясь за Петра, он написал Герцену полные уныния слова: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских племен; наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не умеет». Но Грановский умел сохранить эту веру и любовь, остался рыцарем, как его называли, благороднейшим крестоносцем, шедшим беззаветно к своей обетованной цели, без надежды на победу, но и без страха перед поражением. Весть о падении Севастополя заставила его плакать. Всего за несколько недель до смерти, уже больной, он писал: «Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желанья победы России, но с желанием умереть за нее; душа наболела за это время; здесь все порядочные люди поникли головами». И, однако, он не опускал рук. В последнем письме он жалуется на несвоевременность своей болезни, через двое суток покончившей его жизнь: у него много спешной работы; ему, как декану, надо много сделать для факультета, для улучшения преподавания; он задумал с Кудрявцевым журнал *Исторический сборник*, надеясь, что «эластическое слово *исторический* дало бы издателям возможность касаться самых жизненных вопросов», уговаривает Кавелина стряхнуть лень и снова взяться за дело... Грановский не разбивал своих скрижалей.

В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра Великого, писанный с мертвого, вероятно, тотчас после кончины преобразователя. «Мне кажется,— писал Грановский,— я был бы в состоянии по целым часам стоять перед этой картиной; я охотно отдал бы за нее любимые книги мои». Его поразило выражение бледного лица на фоне красной подушки. «Верхняя часть божественно прекрасного лица запечатлена величавым спокойствием: мысли нет более, но выражение ее осталось. Такой красоты я не видал никогда. Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты гневом и скорбью; они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изобра-

жение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание».

Теперь, спустя 50 лет после смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие несостоятельному представительству», а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах.

---

## Ф. И. БУСЛАЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Что сделал Буслаев для изучения русской истории? Задав себе этот вопрос, я прежде всего вспомнил свои студенческие годы. Я уверен, так поступит каждый ученик Буслаева, когда спросит себя, что сделал он для *его* отрасли знания, для избранной им науки, если она входила в обширную область научного ведения, в пределах которой трудился Буслаев.

И я думаю, что это — не даром. Теперь в этой обширной области у нас трудится много работников и большею частью благодаря Буслаеву. Складывается значительная литература предмета. Первые, элементарные сведения по этому предмету, сообщаемые профессором и даже гимназическим учителем, суть только наиболее признанные в этой литературе положения науки. В этом случае профессор и учитель — только ученые посредники между литературой и аудиторией или классом.

Тридцать пять лет назад, когда я начал в Московском университете слушать Буслаева, положение дела было совсем иное. Большая часть того, что он повторял в аудитории печатного, была недавно напечатана им же самим. Многие, что он сообщал своей аудитории, студент узнавал раньше читателя. Буслаев был не посредник между своей аудиторией и литературой своего предмета, а первый поставщик той и другой. Ученикам его часто приходилось первыми усвоить его идеи, новые факты, приемы их изучения и потом проводить их в преподавании, частной беседе, даже в литературе. Не всякий ученик Буслаева по роду своих дальнейших занятий может с достаточной полнотой и глубиной оценить его как ученого, взвесить его значение в той науке, которой посвящена была его ученая деятельность. Но в личных воспоминаниях каждого

о том, как он учился у Буслаева, могут найтись черты, впечатления и замечания, которые пригодятся для изображения того, как усвоились и распространялись ученые взгляды Буслаева, как они отражались в преподавании и литературе,— словом, может оказаться пригодный материал хотя не для истории самой науки, то по крайней мере для истории русского просвещения.

С такими именно мыслями и обратился я к своим студенческим воспоминаниям, чтобы отдать себе отчет в значении Буслаева для изучения русской истории. Я вступил в Московский университет и стал слушать Буслаева в тот самый 1861 год, когда появились два тома его *Исторических очерков* русской народной словесности и искусства; в этом издании были собраны и приведены в некоторую систему исследования и характеристики, рассеянные в разных изданиях, с исправлениями и пополнениями. Не только специалист, но и простой образованный читатель мог по 34 «главам», точнее монографиям, этого обширного издания в связанном подборе следить за развитием основной мысли и метода исследователя. Но этим изданием далеко не завершилась ученая деятельность исследователя, а только очерчивался круг явлений, избранных им для изучения, намечалась программа и выяснялись задачи дальнейших работ. Когда я стал слушателем Буслаева, его ученая деятельность шла полным ходом. И после издания *Очерков* аудитория продолжала для него стоять впереди публики. Многие исследования, появлявшиеся потом в печати, составлялись из курсов, читанных им в университете. Будущая ученая биография Буслаева, конечно, выяснит связь его профессорской и авторской деятельности, восстановив отношение его печатных исследований к его университетским курсам: это отношение — вообще очень любопытное дело как для определения влияния университетского преподавания на нашу научную литературу, так и для истории русского просвещения, и биография профессора, так долго преподававшего и так много писавшего, как Буслаев, может пролить яркий свет на эту всеми живо чувствуемую и признаваемую, но еще далеко не выясненную связь университета с литературой.

Впрочем, как бы много ни писал профессор по своей науке, он не может перелить в свои сочинения всего своего преподавательского влияния. Воображаемая публика, от которой писатель отделен типографией и книжной лавкой, никогда не заменит аудитории, живьем присутствующей прямо перед глазами преподавателя и возбуждающей его своим немым, но выразительным вниманием. Потому перу остаются недоступны

многие средства действия, какими обладает живое слово. С кафедры идут дидактические и методологические впечатления, которые уносятся слушателями и которых печатный станок никогда не передает читателю. Но и эти неуловимые впечатления не пропадают бесследно в общем движении науки... И прежде всего мы обязаны Буслаеву тем, что он растолковал нам значение языка как исторического источника. Теперь это значение так понятно и общеизвестно; но тогда оно усвоилось с некоторым трудом и не мной одним. Живо помню впечатление, произведенное на меня чтением статьи «Эпическая поэзия». Это было в 1860 или 1861 г. Заглавие вызвало во мне привычные школьные представления об эпосе, *Магабарате*, *Илиаде*, *Одиссее*, о русских богатырских былинах. Читаю и нахожу нечто совсем другое. Вместо героических подвигов и мифических приключений я прочитал в статье лексикографический разбор, вскрывший в простейших русских словах вроде *думать*, *говорить*, *делать* сложную сеть первичных житейских впечатлений, воспринятых человеком, и основных народных представлений о божестве, мире и человеке, какие отложились от этих впечатлений.

С течением времени, слушая Буслаева в аудитории и на квартире, читая сочинения его собственные и чужие, какие он нам указывал, вдумываясь в дело, мы постепенно входили в круг идей, внушавших совсем непривычное представление о содержании, границах и приемах изучения той отрасли знаний, которую называют историей словесности.

В моей памяти, как и в студенческих заметках, уцелели следы того диалектического процесса, какой задавал Буслаев нашему мышлению и которым мы усвоили столь новые для нас воззрения. Может быть, вспомнить эти усилия студенческой мысли не будет лишним не для самой науки, конечно, а для истории университетского образования и для биографии Буслаева.

Первое и главное произведение народной словесности есть самое *слово*, язык народа. Слово — не случайная комбинация звуков, не условный знак для выражения мысли, а творческое дело народного духа, плод его поэтического творчества. Это — художественный образ, в котором запечатлелось наблюдение народа над самим собой и над окружающим миром. В первых своих очертаниях этот образ заключился в корне слова. По мере накопления опыта и наблюдения, по мере осложнения впечатлений и отношений и первичный образ разрастается в *верование*, в идею божественной силы, незримо присутствующей в видимом мире, потом в миф, в представление о видимом,

ощутительном проявлении этой незримой силы, в закон или житейское правило, устанавливаемое этим верованием и представлением, наконец, в обычай и предание, создаваемые верованиями, мифами и законами путем их передачи из поколения в поколение. Вместе с тем по мере развития понятий и отношений корни слов обрастали этимологическими и фонетическими новообразованиями; система грамматических форм, первичное коренное значение слова последовательно изменялось и разветвлялось, давая от себя сложную систему производных, складывалась синонимическая и омонимическая лексика, выражавшая оттенки и соотношение впечатлений и явлений и т. д. Так язык рос вместе с народной жизнью, и его история есть летопись этой жизни и летопись художественная, своего рода эпопея, в поэтических образах отразившая народные верования, понятия, убеждения, обычаи и права в темную эпоху их зарождения.

Все это теперь кажется так просто и элементарно. Но усвоенные вовремя, эти элементарные сведения о строении языка и его отношении к жизни народа оказали нам потом неоценимую услугу. Немногим ученикам Буслаева пришлось по выходе из университета заниматься специально историей русского языка и литературы: из нашего выпуска 1865 г., если не ошибаюсь, никто не избрал этой специальности. Но многим из нас пришлось после иметь дело со старыми текстами, с памятниками древней письменности, и, сидя за ними, мы с благодарностью вспоминали и вспоминаем доселе уроки и советы Буслаева. Уча нас строению языка и его связи с народным бытом, он учил нас читать древние памятники, разбирать значение, какое имели слова на языке известного времени, сопоставлять изучаемый памятник с другими одновременными и посредством этого разбора и сопоставления приводить его в связь со всем складом жизни и мысли того времени.

Я не берусь говорить, что сделал он, собственно, для изучения словесности. Упомяну об этом только по связи с другою заслугой, оказанною им изучению русской истории. В изучении русской словесности он поставил новые задачи и принял новый метод. Главным предметом его внимания была народность, и отрасль знания, на которой он сосредоточивал свои работы, он сам называл сравнительным изучением народности, этой новой наукой XIX в., по его выражению. Перемена, внесенная этою новою наукой в направление изучения словесности, состояла в том, что научный интерес от отдельных памятников личного творчества перенесен был на народную массу. Он подробно изложил эту перемену в начале своей монографии

*Сравнительное изучение народного быта и поэзии.* «В прежнее время, — пишет он здесь, — ...главнейшие предметы для этой науки — язык, религия, начатки семейного и общественного быта, народная поэзия и обычное право. Все эти предметы должны быть изучаемы сравнительно. Необходимость такого изучения вытекает из открывающегося все явственнее факта первобытного сродства индоевропейской семьи народов и даже народов всего земного шара, т. е. сродства общечеловеческого». Сравнительная грамматика и сравнительная мифология языков индоевропейских, по его словам, привели к тем результатам... Материалы для такого изучения заключаются в разнообразных формах словесного творчества народа: краткие изречения, заговоры, пословицы, поговорки, клятвы, загадки, приметы, песни, сказки и пр. — все эти разрозненные члены эпического предания, в которых выражалось народное мирозерцание, в которых сказывалась народная душа и которых поэтому можно назвать источниками науки народной психологии. Но не одна устная словесность народа дает такие материалы: самородное творчество народа разорванными отзвуками западало и в письменную словесность. Восстановить связь между устной народной и письменной словесностью было задачей и заслугой Буслаева. В его ученом плане история литературы получала новый, научный склад и характер: из критико-библиографического обзора отдельных памятников письменности без внутренней связи, являвшихся более или менее удачными, но не всегда случайными проявлениями личного творчества, история словесности превращалась в изображение течений литературного творчества с указанием их народных источников, картину стройного и последовательного развития народного духа и быта, насколько тот и другой отразился в памятниках устной и письменной словесности, и не только словесности, но и искусства. Для восстановления этой связи устной словесности с письменной Буслаев предпринял неутомимое и широкое изучение обильного рукописного запаса, какой накопился в наших древлехранилищах, частных и общественных, и какой он сам мог найти на рынке старых книг и рукописей.

Это был другой общий источник как для истории русской словесности, так и для русской истории, и в изучение этого обильного и мало тронутого источника Буслаев внес большое оживление, даже, можно сказать, новое направление, благотворно отразившееся на успехах русской историографии вообще. Древнерусская письменность, почти исключительно духовная, церковная по своему содержанию, рассматривалась прежде как выражение нового христианского порядка

жизни, какой строился на старой языческой почве русского народа. Этот порядок должен был стать на языческой почве, подавив в ней все корни и поросли языческой старины. Но предполагалось, что эта христианская письменность по положению письменного дела в древней Руси питала мысль и чувство только высших классов общества и, слабо действуя на простонародье, на эту старую языческую почву, ничего и от нее не заимствовала, была от нее изолирована. Она представлялась течением, шедшим поверх общенародной жизни, освещавшим ее, но за нее не зацеплявшимся. Из этой письменности опускалась на народную жизнь освежительная, но скоро высохавшая роса, а по временам падали грозные обличения, но самый этот быт своими отношениями, повериями и чувствами не поднимался до высоты порядка, какой проводился в этой письменности. Так, например, в житиях русских святых история литературы черпала преимущественно образчики благочестия отдельных древнерусских людей. В этой-то письменности, в чуде жития, в набожной легенде, в миниатюре, которою украшались поля рукописей, даже в ином назидательном сказании Буслаев стал находить мотивы и образы чисто народного происхождения, как в пословице, загадке и т. д. Многие главы первого тома его *Исторических очерков* и весь второй том, носящий заглавие *Древнерусская народная литература и искусство*, посвящены изысканию этих народных мотивов и образов в древнерусской литературе. Можно сказать, что это — ряд монографий, дающих частичные ответы, прямые или косвенные, на один общий вопрос о влиянии народных поверий, мифов, понятий и обычаев на древнерусскую письменность. Оказалось, что течение, шедшее поверх старой русской жизни, не было совсем с ней разобщено, питалось и ее испарениями.

Так восстановлена была связь древнерусской письменности с ее туземными народными источниками. В содействии этому делу состояла несомненная научная заслуга Буслаева, частью испытанная мною на самом себе. Я помню, как оживился интерес к древнерусской рукописной литературе, и я раскрывал древнерусскую рукопись с нетерпеливой надеждой найти в ней свежие следы древнерусского народного быта и мышления. Изучение древнерусской письменности оживилось потому, что расширилось и углубилось. В ней стали искать отражение не одних только идеалов, норм пришлого порядка, который водворялся на Руси и часто терпел неудачи, но и той среды, которая его медленно и не всегда понятно воспринимала. Таким образом, по этой письменности стали изучать совместную ра-



боту новых культурных влияний и старых туземных сил, которые перерабатывались теми влияниями в культурные средства. Разумеется, и изучение письменности тем самым осложнилось, сделалось труднее: ее стало необходимо изучать в неразрывной связи и с народным бытом и мышлением.

Его эстетическая и патриотическая антипатия к искусственной литературе во имя самородной народной словесности не помешала его ученому беспристрастию помирить противниц и соединить их в единый цельный неисчерпаемый источник истории русской народной жизни — мысли и художественной фантазии...

---

## С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Сегодня 16-я годовщина смерти С. М. Соловьева. Многие ли из нас, здесь присутствующих, помнят его как преподавателя? По крайней мере далеко не все. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор — в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель — что проповедник: можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже очень сложная. Понятное дело: преподавателю прежде всего нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. М. Леонтьев совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую

с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надбилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но, бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний. Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складываются прошения, листы, исписанные крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской *Эдде* или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая *большая Словесная*, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору, не скажу упадка,— об этом грешно и подумать,— а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса. Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор; мы его и похоронили весной 1865 г. при выходе нашего курса из университета. Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год, когда стояла на очереди новая история, не читал совсем. Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли за его гробом. Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории древней Руси, на четвертом — более подробный курс русской истории XVIII в. В 1863 г., когда я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек. Не помню теперь, почему мне не пришлось

послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И. Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали. На третьем курсе студент уже перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, вбирающим все, что ни попадется ему питательного по пути. Он уже становится несколько разборчив в впечатлениях и знаниях, начинает понимать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора. По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений; пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько поослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотоле другая сила — потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом, — словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего я и в состоянии уже хватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смиренно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *Словесную* внизу высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно *говорил*, а не *читал*, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после на мой вопрос об этом он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшими. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон

речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело — тяжело писать и говорить, но легко писать и говорить — тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово — что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова — это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжелых неудач наших — в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда беденькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения — вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отвеяно от всего лишнего, что обыкновенно пристаёт к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти сладкие слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что

возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики, и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступить он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи. После, став ближе к Соловьеву и начав готовиться к профессуре под его руководством, я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми. Я уже не говорю о русской литературе, о русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор

жизни был уже произнесен и исход болезни определен. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого миросозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого миросозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его «*Истории России*», о нем как об ученом: это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек. Вы позволили мне занять теперь ваше благосклонное внимание беседой о профессорском преподавании Соловьева, об его университетском курсе русской истории. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из году в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом. С ним вообще трудно было завести речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения, и отзываться о них с похвалой в его присутствии — значило сделать ему неприятность. Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоящим и пятак, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце, при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятак не случилось!» Конечно, превосходная первая глава XIII тома его «*Истории*», содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы «*Начало Русской земли*», «*Древняя Россия*», «*Исторические письма*» и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса. В этих статьях

есть все, что проводилось и развивалось в курсе; но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это — главное, если не все. Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными; но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты: одну из них можно назвать прагматической, другую — моралистической. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, о последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом — *историчностью*. Вы думаете, легкое дело растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах людского общежития, об историческом процессе, о закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса. У Соловьева сравнения, аналогия жизни



народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза *естественно и необходимо*, повторявшаяся при всяком случае, как припев,— все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности. С другой стороны,— да не покажется нам это странным,— Соловьев был историк-моралист: он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, *знамение правды божией*. Я не вижу в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороною, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть «жертва», что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит в «перевесе сил нравственных над материальными», что величие древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано, как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения, и мне думалось, что эти идеи органически вырастали из объясняемых ими фактов.

Вот что счел я небесполезным в день памяти Соловьева — припомнить об его университетском преподавательстве. Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заве-

дения; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекцию в *классе*; неудобно и сказывать урок в *аудитории*: в первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что было; профессор рассуждает со студентами, что это былое *значило*. Но Соловьев так *рассуждал* со студентами о былом, что они живо представляли себе, как это происходило; желательно, чтобы учитель так *рассказывал* о былом, чтобы ученикам хотелось *рассуждать* о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.

---

## ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА

(умер 4 октября 1879 г.)

Двадцать пять лет прошло со дня кончины С. М. Соловьева. Смерть застала историка за XXIX томом его *«Истории России с древнейших времен»* и прервала его тридцатилетний труд на полуфразе.

Когда стало известно, что работа, столько лет привлекавшая к себе внимание образованного русского общества, остановилась навсегда, что замерла энергия, ее двигавшая, первым побуждением было воздать должное покойному ученому, оценить, что сделал он своим многолетним трудом для науки, для изучения русской истории, для национального самопознания. Время строго проверяет чувства и суждения. Двадцать пять лет — достаточно продолжительный срок для проверки. Пишущий эти строки, которому досталась ответственная честь стать преемником С. М. Соловьева по кафедре, под первым впечатлением понесенной утраты написал несколько внушенных чувством ученика строк о характере почившего историка и значении его труда. Перечитав написанное четверть века спустя, автор не нашел преувеличения, к какому обыкновенно располагает еще не закрытая могила. Скорее напротив: черты кажутся бледными и неполными, взгляд недостаточно широким. Этим впечатлением оправдывается решимость предложить вниманию читателя этот спешный коротенький очерк, анонимно помещенный в давно прерванном издании. По нему можно отчасти судить, как значение этих 29 томов *«Истории России»* уяснялось и росло по смерти историка, разрушая опасения и его собственные предсказания, что громадная книга будет скоро снята со стола и забыта.

...Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значение его учено-литературной деятельности, его образ мыслей и убеждения, его взгляд на исторические судьбы России. Под неостывшим еще впечатлением тяжелой утраты попытаемся припомнить хотя только наружные, самые поверхностные черты его как ученого.

Соловьев рано стал и до конца жизни остался ученым. Он умер, не дожив до конца своего 60-го года; но имя его уже 34 года известно в русской ученой литературе. Его деятельность в эти 34 года была разделена между архивами, университетской аудиторией и письменным столом его кабинета. Он удивительно много и правильно работал и на успехи русской исторической науки имел влияние, которое пока трудно еще оценить достаточно. С 1845 г., когда появилось его первое исследование по русской истории, и до последней строки, им написанной незадолго до смерти, он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы. В движении русской историографии это время можно смело обозначить именем Соловьева: живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего отечества, охотно согласятся с этим. Вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связав одной мыслью разорванные лоскуты исторических памятников, и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории.

Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться на том или другом факте дольше Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, чем изучал он; но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах. В 1851 г. вышел первый том его *«Истории России»*, и с тех пор каждый год читатель получал новый том в урочное время с точностью, которой не могла победить даже предсмертная болезнь автора: умирая, он сдал XXIX том в типографию почти законченным; перо выпало из

руки недалеко от предположенного конца книги — описания казни Пугачева. Никогда прежде в продолжение почти трех десятилетий в нашу историческую литературу не вливалось так последовательно, такой непрерывной струей столько свежих знаний. После продолжительного и трудного пути повествователь подходил уже к порогу нашего века; жизнь одного поколения отделяла его от времени наших отцов, когда оборвалась нить его повести и его жизни. Он напоминает своей деятельностью нашего древнего колонизатора, который, отыскав протоптанную тропу по опушке дремучего леса, первый отважился продолжить ее в не пройденную никем глубь и упал, когда уже стал показываться просвет с другой стороны чащи.

Сам историк очень спокойно смотрел на значение труда, которому он отдал 30 лучших лет своей жизни. Задолго до смерти он высказывал уверенность, что в недалеком будущем напишут историю России лучше его; за собой он удерживал только заслугу первой тяжелой расчистки пути, первой обработки сырого материала. Но по многим причинам 29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев: исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступать рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-либо остроумной догадкой, которая поселила бы самодовольную уверенность, что вопрос покончен, или легла бы лишним камнем на пути для других исследователей. Вот почему от такой продолжительной и быстрой работы над неопрятным, неочищенным материалом у Соловьева осталось так мало *ученого сора*. Найдут разные недостатки в его огромном труде; но нельзя упрекнуть его в одном, от которого всего труднее освободиться историку: никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока.

Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетон-

ным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманый факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность *сухого* историка. Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал. Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаз, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатстве.

Истории Соловьев не ронял до памфлета. Он умел рассматривать исторические явления данного места и времени независимо от временных и местных увлечений и пристрастий. Его научный исторический кругозор не ограничивался известными градусами географической широты и долготы. Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из вида общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества. Мыслитель скрывался в нем за повествователем; его рассказ развивался на историко-философской основе, без которой история становится забавой праздного любопытства. Оттого исторические явления стоят у него на своих местах, освещены естественным, а не искусственным светом; оттого в его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней беллетристической стройности изложения.

Широта исторического взгляда была отражением широты его исторического образования. В области русской истории трудно быть специалистом более Соловьева. Не много будет после него ученых, которым удастся так последовательно и полно изучить источники нашей истории. Но Соловьев не закапывался в свою специальность. В этом отношении он — поучительный образец, особенно для занимающихся отечественной историей, между которыми часто проявляется склонность уединяться в своей цеховой келье. Первый мастер своего дела, Соловьев хранил в себе хорошие свойства ученых старого времени, когда научные специальности еще не расходились

между собою так далеко, как разошлись они теперь. Образцовые произведения исторической и политической литературы Европы со времени Геродота и до наших дней он изучал в подлинниках и знал превосходно. Библейские книги были ему знакомы, как древние русские летописи. Знатоки поражались внимательностью, с какой он следил за текущей иностранной литературой по истории, географии, этнографии и другим смежным отраслям знания; для них остается неразрешимой загадкой, где находил время для этого человек, с такой педантической точностью исполнявший свои служебные обязанности, постоянно писавший в периодических изданиях и ежегодно издававший новый том *«Истории России»*. В минуты отдыха он особенно охотно говорил о какой-нибудь замечательной литературной новости, иностранной или русской, часто очень далекой от предмета его текущих специальных занятий. Феноменально счастливая память помогала этой безустанной работе. Казалось, эта память не умела забывать, как мысль, которой она служила, не умела уставать. Наблюдатель, изучив свойства его таланта, образ его мыслей, круг его интересов, наконец с недоумением останавливался перед самым устройством его ума: оно поражало его, как редкий ученый механизм, способный работать одинаково спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоить время и восстанавливать силы простой переменой занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов. Прошедшим летом, прикованный болезнью к креслу, он не мог оторваться от только что изданной переписки Погодина со славянскими учеными и знакомым, пришедшим навестить больного и напрасно усиливавшимся сдерживать его участие в разговоре, передавал свои воспоминания о Шафарике и народно-литературном движении среди чехов сороковых годов с живостью недавнего впечатления, хотя прошло 37 лет с тех пор, как он был в Праге. Вслед за тем показал он только что полученный выпуск географического труда Реклю, где помещен рисунок старинного деревянного храма в Норвегии, близко напоминающего своей архитектурой московский храм Василия Блаженного, готов был без конца рассуждать о происхождении и значении этого сходства. Недели за три до смерти голосом, которого уже не хватало на окончание слов, он еще спрашивал посетителя: не вышло ли чего новенького по нашей части? Интерес знания еще живо горел, когда гасла физическая жизнь.

Эта энергия умственных интересов поддерживалась един-

ственно нравственной бодростью и не знала тех искусственных возбуждений, которые приходят со стороны на помощь писателю. Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей своей книги; он даже преувеличивал равнодушие к ней публики. Говоря об увеличивающемся спросе на книгу, о необходимости новых изданий разных ее томов, он объяснял это исключительно заглавием своего труда и размножением казенных и общественных библиотек, которым надобно же иметь на полках *«Историю России с древнейших времен»*. Но он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета.

Его нравственный характер очень поучителен. Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси ввиду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях; осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня; они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой.

## II

Все это бледно, неполно, поверхностно. Сказать это теперь — значит сказать слишком мало. К двадцать пятой годовщине смерти историка стало ясно и общепризнанно многое, что лишь смутно предчувствовалось или чаялось при гробе. Большое компактное издание *«Истории»* в шести полновесных книгах, начатое в 1893 г., стало быстро расходиться, и три года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые три книги вышли уже вторым изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. К нему обращался образованный читатель, желавший расширить, упорядочить и освежить идеями и конкретными впечатлениями свои познания по русской истории. Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов, обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступавших к научному изучению нашего прошлого. Целый ряд специальных исследований, посвященных уче-



ной разработке отдельных фактов, эпизодов, учреждений, источников нашей истории, шел от положений, изложенных в *«Истории России»*, в ней искал первых руководительных указаний и ею же проверял свои выводы и открытия, даже когда частично пополнял и поправлял ее. В популярных изложениях русской истории нередко сквозят материал, фон, мысли и краски, данные тем же произведением. Широкие обобщения и сопоставления, стереотипные положения о естественности и необходимости исторических явлений, о закономерности в истории, параллели между личной, индивидуальной и массовой народной жизнью — такие общие исторические идеи, которыми Соловьев любил, как световыми полосками, прокладывать в своем изложении фон исторической жизни, оказывали формирующее действие на мышление русского читателя, еще не отвыкшего мешать историю с анекдотом, мирили его с мыслью, что и в истории есть своя таблица умножения, свое непререкаемое *дважды два*, без которого немислимо никакое историческое мышление, невозможно даже никакое людское общежитие.

Все это было признано и ценилось еще при жизни историка. Теперь, отдаленные от него таким пространством времени, можем ввести в его оценку еще один мотив: к признанию того, что им сделано для русской истории, можно присоединить сожаление о том, что преждевременная смерть помешала ему сделать. В минуту смерти речь об этом могла показаться неуместной жалобой; через 25 лет такое сожаление — спокойно-грустное воспоминание о научной потере, которая для русской историографии осталась доселе невознагражденной.

Эта утрата ближайшим образом касалась русской истории XVIII в. В *«Истории России»* этот век впервые вскрывался во всей полноте своего нетронутого наукой содержания и в непрерывной, тщательно выясненной преемственной связи с его *девятью* предшественниками. Уже три четверти столетия были пройдены историком, пером и словом которого более 30 лет возбуждалось и поддерживалось внимание русского читающего общества и учащегося юношества к своему прошлому. Тогда уже привыкали думать: еще несколько лет, еще немного усилий неутомимого труда, и этот век, русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами, наконец предстанет перед читателем в цельном научном изображении.

В XIII томе *«Истории России»*, где изложены царствование Федора Алексеевича и следовавшая за смертью этого царя московская Смута 1682 г., автор поставил рядом с общим загла-

вием своего труда другое, частное, повторенное и в дальнейших пяти томах до смерти Петра Великого: «История России в эпоху преобразования». Большую половину XIII тома занимает предпосланная царствованию Федора вводная глава, в которой за общим обзором хода древней русской истории следует превосходное изображение состояния России перед эпохой преобразования. Таким образом, на 1676 г., когда началось царствование Федора, сам историк провел раздельную черту между древней и новой Россией. Этот XIII том появился в 1863 г. Семнадцать лет писал Соловьев новую русскую историю. Быстро развившаяся болезнь остановила работу, которая по возрасту автора могла бы продолжаться еще немало лет. Неоконченный XXIX том, изданный по смерти историка в 1879 г., доводит обзор внешней политики до 1774 г., когда был заключен мир с Турцией и Кучук-Кайнарджи, а в описании внутреннего состояния России прерывается на делах 1772 г., перед самым мятежом Пугачева, казнь которого (в январе 1775 г.) предполагено было закончить этот том. Соловьев признавался, что не рассчитывает вести свой труд дальше царствования Екатерины II. Рассказ о нем начат в XXV томе. Если первые 12 лет деятельности этой императрицы потребовали пяти томов, то на остальные 22 года необходимо было не менее шести. И если бы плану историка суждено было осуществиться, читатель получил бы громадный исторический труд в 35 томах, из коих 23 были бы посвящены изображению всех 120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в. Так «История России», по замыслу автора, — собственно история новой России, подготовляемой к преобразованию, преобразуемой и преобразованной, и первые 12 томов труда — только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе.

Дело биографии рассказать о редко удающемся совмещении в одном лице качеств, которым удивлялись в Соловьеве, такой научной подготовки, широты исторического взгляда, любви и способности к непрерывной умственной работе, умения беречь время, силы воли, наконец, такого запаса физических сил, личных условий, встреча которых сделала возможным создание «Истории России». Оглядываясь на этот труд на расстоянии 25 лет от минуты, навсегда его прервавшей, невольно остаиваешься мыслью на его отношении к своему времени, спрашиваешь себя, что он давал своему времени и что воспринимал от него. Это довольно сложный вопрос, относящийся к истории нашего общества, просвещения, нашего общественного самосознания. Было бы опрометчиво входить в разбор

такого вопроса в воспоминании *по случаю*; но позволительно сделать некоторые сопоставления.

Первые томы «Истории России» появлялись в то время, когда в русском литературном мире, не в литературе и не в обществе, а именно в кругу людей, близко стоявших к литературе, но в ней вполне не высказывавшихся, боролись два взгляда на наш XVIII век, собственно на петровскую реформу, наполнявшую его собой и своими разносторонними последствиями. Это очень известные взгляды сороковых и пятидесятих годов прошлого столетия. Люди, смотревшие одним из этих взглядов, видели в реформе Петра пробуждение России, поднятой на ноги толчком могучей руки преобразователя, который, призвав на помощь средства западноевропейской цивилизации, вывел Россию из ее векового культурного застоя и бессильного одиночества и заставил развивать свои мощные, но дремавшие силы в общечеловеческой жизни, в прямом общении с образованным европейским миром. Другие находили, что в последовательном и самобытном движении нашей народной жизни реформа Петра произвела насильственный перерыв, сбивший ее с прямой исторической дороги в чужую сторону, убивший зачатки ее самобытного развития чуждыми формами и началами, навязанными ей гениальным капризом. Смотри на дело с противоположных точек зрения, пользуясь для наглядного выражения своих взглядов образами, взятыми из различных порядков явлений, обе стороны сходились в одном основном положении: обе признавали, что реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая — великим несчастьем для России.

Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из борющихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала

XVIII в. прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический: существенно важно лишь то, что полтора столетия спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении. Умы стали практичнее относиться к вопросу о месторождении форм и начал жизни; многие становились на ту точку зрения, что пусть известные формы и начала и не совсем самородны по происхождению, лишь бы они вызвали к действию дремлющие или опустившиеся народные силы, помогли справедливо развязать запутавшиеся узлы общественных отношений. Во всяком случае можно безобидно сказать, что в начале шестидесятых годов прошлого столетия в нашем обществе не существовало прочно установившегося, господствующего взгляда на ход и значение нашей истории в последние полтора века. В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября, Соловьев издал XIV том своей *«Истории России»*, в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII в.

Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И, однако, то время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судоустройстве и местном управлении. Но самому обществу было, по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его есте-

ственному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса. От появления случайностей, недостаточно предусмотренных, от преемственной смены подъемов и понижений духа в общественном сознании, наконец, отложилось одно несколько выяснившееся историческое представление, что русская жизнь безвозвратно сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые. Тогда русская история опять разделилась на две неравные половины: дореформенную и реформированную, как прежде делилась она на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую. Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению настроили свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесспоротно перешла на новые основы?

Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа. Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по принадлежности со стереотипным предостережением, *saveant consules*, а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена

соответственным испугу градусом восточной долготы. Образованные и состоятельные классы, обязанные показать своим поведением, как следует переходить со старых основ жизни на новые, выставляли из своей среды деятелей, являвшихся в уголовных отделениях новообразованных окружных судов печально убедительными показателями уровня, на каком покоились их нравы. При таких примерах слишком взыскательное отношение к тому, как только что вышедшие на волю крестьяне понимали и практиковали дарованное им сословное самоуправление, было бы общественной несправедливостью.

При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодуя на все, что мешало успехам преобразовательного движения. В журнальных статьях он по временам отзывался на текущие вопросы, занимавшие русское общество. Достаточно вспомнить хотя бы его *«Исторические письма»* 1858 г., начинающиеся указанием на то, как много жизнь требует от науки, как много объяснений требует настоящее от прошедшего. Здесь же он высказал и свой взгляд на отношение науки к жизни. «Жизнь, — писал он, — имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».

Все знали, что историк — сторонник одного из указанных выше взглядов, что он даже один из самых убежденных и сильных его защитников в нашей исторической литературе. Но с каждым дальнейшим томом читателю становилось все яснее, что изображение реформы делается не под исключительным углом зрения, какой установлен был взглядом его стороны, что, не изменяя основным ее воззрениям, он значительно преломляет их, исправляя и углубляя привычные суждения. В пяти томах, посвященных собственно деятельности Петра, и потом во всех дальнейших читатель встречает полное изображение реформы с многообразными последствиями и связями, какие соединяли с ней все явления нашей внешней и внутренней жизни как при самом преобразователе, так и при его преемниках и преемницах до последней четверти того

века,— и все это на основании изучения обширнейшего, большею частью нетронутого исторического материала, изучения, какого не предпринимал еще ни один русский ученый до Соловьева. Историк остался верен благоговейному удивлению перед деяниями Петра, который в его повествовании вырастает в величавый, колоссальный образ, во всю свою историческую величину. Но история не превращалась в эпос: самый процесс реформы при Петре и после него описан удивительно просто или, как говорится, объективно, со всеми колебаниями и ошибками, с намеренными и нечаянными уклонениями в сторону и с тревожными, как бы инстинктивными поворотами на прежний путь. Читатель, переживший реформы императора Александра II, мог по книге Соловьева с большим для себя назиданием наблюдать, во что обходился, каких усилий и жертв стоил Петру каждый успех в общем улучшении народной жизни, как при каждом шаге могучего двигателя старина силилась отбросить его назад, как, по печально удачному выражению Посошкова, «наш монарх на гору сам-десять тянет, а под горы миллионы тянут»,— короче, сколько условности, метафоры в наших словах, когда мы, из своей обобщающей дали оглядываясь на прошлое, говорим о переходах народной жизни со старых основ на новые.

Но самое сильное и поучительное впечатление, какое выносил из книги читатель, заключалось во взгляде на происхождение реформы, на ее отношение к древней Руси. «Никогда,— писал историк в заключительной оценке деятельности Петра,— ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века». «История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории». И рядом с этим читаем суждение о реформе Петра как о перевороте, необходимо вытекавшем со всеми своими последствиями из условий предшествовавшего положения русского народа, что деятельность Петра была подготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо из нее вытекала, требовалась народом. Итак, ни личного произвола, ни насильственного, хотя бы творческого перерыва в естественном движении народной жизни, ничего чудесного не понадобилось для научного объяснения единственного в своем роде исторического дела, совершенного «величайшим из исторических деятелей», как назвал Соловьев Петра I: достаточно было простой мысли, что народная жизнь никогда не порывает

со своим прошедшим, что такой разрыв — только новая метафора.

В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом, перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., «История России» все более переходила к летописному, погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая основа в ткани проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра. Меняются лица и обстановка, а преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими преемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность: так живо чувствуется действие его идей и начинающий либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра — неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений.

Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение. Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение. То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотоле; тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания взглянуть на дело Петра. С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итог, подсчитать результаты и объяснить неожиданности. Один из питомцев Петра выразился о преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то почерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 г. впервые



победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то распространение телесных наказаний на привилегированные сословия три четверти века спустя после указа о пытке можно признать последней законодательной пробой того же дела, только с другой стороны. Одна из любопытнейших частей нашей истории — судьба петровских преобразований после преобразователя — осталась недосказанной в книге Соловьева. Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, — перед завершительным *итак*. Этот перерыв оставил, и, может быть, надолго, в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые его течения; ничье суждение не помогло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежнего правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об *отечестве* в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.

Повторю: в двадцать пятую годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь невольно о том, что смерть помешала ей сделать.

---

## МОСКВА И ЕЕ КНЯЗЬЯ В УДЕЛЬНЫЕ ВЕКА<sup>1</sup>

Власть хана была грубым татарским ножом, разрезавшим узлы, в какие умели потомки Всеволода III запутывать дела своей земли. Русские летописцы не напрасно называли поганых агарян батоном Божиим, вразумляющим грешников, чтобы привести их на путь покаяния. Всех удачнее пользовались этим батоном великие князья московские против своей братии. Особенно явственно обнаружилось это во время единственной уособицы, разыгравшейся между московскими князьями в княжение Василия Темного. Эта уособица произошла вследствие притязания кн. Юрия галицкого, дяди Василия, занять великокняжеский стол помимо племянника. Этот дядя, опираясь на свое старшинство и ссылаясь на духовную своего отца Димитрия Донского, не хотел признать старшим десятилетнего племянника, и в 1431 г. поехал в Орду тягаться с ним. Успех Юрьева притязания перенес бы великое княжение в другую линию московского княжеского дома, расстроил бы порядки, заводившиеся Москвой целое столетие, и грозил бесконечной уособицей. Хан рассек узел: отуманенный льстиво-

---

<sup>1</sup> Этим отрывком из печатаемой II части «Курса русской истории» заканчивается обзор возвышения Московского княжества (до Ивана III), постепенного расширения его территории и усиления власти великого, т. е. старшего князя московского. Ряд благоприятных условий содействовал успехам Москвы. Одно из них заключалось в отношениях к татарам. Как ни бедственно было для Руси татарское иго, оно возбуждало силы поработенного, но не павшего народа, заставляя его искать выхода из тяжкого положения. Властвуя над Русью издали, завоеватели не навязывали ей своих порядков и даже мешали развитию внутренней неурядицы господствовавшего в ней удельного порядка. Гроза ханского гнева иногда удерживала задорных князей от уособиц.—  
*Примеч. В. О. Ключевского.*

насмешливою речью ловкого московского боярина Всеволожского, доказывавшего, что источник права — его ханская милость, а не старые летописцы и не мертвые грамоты (т. е. духовная Донского), — хан решил дело в пользу Василия.

Другое благоприятное условие заключалось в новом порядке преемства великокняжеской власти. Значение, какое приобретало Московское княжество своими успехами, все доставалось великому князю, старшему из московских князей, который сверх своего московского удела владел еще великокняжеской Владимирской областью. С Ивана Калиты в продолжение ста лет таким великим князем становился почти всегда старший сын предшествовавшего великого князя, у которого в минуту смерти обыкновенно не оказывалось налицо младших братьев. Случилось так, что московский княжеский дом не разрастался в боковые ветви; младшие дяди вовремя уходили со сцены, не становясь поперек дороги старшим племянникам. Потому переход великокняжеского достоинства в нисходящей линии до смерти Калитина правнука, вел. кн. Василия Дмитриевича, не вызывал спора среди московских князей, а князьям других линий, соперничавшим с московскими, ни суздальским, ни тверским, не удалось перебить у них великого княжения. Случайность, повторяясь, становится прецедентом, который силой привычки превращается в обязательное требование, в правило. Не оспариваемый переход великокняжеской власти от отца к сыну, повторявшийся в продолжение нескольких поколений, стал, по выражению летописи, «отчеством и дедством», обычаем, освященным примерами отцов и дедов, на который общество начало смотреть, как на правильный порядок, забывая о прежнем порядке преемства по старшинству. И это условие резко вскрылось в той же московской усобице. Продолженная по смерти Юрия его сыновьями, она взволновала все русское общество, руководящие классы которого, духовенство, князья, бояре и другие служилые люди, решительно стали за Василия. Галицкие князья встречены были в Москве как чужие и как похитители чужого, и чувствовали себя здесь одиноко, окруженные недоверием и недоброжелательством. Когда сын Юрия Шемяка, по смерти отца наследник его притязаний, нарушил свой договор с Василием, последний отдал дело на суд духовенства. Духовный собор из пяти митрополитов с несколькими архимандритами (тогда не было митрополита на Руси) в 1447 г. обратился к нарушителю договора с грозным посланием, и здесь иерархи высказали свой взгляд на политический порядок, какой должен существовать на Руси. Духовенство решительно восстало против притязаний Шемякина

отца на великокняжеский стол, признавая исключительное право на него за племянником, старшим сыном предшествовавшего великого князя. Притязание Юрия, помыслившего незаконно о великом княжении, духовенство сравнивает с грехом праотца Адама, возымевшего желание «равнобожества», внушенное сатаной. «Сколько трудов понес отец твой,— писали владыки,— сколько истомы потерпело от него христианство, но великокняжеского стола он все-таки не получил, чего ему не дано Богом, ни *земскою изначала пошлиной*». Итак, духовенство считало единственно правильным порядком преемство великокняжеского стола в нисходящей линии, а не по очереди старшинства, и даже наперекор истории признавало такой порядок исконной «*земской пошлиной*», т. е. старинным обычаем Русской земли. Этот новый порядок пролагал дорогу к установлению единовластия, усиливая одну прямую старшую линию московского княжеского дома, устраняя и ослабляя боковые младшие. И усобица еще не кончилась, а глава русской иерархии уже провозглашал единовластие законного московского великого князя совершившимся фактом, пред которым обязано преклоняться все русское общество, и князя, и простые люди. Новопосвященный митрополит Иона в известительном окружном послании 1448 г. о своем посвящении призывает князей, *панов*, бояр, воевод и все христоименитое «людоство» бить челом своему государю, вел. князю Василию, отдаться в его волю; если же они этого не сделают и допустят Шемяку возобновить усобицу, с них взыщется вся пролитая кровь христианская, в земле их никто не будет больше зваться христианином, ни один священник не будет священствовать, все церкви Божии будут затворены.

В деятельной поддержке, оказанной обществом во время усобицы новому порядку преемства великокняжеской власти, сказались третье и самое важное условие, упрочившее политические и национальные успехи Московского княжества. Как скоро из среды удельных князей поднялся один с такими средствами, какими обладал, со стремлениями, какие проводил преемственный ряд великих князей московских,— вокруг него начали сосредоточиваться политические помыслы и народные интересы всего северо-русского населения. Это население ждало такого вождя, и это ожидание шумно проявилось в усобице. Здесь фамильные усилия московских великих князей встретились с народными нуждами и стремлениями. Первоначальной движущей пружиной деятельности этих князей был династический интерес, во имя которого шло и внешнее усиление их княжества, и внутреннее сосредоточение власти в одном лице.

Но этот фамильный, своекорыстный интерес был живо поддержан всем населением Северной Руси с духовенством во главе, лишь только почувствовали здесь, что он совпадает с «общим добром всего нашего православного христианства», как писал в одном послании тот же митрополит Иона. Эта поддержка объясняется фактом, незаметно совершившимся в Северной Руси под шум княжеских усобиц и татарских погромов. Мы знаем, какие обстоятельства заставили массу русского населения передвинуться из старой днепровской Руси в область верхней Волги. Это передвижение сопровождалось раздроблением народных сил, выразившимся в удельном дроблении верхневолжской Руси. Очутившись в новых условиях в непривычной обстановке, среди чуждого им туземного населения, пришельцы с юга не могли ни восстановить старого, ни скоро установить нового общего порядка и рассыпались по многочисленным, все мельчавшим уделам. Но они не смыкались в замкнутые удельные миры, отчужденные друг от друга, как были отчуждены удельные князья. Народное брожение продолжалось, и сами князья поддерживали его своими усобицами: летописи прямо говорят, что ссоры тверских и других князей заставляли обывателей их княжеств уходить в более спокойные края. А с конца XIV в. поднялось усиленное переселенческое движение из междуречья на север, за Волгу. Размещаясь мелкими поселками, ведя более двух веков дробную работу по местам, но при сходных экономических и юридических условиях, переселенцы со временем сложились всюду в сходные общественные типы, освоились между собою, выработали на значительных пространствах известные взаимные связи и отношения, юридический быт и хозяйственный оборот, нравы, ассимилировали окрестных инородцев, и из всех этих этнографических элементов, прежде рассыпанных и разъединенных, к половине XV в. среди политического раздробления сложилась новая национальная формация. Так завязалась и окрепла в составе русского населения целая плотная народность — *великорусское племя*. Оно складывалось тяжело и терпеливо. В продолжение 234 лет (1228—1462) северная Русь вынесла 90 внутренних усобиц и до 160 внешних войн, при частых поветриях, неурожаях и неисчислимых пожарах. Выросши среди внешних гроз и внутренних бед, быстро уничтоживших плоды многолетней кропотливой работы, оно чувствовало потребность в политическом сосредоточении своих неустроенных сил, в твердом государственном порядке, чтобы выйти из удельной неурядицы и татарского порабощения. Эта потребность и была новой, скрытой, но могущественной

причиной успехов вел. князя московского, присоединившейся к первоначальному и основному, какими были: *экономические выгоды* географического положения г. Москвы и Московского княжества, *церковное значение*, приобретенное Москвой при содействии того же условия, и согласованный с обстоятельствами времени *образ действий* московских князей, внушенный их генеалогическим положением.

Той же потребностью объясняется неожиданный и чрезвычайно важный для северной Руси исход московской усобицы. Начав княжение чуть не ребенком, мягкий и благодушный Василий, казалось, совсем не годился для боевой роли, какая ему была суждена. Не раз побитый, ограбленный и заточенный, наконец, ослепленный, он, однако, вышел из 19-тилетней борьбы с приобретениями, которые далеко оставили за собою все, что заработали продолжительными усилиями его отец и дед. Когда он вступал на спорный великокняжеский стол, московская вотчина была разделена на целый десяток уделов; а когда он писал свою духовную, вся эта вотчина была в его руках, кроме половины одного из прежних уделов (верейская половина Можайского княжества). Сверх того, ему принадлежало Суздальское княжество, вотчици которого служили ему или бегали по чужим странам; московские наместники сидели по рязанским городам, Новгород Великий и Вятка были во всей его воле. Наконец, он не только благословил своего старшего сына великим княжением, что еще колебался сделать его отец, но и прямо включил великокняжескую область в состав своей наследственной вотчины. Такие успехи достались Темному потому, что все влиятельное, мыслящее и благонамеренное в русском обществе стало за него, за преемство великокняжеской власти в нисходящей линии. Приверженцы Василия не давали покоя его соперникам, понимали их жалобами, протестами и происками, брали на свою душу его клятвы, пустили в дело на его защиту все материальные и нравственные средства, какими располагали. Внук Донского попал в такое счастливое положение, не им созданное, а им только унаследованное, в котором цели и способы действия были достаточно выяснены, силы направлены, средства заготовлены, орудия приспособлены и установлены,— и машина могла уже работать автоматически, независимо от главного механика. Как скоро население северной Руси почувствовало, что Москва способна стать политическим центром, около которого оно могло собрать свои силы для борьбы с внешними врагами, что московский князь может быть народным вождем в этой борьбе,— в умах и отношениях удельной Руси совершился перелом.

решивший судьбу удельного порядка: все дотоле затаенные или дремавшие национальные и политические ожидания и сочувствия великорусского племени, долго и безуспешно искавшие себе надежного пункта прикрепления, тогда сошлись с династическими усилиями московского великого князя и понесли его на высоту национального государя Великороссии. Так можно обозначить главные моменты политического роста Московского княжества.

Часто дают преобладающее значение в ходе возвышения Московского княжества личным качествам его князей. Окончив обзор политического роста Москвы, мы можем оценить и значение этих качеств в ее истории. Нет надобности преувеличивать это значение, считать политическое и национальное могущество Московского княжества исключительно делом его князей, созданием их личного творчества, их талантов. Исторические памятники XIV и XV вв. не дают нам возможности живо воспроизвести облик каждого из этих князей. Московские великие князья являются в этих памятниках довольно бледными фигурами, преемственно сменявшимися на великокняжеском столе под именами Ивана, Семена, другого Ивана, Дмитрия, Василия, другого Василия. Всмотреваясь в них, легко заметить, что перед нами проходят не своеобразные личности, а однообразные повторения одного и того же фамильного типа. Все московские князья до Ивана III, как две капли воды, похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий. В их деятельности заметны некоторые индивидуальные особенности; но они объясняются различием возраста князей или исключительными внешними обстоятельствами, в какие попадали иные из них; эти особенности не идут далее того, насколько изменяется деятельность одного и того же лица от таких условий. Следя за преемственной сменой московских князей, можем уловить в их обликах только типические фамильные черты. Наблюдателю они представляются не живыми лицами, даже не портретами, а скорее манекенами; он рассматривает в каждом его позу, его костюм, но лица их мало что говорят зрителю.

Прежде всего московские Даниловичи отличаются замечательно устойчивой посредственностью — не выше и не ниже среднего уровня. Племя Всеволода Большого Гнезда вообще не блистало избытком выдающихся талантов, за исключением разве одного Александра Невского. Московские Даниловичи даже среди этого племени не шли в передовом ряду по личным качествам. Это князья без всякого блеска, без признаков как героического, так и нравственного величия. Во-первых, это

очень мирные люди; они неохотно вступают в битвы, а вступая в них, чаще проигрывают их; они умеют отсиживаться от неприятеля за дубовыми, а с Дмитрия Донского за каменными стенами московского Кремля; но еще охотнее при нападении врага уезжают в Переяславль или куда-нибудь подальше, на Волгу, собирать полки, оставляя в Москве для ее защиты владыку-митрополита да жену с детьми. Не блестя ни крупными талантами, ни яркими доблестями, эти князья равно не отличались и крупными пороками или страстями. Это делало их во многих отношениях образцами умеренности и аккуратности; даже их склонность выпить лишнее за обедом не возвышалась до столь известной страсти древнерусского человека, высказанной устами Владимира Святого. Это средние люди древней Руси, как бы сказать, больше хронологические знаки, чем исторические лица. Лучшей их семейной характеристикой могут служить черты, какими характеризует великого князя Семена Гордого один из позднейших летописных сводов: «Великий князь Симеон был прозван Гордым, потому что не любил неправды и крамолы, и всех виновных сам наказывал, пил мед и вино, но не напивался допьяна и терпеть не мог пьяных, не любил войны, но войско держал наготове». В шести поколениях один Димитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих предшественников и преемников. Молодость (умер 39 лет), исключительные обстоятельства, с 11 лет посадившие его на боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившая шумом и тревогами его 30-летнее княжение, и более всего великое побоище на Дону — положили на него яркий отблеск Александра Невского, и летопись с заметным подъемом духа говорит о нем, что он был «крепок и мужествен и взором дивен зело». Биограф-современник отметил и другие, мирные качества Димитрия, набожность, семейные добродетели, прибавив: «Аще книгам не учен сый добръ, но духовные книги в сердць своем имяше». При этом единственном исключении художнику высокого стиля вообще мало дела с московскими князьями. Но не блистая особыми доблестями, эти князья совмещали в себе много менее дорогих, но более доходных качеств, отличались обилием дарований, какими обыкновенно наделяются недаровитые люди. Прежде всего эти князья дружно живут друг с другом. Они крепко держатся завета отцов: «жити за один». В продолжение четырех поколений, со смерти Данила до смерти Василия Димитриевича, Московское княжество было, может быть, единственным в северной Руси, не страдавшим от усобиц собственных князей. Потом



московские князья — очень почтительные сыновья: они свято почитают память и завет своих родителей. Поэтому среди них рано складывается наследственный запас понятий, привычек и приемов княжения, образуется фамильный обычай, отцовское и дедовское предание, которое заменяло им личный разум, как нам школьная выучка нередко заменяет самостоятельность мысли. Отсюда твердость поступи у московских князей, ровность движения, последовательность действия; они действуют более по памяти, по затверженному завету отцов, чем по личному замыслу, и потому действуют наверняка, без капризных перерывов и с постоянным успехом, как недаровитому ученику крепкая память позволяет тверже отвечать урок сравнительно с бойким мальчиком, привыкшим говорить своими словами. Работа у московских князей идет ровной и непрерывной нитью, как шла пряжа в руках их жен, повинаясь движению веретена. Сын цепко хватается за дело отца и по мере сил ведет его дальше. Уважение к отцовскому завету в их холодных духовных грамотах порой согревается до степени теплого набожного чувства. «А пишу вам се слово, — так Семен Гордый заканчивает завещание младшим братьям, — того дѣля, чтобы не перестала память родителей наших и наша, чтоб свѣча бы не погасла». В чем же состояло это фамильное предание, эта наследственная политика московских князей? Они хорошие хозяева-скопидомы по мелочам, понемногу. Недаром первый из них, добившийся успеха в невзрачной с нравственной стороны борьбе, перешел в память потомства с прозвищем Калиты, денежного кошель. Готовясь предстать пред престолом Всевышнего Судии и диктуя дьяку духовную грамоту, как эти князья внимательны ко всем подробностям своего хозяйства, как хорошо помнят всякую мелочь в нем! Не забудут ни шубки, ни стадца, ни пояса золотого, ни коробки сердоликовой, — все запишут, всему найдут место и наследника. Сберечь отцовское стяжание и прибавить к нему что-нибудь новое, новую шубку построить, новое сельцо прикупить, — вот на что, по-видимому, были обращены их правительственные помыслы, как они обнаруживаются в их духовных грамотах. Эти свойства и помогли их политическим успехам.

У каждого времени свои герои, ему подходящие, а XIII и XIV века были порой всеобщего упадка на Руси, временем узких чувств и мелких интересов, мелких, ничтожных характеров. Среди внешних и внутренних бедствий люди становились робки и малодушны, впадали в уныние, покидали высокие помыслы и стремления; в летописи XIII—XIV вв. не услышим прежних речей о Русской земле, о необходимости

оберегать ее от поганых, о том, что не сходило с языка южно-русских князей и летописцев XI—XII вв. Люди замыкались в кругу своих частных интересов и выходили оттуда только для того, чтобы попользоваться на счет других. Когда в обществе падают общие интересы и помыслы его руководителей замыкаются в сердоликовую коробку, положением дел обыкновенно овладевают те, которые энергичнее других действуют во имя интересов личных; а такими чаще всего бывают не наиболее даровитые, а наиболее угрожаемые, те, кому наиболее грозит это падение общих интересов. Московские князья были именно в таком положении: по своему генеалогическому значению это были наиболее бесправные, приниженные князья, а условия их экономического положения давали им обильные средства действовать во имя личной выгоды. Потому они лучше других умели приноровиться к характеру и условиям своего времени и решительнее стали действовать ради личного интереса. С ними было то же, что бывает с промышленниками, у которых ремесло усиленно развивает сметливость и находчивость на счет других, высших качеств и стремлений. Купец, чем энергичнее входит в свое купеческое дело, забывая другие интересы, тем успешнее ведет его. Я хочу сказать, что фамильный характер московских князей не принадлежал к числу коренных условий их успехов, а был сам произведением тех же условий: их фамильные свойства не создали политического и национального могущества Москвы, а сами были делом исторических сил и условий, создавших это могущество, были такой же второстепенной, производной причиной возвышения Московского княжества, какою, например, было содействие плотного московского боярства, привлеченного в Москву удобным ее положением, — боярства, которое не раз и выручало своих князей в трудные минуты. Условия жизни нередко складываются так своенравно, что крупные люди размениваются на мелкие дела, подобно кн. Андрею Боголюбскому, а людям некрупным приходится делать большие дела, подобно князьям московским.

---

## ЗНАЧЕНИЕ ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА<sup>1</sup>

Когда вместе с разнообразной набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой лавры, иногда думаешь, почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, «еже содѣяся въ Русской землѣ», и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия. Такой бесменный и неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывной волной притекавшего ко гробу преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник,— многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селѣ живущие». И в наши дни люди всех классов русского общества притекают ко гробу преподобного с своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменялся в течение веков, несмотря на неоднократные и глубоко-

<sup>1</sup> Речь, произнесенная на торжественном собрании Моск. Дух. академии 26 сент. 1892 г. в память преп. Сергия.

кие перемены в строе и настроении русского общества: старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV в. Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано перед его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.

Впрочем, если преп. Сергей доселе остается для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочесть то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись с своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство, стоя у гробницы преподобного. У этого чувства уже нет истории, как для того, что покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда издалека, когда жил преп. Сергей и что сделал для Руси XIV века, чем он *был* для своего времени, и редкий из нас даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он *есть* для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно.

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически-известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений

не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя преп. Сергия: это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.

Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татаринном; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера, и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.

Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжело его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.

Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дра-

лись друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. В то время как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев Русской земли потянулись туда бояре и простые люди. В то же время московские князьки, братья Юрий и этот самый Иван Калита, смело, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все доступные средства, ставя в игру все, что могли поставить, вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первенство, за старшее Владимирское княжение, и при содействии самой Орды отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только случилось все это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно не испытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые в сто лет рабства удалось вздохнуть свободно, и любила украшать память этого князя благодарной легендой.

Так к половине XIV в. подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты Симеону современники дали прозвище Гордого. Это поколение и почувствовало, ободренное, что скоро забрезжит свет. В это именно время, в начале сороковых годов XIV в., совершились три знаменательные события: из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексей; тогда же один 20-летний искатель пустыни, будущий преподобный Сергей, в дремучем лесу — вот на этом самом месте — поставил маленькую деревянную келию с такой же церковью, а в Устюге у бедного соборного причетника родился сын, будущий просветитель Пермской земли св. Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных. Эта присноблаженная триада ярким созвездием блещет в нашем XIV в., делая его зарей политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексей навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии преподобного Сергия о проезде св. Стефана

Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком верст обменялись братскими поклонами.

Все три пастыря, подвизаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело — укрепление русского государства, над созданием которого трудились московские князья XIV в. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархией величайшим святителем древней Руси митрополитом Петром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву, как будущую церковную и государственную столицу Русской земли. Духовными силами трех наших пастырей XIV в., воспринявших этот завет святителя, Русская земля и пришла поработать над предвещенной судьбой этого города. Ни один из них не был коренным москвичом. Но в их лице сошлись для общего дела три основные части Русской земли: Алексей, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг, Стефан — новый финско-русский север, а Сергей, сын ростовского боярина-переселенца, великорусскую средину. Они приложили к делу могущественные духовные силы. Это были образованнейшие русские люди своего века: о них древние жизнеописатели замечают, что один «всю грамоту добре умея», другой «научися всей грамотичный хитрости и книжной силъ», третий «всяко писание ветхаго и новаго завѣта пройде». Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные, политические силы русского народа, что им дружно содействовали добровольно соединившиеся духовные его силы.

Но в общем деле каждый из трех деятелей избрал себе свою особую часть. Происходя из родовитого боярства, искони привыкшего делить с князьями труды обороны и управления страны, митрополит Алексей шел боевым политическим путем, был преимущественно главным советником трех великих князей московских, руководил их боярской думой, ездил в Орду улаживать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживал его гегемонию, с неослабной энергией отстаивая значение Москвы, как единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли. Уроженец г. Устюга, в краю которого новгородская и ростовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой

поток туземную Чудь, создавала из нее новую Русь, св. Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев. Так церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа: это — сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к русской церкви и народности посредством христианской проповеди.

Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести диких инородцев в ограду христианской Церкви, для этого самому русскому обществу должно было стать в уровень столь высоких задач, приподнять и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь преп. Сергей. То была внутренняя миссия, долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским просветителем; преп. Сергей и вышел на свое дело значительно раньше св. Стефана. Разумеется, он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынножителей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали эти страницы древнего жития, повествующие о том, как Сергей, начав править собиравшейся к нему братией, был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником, служил ей, как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха, как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал празднованием, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая



прямо, не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады. Читая эти рассказы, видишь перед собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были умение отдавать всего себя на общее дело, навыки к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную дробную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям всего братства. По последующей самостоятельной деятельности учеников преп. Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение. Наблюдение и любовь к человеку дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства, — то умение, перед которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века кн. Олег Иванович Рязанский, которого по поручению вел. кн. московского Димитрия Ивановича преп. Сергий отговорил от войны с Москвой тихими и кроткими словами, по свидетельству летописца.

Так воспиталось дружное братство, производившее, по современным свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, каким он привык смотреть на монашество, и если его не встречали здесь словами *прииди и виждь*, то потому, что такой зазыв был противен Сергиевой дисциплине. Мир смотрел на чин жизни в монастыре преп. Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства, поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. В монастыре все было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один мужичок, пришедший в обитель преп. Сергия повидать прославленного, величественного игумена, «все худостно, все нищетно, все сиротинско»; в самой ограде монастыря первобытный лес шумел над самыми кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев; в деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной ряске игумена: чего ни хватись, всего нет, по выражению жизнеописателя;

случалось, вся братия по целым дням сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны были между собой и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления, каждый делает свое дело, каждый работает с молитвой и все молятся после работы; во всех чуялся скрытый огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы. Мир видел все это и уходил ободренный и освеженный, подобно тому, как мутная волна, прибывая к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрытанном месте, и бежит далее светлой и прозрачной струей. Надобно припомнить людей XIV века, их быт и обстановку, запас их умственных и нравственных средств, чтобы понять впечатление этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости, трудно уже воспроизвести слагавшееся из этих наблюдений настроение нравственной сосредоточенности и общественного братства, какое разносили по своим углам из этой пустыни побывавшие в ней люди XIV в. Таких людей была капля в море православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно вещества, вызывающего в нем живительное брожение. Нравственное влияние действует не механически, а органически. На это указал сам Христос, сказав: *«Царство Божие надобно заквасить»*. Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV в. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христианского общежития, но еще не настолько очерствел от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них.

Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело преп. Сергий в Радонежской пустыне; целые полвека черпали в его пустыне утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей пустытника и тех, кого они делали причастниками приносимой ими благодатной росы,— никто не думал считать этого, как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думает о своем пульсе. Но к концу жизни Сергия едва ли вырывался в какой-либо православной груди на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени св. старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта,

которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания и которые оба связаны с именем преп. Сергия. Один из этих фактов — великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой — целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни.

Событие состояло в том, что народ, сто лет привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что преп. Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь» — и этот молодой вождь был членом поколения, возмужавшего на глазах преп. Сергия и вместе с князем Дим. Донским бившегося на Куликовском поле.

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преп. Сергий вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством. В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто лет 1240—1340 гг. возникло всего каких-нибудь десятка 3 новых монастырей. Зато в следующее столетие 1340—1440 гг., когда Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким образом, древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь говорят не более того, что подсказывает самая идея православного иночества. Эта связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене самого направления монастырской жизни со времени преп. Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри на Руси

возникали в городах или под их стенами; с этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыне, ждавшей топора и сохи. Так к основной цели монашества, к борьбе с недостатками духовной природы человека, присоединилась новая, борьба с неудобствами внешней природы; лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством для постижения первой.

Преп. Сергей с своею обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни. Колонии Сергиевой обители, монастыри, основанные учениками преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвертую часть всего числа новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные монастыри, подобно своей митрополии. Но убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV в. масса русского населения, сбита врагами в между-речье Оки и верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди леса и болот полосам удобной земли. Татары и Литва запирали выход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу; но то был глухой непроходимый край, кой-где занятый дикарями финнами; русскому крестьянину с семьей и бедным инвентарем страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. «Мало было тогда крещеных людей за Волгой», — говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустытник и пошел туда смелым разведчиком. Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV в. возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот волжко-двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории русской церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании финского языческого заволжья для христианской Церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолж-

ская Великокороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество преп. Сергей.

Напугтуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг, за Оку, на татар, другие на север за Волгу на борьбу с лесом и болотом.

Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно же глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустынножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками невредимо стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах, языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком, и произведенное неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице да источник, изведенный его молитвою, а впечатление все живет, переливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные перемены в обществе не могли сгладить его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения — вот в чем состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа преп. Сергей поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси, и это мнение разделял православный Восток, подобно тому царградскому епископу, который, по рассказу Сергиева жизнеописателя, приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: *како может в сих странах таков светильник появиться?* Преп. Сергей своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, сидевших *во тьме и сени смертной*, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня,

которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня — такое проявление духовного влияния всегда признавалось чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник — вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни. Впечатление людей XIV в. становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние преп. Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Это имя сохраняло силу непосредственного личного впечатления, какое производил преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной *памятью*, которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух, настроение. Так теплота ощущается долго после того, как погаснет ее источник. Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени преп. Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преп. Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятниками деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятьми срастается нравственное чувство народа; они — его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них — оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чув-

ство долга. Творя память преп. Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота лавры преп. Сергия затворятся, и лампы над его гробницей погаснут только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.

---

## ДОБРЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ РУСИ<sup>1</sup>

Благотворительность — вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их прямо перед несчастным случаем, перед страдающим человеком с вопросом, что делать — и все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи, даже тогда, когда помощь ему вредна или опасна, когда он может злоупотребить ею. На досуге можно размышлять и спорить об условиях правительственных ссуд нуждающимся, об организации и сравнительном значении государственной и общественной помощи, об отношении той и другой к частной благотворительности, о доставлении заработков нуждающимся, о деморализующем влиянии дарового пособия: на досуге, когда минует беда, и мы обо всем этом подумаем и поспорим. Но когда видишь, что человек тонет, первое движение — броситься к нему на помощь, не спрашивая, как и зачем он попал в воду и какое нравственное впечатление произведет на него наша помощь. При обсуждении участия, какое могут принять в деле помощи народу правительство, земство и общество, надобно разделять различные элементы и мотивы: экономическую политику, принимающую меры, чтобы вывести труд и хозяйство народа из неблагоприятных условий, и след-

---

<sup>1</sup> Публичная лекция, читанная в 1891 году в пользу пострадавших от неурожая.



ствия помощи, могущие оказаться неудобными с точки зрения полиции и общественной дисциплины, и возможность всяких злоупотреблений. Все это соображения, которые относятся к компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к благотворительности в собственном смысле. Нам, частным лицам, открыта только такая благотворительность, а она может руководиться лишь нравственным побуждением, чувством сострадания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться живым и здоровым, а если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина, которую, по миновании нужды, позаботятся исправить подлежащие власти и влияния.

Так понимали у нас частную благотворительность в старину; так, без сомнения, понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания добрые понятия и навыки старины.

Древнерусское общество под руководством Церкви в продолжение веков прилежно училось понимать и исполнять и вторую из двух основных заповедей, в которых заключаются весь закон и пороки, — заповедь о любви к ближнему. При общественной безурядице, при недостатке безопасности для слабого и защиты для обижаемого, практика этой заповеди направлялась преимущественно в одну сторону: любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге сострадания к страждущему, ее первым требованием признавали личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в основание практического нравоучения, потребность в этом подвиге воспитывалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики. Любить ближнего — это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря на его слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называется человеколюбием. Древнерусский благотворитель, «христороубец», менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. Когда встречались две древнерусские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаванием во имя Христа, трудно было сказать, которая

из них больше подавала милостыни другой: нужда одной и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обоих. Вот почему древняя Русь понимала и ценила только личную, непосредственную благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом «отай», тайком не только от стороннего глаза, но и от собственной «шуйцы». Нищий был для благотворителя лучший богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. «В рай входят святой милостыней,— говорили в старину,— нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается». Благотворителю нужно было воочию видеть людскую нужду, которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу; нуждающийся должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за кого молиться. Древнерусские цари накануне больших праздников, рано по утрам, делали тайные выходы в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавали милостыню арестантам и призрваемым, также посещали и отдельно живших убогих людей. Как трудно изучить и лечить болезнь по рисунку или манекену больного организма, так казалась малодействительной заочная милостыня. В силу того же взгляда на значение благотворительного дела нищенство считалось в древней Руси не экономическим бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа, состоящим при Церкви практическим институтом общественного благонравия. Как в клинике необходим больной, чтобы научиться лечить болезни, так в древнерусском обществе необходим был сирий и убогий, чтобы воспитать уменье и навык любить человека. Милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дела мертва. Как живое орудие душевного спасения, нищий нужен был древнерусскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно в минуты печальные. Из него он создал идеальный образ, который он любил носить в мысли, как олицетворение своих лучших чувств и помышлений. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания вдруг исчезли в древней Руси все нищие и убогие, кто знает — может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость, подобно человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться; у него оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства.

Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского обще-

жития. Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливал в людские отношения эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого. Явственнее и осязательнее обнаруживалось значение такой личной милостыни, когда нужда в благотворительной помощи вызывалась не горем отдельных несчастливых жизней, а народным физическим бедствием. Природа нашей страны издавна была доброй, но иногда бывала своенравной матерью своего народа, который, может быть, сам же и вызывал ее своенравие своим неумением обращаться с ней. Недороды и неурожаи были нередки в древней Руси. Недостаток экономического общения и административной распорядительности превращал местные недоборы продовольствия в голодные бедствия.

Такое бедствие случилось в начале XVII в., при царе Борисе. В 1601 году, едва кончился весенний сев, полили страшные дожди и лили все лето. Полевые работы прекратились, хлеб не вызрел, до августа нельзя было начать жатву, а на Успенъев день неожиданно ударил крепкий мороз и побил недозревший хлеб, который почти весь остался в поле. Люди кормились остатками старого хлеба, а на следующий год посеялись кое-как собранным зяблым зерном нового урожая; но ничего не взошло, все осталось в земле, и наступил трехлетний голод. Царь не жалел казны, щедро раздавал в Москве милостыню, предпринял обширные постройки, чтобы доставить заработок нуждающимся. Прослышав об этом, народ толпами повалил в Москву из неурожайных провинций, чем усилил нужду в столице. Началась сильная смертность: только в трех казенных столичных скудельницах, куда царь велел подбирать бесприютные жертвы, за два года и 4 месяца их насчитали 127 тыс. Но беда создана была в значительной мере искусственно. Хлеба оставалось довольно от прежних урожаев. После, когда самозванцы наводнили Русь шайками поляков и казаков, которые своими опустошениями прекратили посевы на обширных пространствах, этого запасного хлеба много лет хватало не только на своих, но и на врагов. При первых признаках неурожая начала разыгрываться хлебная спекуляция. Крупные землевладельцы заперли свои склады. Скупщики пустили все в оборот, деньги, утварь, дорогое платье, чтобы забрать продажный хлеб. Те и другие не пускали ни зерна на рынок, выжидая высоких цен, радуясь, по выражению современника, барышам, «конца же вещи не разумеюще, сплетены смуты слагающе и народ смущающе». Хлебные цены

были взбиты на страшную высоту: четверть ржи с 20 тогдашних копеек скоро поднялась до 6 р., равнявшихся нашим 60 р., т. е. вздорожала в 30 раз! Царь принимал строгие и решительные меры против зла, запретил винокурение и пивоварение, велел сыскивать скупщиков и бить кнутом на рынках пощадно, переписывать их запасы и продавать в розницу понемногу, предписывал обязательные цены и карал тяжкими штрафами тех, кто таил свои запасы.

Сохранившийся памятник вскрыл нам одну из частных благотворительных деятельностей, которые в то время работали внизу, на местах, когда царь боролся с народным бедствием наверху. Жила тогда в своем имении вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Осорьина<sup>1</sup>. Это была простая, обыкновенная добрая женщина древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому,— чувство, с которым русская женщина на свете родится,— в ней была тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других, и, развиваясь от непрерывной практики, постепенно наполнила все ее существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни, ежеминутным влечением ее вечно деятельного сердца. Еще до замужества, живя у тетки по смерти матери, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам. Не считая себя вправе брать что-нибудь из домашних запасов без спроса у свекрови, она однажды прибегла даже к маленькому лукавству с благотворительной целью, о котором позволительно рассказать, потому что его не скрыл ее почтительный сын в биографии матери. Ульяна была очень умеренна в пище, только обедала, не завтракала и не полдничала, что очень тревожило свекровь, боявшуюся за здоровье молодой невестки.

---

<sup>1</sup> Память праведной Юлиании Лазаревской (по месту погребения в с. Лазареве близ Мурома) 2 января.

Случился на Руси один из нередких неурожаев, и в Муромском краю наступил голод. Ульяна усилила обычную свою тайную милостыню и, нуждаясь в новых средствах, вдруг стала требовать себе полностью завтраков и полдников, которые, разумеется, шли в раздачу голодающим. Свекровь полушутливо заметила ей: «Что это подевалось с тобой, дочь моя? когда хлеба было вдоволь, тебя, бывало, не дозовешься ни к завтраку, ни к полднику, а теперь, когда всем стало есть нечего, у тебя такая охота к еде припала». — «Пока не было у меня детей, отвечала невестка, мне еда на ум не шла, а как пошли ребята родиться, я отоцала и никак не могу наестся: не только что днем, но часто и ночью так и тянет к еде; только мне стыдно, матушка, просить у тебя». Свекровь осталась довольна объяснением своей доброй лгуни и позволила ей брать себе пищи, сколько захочется, и днем, и ночью.

Эта постоянно возбужденная сострадательная любовь к ближнему, обижаемому жизнью, помогла Ульяне легко переступить через самые закоренелые общественные предрассудки древней Руси. Глубокая юридическая и нравственная пропасть лежала между древнерусским барином и его холопом: последний был для первого по закону не лицом, а просто вещью. Следуя исконному туземному обычаю, а может быть и греко-римскому праву, не вменявшему в преступление смерти раба от побой господина, русское законодательство еще в XIV в. провозглашало, что если господин «огрешится», неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду и ответственности. Церковь долго и напрасно вопила против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя двory зажиточных землевладельцев, плохо одеваемая и всегда содержимая впроголодь, челядь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с вольными публичными нищими. Древнерусская церковная проповедь так и указывала на них господам, как на ближайший предмет их сострадания, призывая их позаботиться о своих челядинцах прежде, чем протягивать руку с благотворительной копеечкой нищему, стоящему на церковной паперти. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала, не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому работу по силам и не требовала от нее личных услуг, что могла, все делала для себя сама, не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, какими душевладельческая Русь вплоть до самого 19 февраля 1861 года окрикивала своих людей: Ванька, Машка, но каждого и каж-

дую называла настоящим именем. Кто, какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманые отношения к низшей, подвластной братии?

Она была уже в преклонных годах, когда ее постигло последнее и самое тяжкое благотворительное испытание. Лукавый бес, добра ненавистник, давно уже суетившийся около этой досадной ему женщины и всегда ею посрамляемый, раз со злости пригрозил ей: погоди же! будешь ты у меня чужих кормить, когда я тебя самое на старости лет заставлю околевать с голоду. Такой добродушно-набожной комбинацией объяснено в биографии происхождение постигшей добрую женщину беды. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую службу, она уже помышляла о вечном устроении собственной души, но все еще тлела перед Богом любовью к ближнему, как тлеет перед образом догорающая восковая свечка. Нищелюбие не позволяло ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой, куда она с ненасыщаемым скопидомством все прятала да прятала все свои сбережения и излишки. Порой у нее в дому не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила всю зиму без шубы. Начало страшного голодного трехлетия при царе Борисе застало ее в нижегородской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота, платье, посуду, все ценное в доме и на вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о прокормлении своей челяди. Тогда многие расчетливые господа просто прогоняли с дворов своих холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и грабить. Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челядинцев и удерживала их при себе, сколько было у ней силы. Наконец, она дошла до последней степени нищеты, обобрала себя дочиста, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может, кто желает, пусть берет свои крепости или

отпускные и идет с Богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением; но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрилась делиться с нищими, «потому что в то время нищих было без числа», лаконически замечает ее биограф. Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: «Зачем это вы заходите к ней? чего взять с нее? она и сама помирает с голоду». — «А мы вот что скажем, говорили нищие: много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы — как бишь ее?» Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом; отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлебы печь! С какой любовью надобно было подавать нищему ломоть хлеба, небезукоризненного в химическом отношении, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедает! Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не пороптала, не дала безумия Богу, не изнемогла от нищеты, напротив, была весела, как никогда прежде: так заканчивает биограф свой рассказ о последнем подвиге матери. Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания нашего прошлого не сохранили нам более возвышенного и более трогательного образа благотворительной любви к ближнему.

Никто не сосчитал, ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в Русской земле и какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно тех и других, потому что Русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов. Здесь частная благотворительность шла навстречу усилиям государственной власти. Но не всегда так бывает. Частная благотворительность страдает некоторыми неудобствами. Обыкновенно она оказывает случайно и мимоletную помощь и часто не настоящей нужде. Она легко доступна злоупотреблению: вызываемая одним из самых глубоких и самых нерасчетливых чувств, какие только есть в нравственном запасе человеческого сердца, она не может следить за своими собственными следствиями. Она чиста в своем источнике, но легко поддается порче в своем течении. Здесь она против воли благотворителей и может разойтись с требованиями

общественного блага и порядка. Петр Великий, усилившийся привести в производительное движение весь наличный запас рабочих сил своего народа, вооружился против праздного нищенства, питаемого частной милостыней. В 1705 г. он указал рассылать по Москве подъячих с солдатами и приставами ловить бродячих нищих и наказывать, деньги у них отбирать, милостыни им не подавать, а подающих хватать и подвергать штрафу; благотворители должны были доставлять свои подаяния в богадельни, существовавшие при церквях. Петр вооружился против частной милостыни во имя общественной благотворительности, как учреждения, как системы богоугодных заведений. Общественная благотворительность имеет свои преимущества; уступая частной милостыне в энергии и качестве побуждений, в нравственно-воспитательном действии на обе стороны, она разборчивее и действительнее по своим практическим результатам, оказывает нуждающемуся более надежную помощь, дает ему постоянный приют.

Мысль об общественной благотворительности, разумеется, с особенной силой возбуждалась во времена народных бедствий, когда количество добра требуется прежде, чем спрашивают о качестве побуждений добродетели. Так было в Смутное время. В 1609 г. второй самозванец осаждал Москву. Повторились явления Борисова времени. В столице наступил страшный голод. Хлеботорговцы устроили стачку, начали всюду скупать запасы и ничего не пускали на рынок, выжидая наибольшего подъема цен. За четверть ржи стали спрашивать 9 тогдашних рублей, т. е. свыше 100 руб. на наши деньги. Царь Василий Шуйский приказал продавать хлеб по указной цене; торговцы не слушались. Он пустил в действие строгость законов; торговцы прекратили рискованный подвоз закупленного ими по провинциям хлеба в осажденную столицу. Мало того: по московским улицам и рынкам полилась из тысяч уст оппозиционная публицистика, начали говорить, что все беды, и вражий меч, и голод, падают на народ потому, что царь несчастлив. Тогда в московский Успенский собор созвано было небывалое народное собрание. Патриарх Гермоген сказал сильную проповедь о любви и милосердии; за ним сам царь произнес речь, умоляя кулаков не скупать хлеба, не поднимать цены. Но борьба обеих высших властей, церковной и государственной, с народной психологией и политической экономией была безуспешна. Тогда светлая мысль, одна из тех, какие часто приходят в голову добрым людям, осенила царя и патриарха. Древнерусский монастырь всегда был запасной житницей для нуждающихся, ибо церковное богатство, как говорили



пастыри нашей церкви, нищих богатство. Жил тогда на Троицком подворье в Москве келарь Троицкого Сергиева монастыря отец Авраамий, обладавший значительными запасами хлеба. Царь и патриарх уговорили его выслать несколько сот четвертей на московский рынок по 2 р. за четверть. Это была больше психологическая, чем политико-экономическая операция: келарь выбросил на рынок многолюдной столицы всего только 200 мер ржи; но цель была достигнута. Торговцы испугались, когда пошел слух, что на рынок тронулись все хлебные запасы этого богача монастыря, считавшиеся неисчерпаемыми, и цена хлеба надолго упала до 2 рублей. Через несколько времени Авраамий повторил эту операцию с таким же количеством хлеба и с прежним успехом.

На долю XVII-го века выпало печальное преимущество тяжелым опытом понять и оценить всю важность поставленного еще на Стоглавом соборе вопроса об общественной благотворительности, как вопроса законодательства и управления, и перенести его из круга действия личного нравственного чувства в область общественного благоустройства. Тяжелые испытания привели к мысли, что государственная власть своевременными мерами может ослабить или предотвратить бедствия нуждающихся масс и даже направить частную благотворительность. В 1654 г. началась и при очень неблагоприятных условиях продолжалась война с Польшей за Малороссию. Эпидемия опустошила деревни и села и уменьшила производство хлеба. Падение курса выпущенных в 1656 г. кредитных медных денег с номинальной стоимостью серебряных усилило дороговизну: цена хлеба, с начала войны удвоившаяся, к началу 1660-х годов в иных местах поднялась до 30—40 рублей за четверть ржи на наши деньги. В 1660 г. сведущие люди из московского купечества, призванные для совещания с боярами о причинах дороговизны и о средствах ее устранения, между прочим указали на чрезвычайное развитие винокурения и пивоварения и предложили прекратить продажу вина в питейных заведениях, закрыть винные заводы, также принять меры против скупки хлеба и не допускать скупщиков и кулаков на хлебные рынки раньше полудня, наконец, переписать запасы хлеба, заготовленные скупщиками, перевезти их в Москву на казенный счет и продавать здесь бедным людям, а скупщикам заплатить из казны по их цене деньгами. Как только тяжесть положения заставила вдуматься в механизм народнохозяйственного оборота, тотчас живо почувствовалось, что может сделать государственная власть для устранения возникающих в нем замешательств.

В эти тяжелые годы стоял близко к царю человек, который добрым примером показал, как можно соединить частную благотворительность с общественной и на чувстве личного сострадания построить устойчивую систему благотворительных учреждений. Это был О. М. Ртищев, ближний постельничий, как бы сказать обер-гофмейстер при дворе царя Алексея Михайловича, а потом его дворецкий, т. е. министр двора. Этот человек — одно из лучших воспоминаний, завещанных нам древнерусской стариной. Один из первых насадителей научного образования в Москве XVII века, он принадлежал к числу крупных государственных умов Алексеева времени, столь обильного крупными умами. Ему приписывали и мысль упомянутой кредитной операции с медными деньгами, представлявшей небывалую новость в тогдашней финансовой политике, и не его вина, если опыт кончился неблагополучно. Много занятой по службе, пользуясь полным доверием царя и царицы и большим уважением придворного общества, воспитатель царевича Алексея, Ртищев поставил задачей своей частной жизни служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Помощь ближнему была постоянной потребностью его сердца, а его взгляд на себя и на ближнего сообщал этой потребности характер ответственного, но непритязательного нравственного долга. Ртищев принадлежал к числу тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия, по крайней мере в простом, ходячем смысле этого слова. Наперекор природным инстинктам и исконным людским привычкам в заповеди Христовой любить ближнего своего, как самого себя, он считал себя способным исполнить только первую часть: он и самого себя любил только для ближнего, считая себя самым последним из своих ближних, о котором не грешно подумать разве только тогда, когда уже не о ком больше думать,— совершенно евангельский человек, правая щека которого сама собою без хвастовства и расчета подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона или светского приличия, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды, как иные не знают вкуса в вине, не считая этого за воздержание, а просто не понимая, как это можно пить такую неприятную и бесполезную вещь. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении. С высоты своего общественного положения он не умел скользить высокомерным взглядом поверх людских голов, останавливаясь на них лишь для того, чтобы сосчитать их. Человек не был для него только счетной единицей, особенно человек бедный и страждущий. Высокое положение

только расширило, как бы сказать, пространство его человеколюбия, дав ему возможность видеть, сколько живет на свете людей, которым надо помочь, и его сострадательное чувство не довольствовалось помощью первому встречному страданию. С высоты древнерусского сострадания личному, конкретному горю, вот тому или этому несчастному человеку, Ртищев умел подняться до способности соболезновать людскому несчастью, как общему злу, и бороться с ним, как с своим личным бедствием. Потому случайные и прерывистые порывы личной благотворительности он хотел превратить в постоянно действующую общественную организацию, которая подбирала бы массы труждающихся и обремененных, облегчая им несение тяжкой повинности жизни. Впечатления польской войны могли только укрепить эту мысль. Сам царь двинулся в поход, и Ртищев сопровождал его как начальник его походной квартиры. Находясь по должности в тылу армии, Ртищев видел ужасы, какие оставляет после боя война и которых обыкновенно не замечают сами воюющие — те, которые становятся их первыми жертвами. Тыл армии — тяжелое испытание и лучшая школа человеколюбия: тот уже неотступно полюбит человека, кто с перевязочной линии не унесет ненависти к людям. Ртищев взглянул на отвратительную работу войны, как на жатву своего сердца, как на печально-обильный благотворительный урожай. Он страдал ногами, и ему трудно было ездить верхом. По дороге он кучами подбирал в свой экипаж больных, раненых, избитых и разоренных, так что иногда и ему не оставалось места, и, пересев на коня, он плелся за своим импровизированным походным лазаретом до ближнего города, где тотчас нанимал дом, куда, сам крехтя от боли, сваливал свою охающую и стонущую братию, устраивал ее содержание и уход за ней и даже неизвестно каким образом набирал врачебный персонал, «назиратаев и врачей им и кормителей устраивае, во упокоение их и врачевание от имени своего им изнуряя», как вычурно замечает его биограф. Так обер-гофмейстер двора Его Величества сам собою превратился в начальника Красного Креста, им же и устроенного на собственные средства. Впрочем, в этом деле у него была тайная денежная и сердечная пособница, которую выдал истории тот же болтливый биограф. В своем молчаливом кармане Ртищев вез на войну значительную сумму, тихонько сунутую ему царицей Марьей Ильиничной, и биограф нескромным намеком дает понять, что перед походом они уговорились принимать в задуманные ими временные военные госпитали даже пленных врагов, нуждавшихся в госпитальной помощи.

Надобно до земли поклониться памяти этих людей, которые безмолвной экзегетикой своих дел учат нас понимать слова Христа: любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас. Подобные дела повторились и в ливонском походе царя, когда в 1656 г. началась война с Швецией.

Можно думать, что походные наблюдения и впечатления не остались без влияния на план общественной благотворительности, составившийся в уме Ртищева. Этот план рассчитан был на самые большие язвы тогдашней русской жизни. Прежде всего крымские татары в XVI и XVII вв. сделали себе прибыльный промысел из разбойничьих нападений на Русскую землю, где они тысячами и десятками тысяч забирали пленных, которых продавали в Турцию и другие страны. Чтобы спасти и воротить домой этих пленных, московское правительство устроило их выкуп на казенный счет, для чего ввело особый общий налог, полоняничные деньги. Этот выкуп назывался «общей милостыней», в которой все должны были участвовать, и царь, и все православные христиане, его подданные. По соглашению с разбойниками были установлены порядок привоза пленного товара и тариф, по которому он выкупался, смотря по общественному положению пленников. Выкупные ставки во времена Ртищева были довольно высоки: за людей, стоявших в самом низу тогдашнего общества, за крестьян и холопов, назначено было казенного окупа около 250 руб. на наши деньги за человека; за людей высших классов платили тысячи. Но государственное воспособление выкупу было недостаточно. Насмотревшись во время походов на страдания пленных, Ртищев вошел в соглашение с жившим в России купцом-греком, который, ведя дела с магометанским Востоком, на свой счет выкупал много пленных христиан. Этому доброму человеку Ртищев передал капитал в 17 тыс. рублей на наши деньги, к которому грек, принявший на себя операцию выкупа, присоединил свой вклад, и таким образом составила своего рода благотворительная компания для выкупа русских пленных у татар. Но верный уговору с царицей, Ртищев не забывал и иноземцев, которых плен забрасывал в Россию, облегчал их тяжелое положение своим ходатайством и милостыней.

Московская немощная улица XVII в. была очень неопрятна: среди грязи несчастье, праздность и порок сидели, ползали и лежали рядом; нищие и калеки вопили к прохожим о подавании, пьяные валялись на земле. Ртищев составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на свой счет, где больных лечили, а пьяных вытрезвляли и потом, снабдив необходимым, отпускали, за-

меня их новыми пациентами. Для престарелых, слепых и других калек, страдавших неизлечимыми недугами, Ртищев купил другой дом, тратя на их содержание свои последние доходы. Этот дом под именем Больницы Федора Ртищева существовал и после его смерти, поддерживаемый доброхотными даяниями. Так Ртищев образовал два типа благотворительных заведений: амбулаторный приют для нуждающихся во временной помощи и постоянное убежище — богадельню для людей, которых человеколюбие должно было взять на свои руки до их смерти. Но он прислушивался к людской нужде и вне Москвы и здесь продолжал дело своей предшественницы Юлиании Осорьиной; кстати сказать, и его мать звали Ульяной. Случился голод в Вологодском краю. Местный архиепископ помогал голодающим, сколько мог. Ртищев, растратив деньги на свои московские заведения, продал все свое лишнее платье, всю лишнюю домашнюю утварь, которой у него, богатого барина, было множество, и послал вырученные деньги вологодскому владыке, который, прибавив к пожертвованию и свою малую толику, прокормил много бедного народа.

С осторожным и глубоко сострадательным вниманием оставливался Ртищев перед новым родом людей, нуждавшимся в сострадательном внимании, который во времена Юлиании только зарождался: в XVII в. сложилось крепостное состояние крестьян. Личная свобода крестьян была одною из тех жертв, какие наше государство в XVII в. было вынуждено принести в борьбе за свою целость и внешнюю безопасность. Биограф Ртищева только двумя-тремя чертами обозначил его отношение к этому новому поприщу благотворения, но чертами, трогающими до глубины души. Будучи крупным землевладельцем, он однажды должен был, нуждаясь в деньгах, продать свое село Ильинское. Сторговавшись с покупщиком, он сам добровольно уменьшил условленную цену, но при этом подвел нового владельца к образу и заставил его побожиться, что он не увеличит человеколюбиво рассчитанных повинностей, какие отбывали крестьяне села в пользу прежнего барина, — необычная и немного странная форма словесного векселя, взятого на совесть векселедателя. Поддерживая щедрыми ссудами инвентарь своих крестьян, он больше всего боялся расстроить их хозяйство непосильными оброками и барщинными работами и недовольно хмурил брови всякий раз, когда в отчетах управляющих замечал приращение барского дохода. Известно, как заботился древнерусский человек о загробном устройении своей души помощью вкладов, посмертной молитвы и поминовения. Вотчины свои Ртищев завещал своей дочери

и зятю кн. Одоевскому. Он наказал наследникам отпустить всех своих дворовых на волю. Тогда законодательство еще не выработало порядка увольнения крепостных крестьян с землей целыми обществами. «Вот как устройте мою душу,— говорил Ртищев перед смертью зятю и дочери,— в память по мне будьте добры к моим мужикам, которых я укрепил за вами, владейте ими льготно, не требуйте от них работ и оброков свыше силы-возможности, потому что они нам братья; это моя последняя и самая большая к вам просьба». Ртищев умел сострадать положению целых обществ или учреждений как страдают горю отдельных лиц. Мы все помним прекрасный рассказ, читанный нами еще на школьной скамье в учебнике. Под Арзамасом у Ртищева была земля, за которую ему давали частные покупатели до 17 тыс. рублей на наши деньги. Но он знал, что земля до зарезу нужна арзамасцам, и предложил городу купить ее хотя бы за пониженную цену. Но городское общество было так бедно, что не могло заплатить сколько-нибудь приличной цены, и не знало, что делать. Ртищев подарил ему землю.

Современники, наблюдавшие двор царя Алексея, свои и чужие, оставили очень мало известий о министре этого двора Ртищеве. Один иностранный посол, приезжавший тогда в Москву, отозвался о нем, что, едва имея 40 лет от роду, он превосходил благоразумием многих стариков. Ртищев не выставлялся вперед. Это был один из тех скромных людей, которые не любят идти в первых рядах, но, оставаясь назади и высоко подняв светочи над головами, освещают путь передовым людям. Особенно трудно было уследить за его благотворительной деятельностью. Но его понимали и помнили среди низшей братии, на которую он положил свою душу. Его биограф, описывая его смерть, передает очень наивный рассказ. Ртищев умер в 1673 г., всего 47 лет от роду. За два дня до его смерти жившая у него в доме девочка лет 12, которую он привечал за ее кроткий нрав, помолвившись, как было заведено в этом доме, улеглась спать и, задремав, видит: сидит ее больной хозяин, такой веселый да нарядный, а на голове у него точно венец. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нему молодец, тоже нарядно одетый, и говорит: «Зовет тебя царевич Алексей», а этот царевич, воспитанник Ртищева, тогда был уже покойником. «Погоди немного, нельзя еще»,— отвечал хозяин. Молодец ушел. Скоро пришли двое других таких же и опять говорят: «Зовет тебя царевич Алексей». Хозяин встал и пошел, а за ноги его уцепились две малютки, дочь его да племянница, и не хотят отстать от него. Он отстранил их,

сказав: «Отойдите, не то возьму вас с собой». Вышел хозяин из палаты, а тут перед ним очутилась лестница от земли до самого неба, и полез он по этой лестнице, а там на выси небесной объявился юноша с золотыми крылышками, протянул хозяину руку и подхватил его. В этом сне девочки, рассказанном в девичьей Ртищева, отлились все благодарные слезы бедных людей, утертые хозяином. Много рассказывали и про самую смерть его. В последние минуты, уже совсем приготовившись, он позвал к себе в спальню нищих, чтобы из своих рук раздать им последнюю милостыню, потом прилег и забылся. Вдруг его угасавшие глаза засветились, точно озаренные каким-то видением, лицо оживилось, и он весело улыбнулся — с таким видом он и замер. Всю жизнь страдать, благотворить и умереть с веселой улыбкой — вполне заслуженный конец такой жизни!

Не осталось известий о том, нашло ли отголосок в землевладельческом обществе отношение Ртищева к крепостным крестьянам; но его благотворительная деятельность, по-видимому, не осталась без влияния на законодательство. Добрые идеи, поддержанные добрыми проводниками и примерами, легко облекаются в плоть и кровь своего рода, в обычаи, законы, учреждения. Нерасчетливая частная благотворительность древней Руси вскормила ремесло нищенства, стала средством питания праздности и сама нередко превращалась в холодное исполнение церковного приличия, в раздачу копеечек просящим вместо помощи нуждающимся. Милостивцы, подобные Юлиании и Ртищеву, восстанавливали истинное христианское значение милостыни, источник которой — теплое сострадательное чувство, а цель — уничтожение нужды, нищеты, страдания. В этом же направлении после Ртищева начинает действовать и законодательство. Со времени Алексева преемника идет длинный ряд указов против праздного ремесленного нищенства и частной ручной милостыни. С другой стороны, государственная власть подает руку церковной для дружной работы над устройством благотворительных заведений. При царе Федоре Алексеевиче произвели разборку московских нищих: действительно беспомощных велено содержать на казенный счет в особом приюте, а здоровым лентяям дать работу, может быть, в задуманных тогда же рабочих домах. Предположено было построить в Москве два благотворительных заведения, больницу и богадельню для болящих, бродящих и лежащих по улицам нищих, чтобы они там не бродили и не валялись: по-видимому, предполагались заведения, подобные тем, какие устроены были Ртищевым. На церковном соборе

1681 г. царь предложил патриарху и архиереям устроить такие же убежища для нищих и в провинциальных городах, и собор принял предложение. Так частный почин доброго и влиятельного человека дал прямой или косвенный толчок мысли об устройстве целой системы церковно-государственных благотворительных заведений и не только оживил, без сомнения, усердие доброхотных людей к доброму делу, но и подсказал самую его организацию, желательные и возможные формы, в которые оно должно было облечься.

Тем ведь и дорога память этих добрых людей, что их пример в трудные минуты не только ободряет к действию, но и учит, как действовать. Юлиания и Ртищев — это образцы русской благотворительности. Одинаковое чувство подсказывало им различные способы действия, сообразные с положением каждого. Одна благотворила больше дома, в своем тесном сельском кругу; другой действовал преимущественно на широкой столичной площади и улице. Для одной благодетельство было выражением личного сострадания; другой хотел превратить его в организованное общественное человеколюбие. Но идя различными путями, оба шли к одной цели: не теряя из вида нравственно-воспитательного значения благотворительности, они смотрели на нее, как на непрерывную борьбу с людской нуждой, с горем беспомощного ближнего. Они и им подобные воспитали и пронесли этот взгляд через ряд веков, и он доселе живет в нашем обществе, деятельно обнаруживаясь всякий раз, когда это нужно. Сколько Ульян незаметно и без шума ведет теперь эту борьбу по захолустьям пораженных нуждой местностей! Есть, без сомнения, и Ртищевы, и они не переведутся. По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих забудут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещать нам путь и не нуждаясь в собственном свете. А завет их жизни таков: жить — значит любить ближнего, то есть помогать ему жить; больше ничего не значит жить и больше не для чего жить.

---



## А. Л. ОРДИН-НАЩОКИН

### МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК XVII в.

*Московский государственный человек XVII в.!* Самое это выражение может показаться злоупотреблением современной политической терминологией. *Государственный человек* — ведь это значит развитой и своеобразный политический ум, способный наблюдать, понимать и направлять общественные движения, с самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности — целый ряд условий, присутствия которых мы совсем не привыкли предполагать в старом Московском государстве. Да, до XVII в. этих условий, действительно, не заметно в государстве московских самодержцев, и трудно искать государственных людей при их дворе. Ход государственных дел тогда направлялся заведенным порядком да государевой волей. Личный ум прятался за порядок, лицо служило только орудием государевой воли; но и порядок, и самая эта воля подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания. В XVII в., однако, московская государственная жизнь начала прокладывать себе иные пути. Старый обычай, заведенный порядок пошатнулись; начался сильный спрос на ум, на личные силы, а воля царя Алексея Михайловича была такая умная и притом такая добрая воля, которая для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму. И этот царь был вознагражден за свое доверие к уму и таланту: редкому государю приходилось делить труды управления с таким количеством благонамеренных, умных и даровитых дельцов, как царю Алексею. При своем благодушном отношении к вопросам времени, при осторожных порывах к новизне он не дал руководящих идей, начал для реформы; но он помог выступить первым реформаторам с их идеями и началами, дал возможность смелым

умам впервые почувствовать себя свободно и проявить свои силы, не дал ни плана, ни направления преобразованиям, но создал преобразовательное настроение.

Первое место в ряду государственных дельцов; захваченных таким настроением, бесспорно принадлежит самому блестящему из сотрудников царя Алексея, наиболее энергическому провозвестнику преобразовательных стремлений его времени, боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину. Этот делец вдвойне любопытен для нас, потому что вел двойную подготовку реформы Петра Великого. Во-первых, никто из московских государственных дельцов XVII в. не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые осуществил Петр. Потом, Ордину-Нащокину пришлось не только действовать по-новому, но и самому создавать обстановку для своей деятельности. По происхождению своему он не принадлежал к тому обществу, среди которого ему привелось действовать. Привилегированным питомником политических дельцов в Московском государстве служило старое родовитое боярство, пренебрежительно смотревшее на массу провинциального дворянства. Ордин-Нащокин был едва ли не первым провинциальным дворянином, проложившим себе дорогу в круг этой спесивой знати, а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братии, скоро разбившей плотные ряды боярской аристократии.

Афанасий Лаврентьевич был сын очень скромного псковского помещика; в Псковском и в ближнем Торопецком уездах ютилось целое семейное гнездо Нащокиных, которое шло от одного видного служилого человека при московском дворе XIV в. Из этого гнезда, захудавшего после своего родоначальника, вышел и наш Афанасий Лаврентьевич. Он стал известен еще при царе Михаиле: его не раз назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В начале Алексеева царствования Ордин-Нащокин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Вот почему во время псковского бунта 1650 г. мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта московскими полками Ордин-Нащокин показал много усердия и умения. С тех пор он пошел в гору. Когда в 1654 г. открылась война с Польшей, ему поручен был чрезвычайно трудный пост: с малыми военными силами он должен был сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично исполнил возложенное на него поручение. В 1656 г. началась война со Швецией, и сам царь двинулся в поход под Ригу. Когда московские войска взяли один из ливонских городов

ни Двине, Кокенгаузен (старинный русский Кукейнос, когда-то принадлежавший полоцким князьям), Нащокин был назначен воеводой этого и других новозавоеванных городов. На этой должности Ордин-Нащокин делает очень важные военные и дипломатические дела, сторожит границу, завоевывает ливонские городки, ведет переписку с польскими властями; ни одно важное дипломатическое дело не делается без его участия. В 1658 г. его усилиями заключено было Валиесарское перемирие со Швецией, условия которого превзошли ожидания самого царя Алексея. В 1665 г. Ордин-Нащокин сидел воеводой в родном своем Пскове. Наконец, он сослужил самую важную и тяжелую службу московскому правительству: после утомительных восьмимесячных переговоров с польскими уполномоченными он заключил в январе 1667 г. в Андрусове перемирие с Польшей, положившее конец опустошительной для обеих сторон тринадцатилетней войне. В этих переговорах Нащокин показал много дипломатической сообразительности и умения ладить с иноземцами и вытягал у поляков уступку не только Смоленской и Северской земли и восточной Малороссии, но и из западной — Киева с округом (на два года). Заключение Андрусовского перемирия поставило Афанасия очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, Нащокин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин *по отечеству*, по происхождению, он уже в 1658 г., сидя воеводой в Кукейносе, произведен был в *думные дворяне*, т. е. в младшие члены государственного совета, а через несколько лет получил чин *окольничего*; наконец, по заключении упомянутого перемирия он был пожалован в *бояре* и назначен главным управителем Посольского приказа (министерства иностранных дел) с громким титулом «царской большой печати и государственных великих посольских дел оберрегателя», т. е. стал государственным канцлером.

Такова была служебная карьера Нащокина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край, пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Раннее знакомство с иноземцами и частые сношения с ними давали Нащокину возможность внимательно наблюдать и изучать ближайшие к России страны Западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости Ордину-Нащокину как-то посчастливилось получить хорошее образование: он знал, говорят, математику, языки латинский и немецкий; служебные обстоятельства заставили его познакомиться и с польским языком. Так он рано и основа-

тельно подготовился к роли дельца в сношениях Московского государства с европейским Западом. Его товарищи по службе говорили про него, что он «знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же». Внимательное наблюдение над иноземными порядками и привычка сравнивать их с отечественными сделали Нащокина ревностным поклонником Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта. Так он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление: он первый провозгласил у нас правило, что «доброму не стыдно навикать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов». После него остался ряд бумаг, служебных донесений, записок или докладов царю по разным политическим вопросам. Это очень любопытные документы для характеристики как самого Нащокина, так и преобразовательного движения его времени. Видно, что автор говорун и бойкое перо; недаром даже враги сознавались, что Афанасий умел «слагательно», складно писать. У него было и другое еще более редкое качество — тонкий, цепкий и емкий ум, умевший быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из терпения иноземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело: не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике, сейчас подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему и чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью, с привычкой колоть глаза людям их несообразительностью. Ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота: все они полны немолчных и часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин-Нащокин вечно на все ропщет, всем недоволен: правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, мало разделяемые другими, создавали ему неловкое двусмысленное положение в московском обществе. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сблизившимся, которые снисходительно признавали в нем «неглупого подражателя своих обычаев».

Но это же самое наделало ему множество врагов между своими и давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называть его «иноземцем». Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои и чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко; этим он задевал много встречных самолюбий, и тем более что он шел не обычной дорогой, к какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащокин был чужой среди московского служебного мира и как политический новик должен был с бою брать свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — царь, не любивший надменности, и, стараясь обеспечить себе эту опору, Нащокин прикрывался перед царем от своих недругов видом загнанного скромника, смирением до самоуничужения. Он не высоко ценит свою службишку, но не выше ставит и службу своих знатных врагов и всюду горько на них жалуется. «Перед всеми людьми,— пишет он царю,— за твое сударево дело никто так не возненавижен, как я», называет себя «облихованным и ненавидимым человеченком, не имеющим, где приклонить грешную голову». При всяком затруднении или столкновении с влиятельными недругами он просит царя отставить его от службы, как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. «Государево дело ненавидят ради меня, холопа твоего»,— пишет он царю и просит «откинуть от дела своего омерзелого холопа». Но Афанасий знал себе цену, и про его скромность можно было сказать, что это — напускное смирение паче гордости, которое не мешало ему считать себя прямо человеком не от мира сего. «Если бы я от мира был, мир своего любил бы»,— писал он царю, жалуясь на общее к себе недоброжелательство. Думным людям противно слушать его донесения и советы, потому что «они не видят стези правды и сердце их одебелело завистью». Злая ирония звучит в его словах, когда он пишет царю о правительственном превосходстве боярской знати сравнительно с своей худородной особой. «Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела... У таких дел пристойно быть из ближних бояр: и роды великие, и друзей много, во всем пространый промысл иметь и жить умеют; отдаю тебе, великому государю, мое крестное целование, за

собой держать не смею по недостатку умишка моего». В раздражении на врагов он иногда прямо забывался, искушал доверие и благорасположение самого царя, укоризненно указывая ему на допускаемые им несообразности в правительственных отношениях. Ты, дескать, самодержавный государь, в Москве не выбирают государей на сейме и обо мне знают, что я твоей государевой милостью взыскан, а управляемый мною Посольский приказ открыто со мной враждует; иноземцы дивятся, видя, что я, ненавидимый в твоей палате, к такому высокому государственному делу приставлен; нигде во всем свете такие важные дела не делаются опальными и ненавидимыми людьми. «Припомни, государь, многие горькие слезы мои перед лицом твоим государевым. Кто Богу и тебе неотступно служит, те гонимы. Я служу тебе по твоей государевой неисчетной милости, а не по палатному выбору, и за твою милость бескорыстно и бесстрашно, никого сильных не боясь, умираю в правде. Если я в чем повинен, прикажи меня казнить беззаступного, чтоб и другим дать урок не поступать без заступы так резко, как я, а поступать, как подобает палатным избранникам».

Царь долго и настойчиво поддерживал своенравного и запальчивого дельца, терпеливо выносил его скучные жалобы и попреки, уверял его, что ему нечего бояться, что его никому не выдадут, грозил его недругам великими опалами за вражду с Афанасием и предоставлял ему значительный простор для деятельности. Благодаря этому Ордин-Нащокин получил возможность не только обнаружить свои административные и дипломатические таланты, но и выработать, даже частью осуществить свои политические планы. В письмах своих к царю он больше порицает существующее или полемизирует с противниками, чем излагает свою программу. Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, которые при надлежащей практической разработке могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней политики.

Первая идея, на которой упорно стоит Нащокин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец с Запада, все делать «с примеру сторонних, чужих земель». Это — исходная точка его преобразовательных планов; но не все нужно брать без разбора у чужих. «Какое нам дело до иноземных обычаев,— говаривал он,— их платье не по нас, а наше не по них». Это был один из немногих западников, подумавших о том, что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашения общеевропейской культуры с национальной самобыт-

ностью. Потом Нащокин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, деятельность которой неумеренно руководилась личными счетами и отношениями, а не интересом государственного дела, порученного тому или другому дельцу. «У нас,— пишет он,— любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает: меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают». Когда царь выражал Нащокину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет, но «о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле вижу чье нераденье». Итак, дело в деле, а не в лицах,— вот второе правило, которым руководился Нащокин. Главным его поприщем была дипломатия, и это был дипломат первой величины, по признанию современников, даже иностранцев; по крайней мере, он едва ли не первый из русских государственных людей заставил иностранцев уважать себя. Англичанин Коллинс, врач царя Алексея, прямо называет Нащокина великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров. Зато и он уважал свое дело. Дипломатия составляет, по его мнению, главную функцию государственного управления, и только достойные люди могут браться за такое дело. «На государственные дела,— писал он,— подобает мысленная очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, а это есть дело одного Посольского Приказа».

У Нащокина были свои дипломатические планы, своеобразные взгляды на задачи внешней московской политики. Ему пришлось действовать в ту минуту, когда ребром были поставлены самые щекотливые вопросы, питавшие непримиримую вражду Московского государства с Польшей и Швецией, вопросы о Малороссии, о Балтийском берегу. Обстоятельства поставили Нащокина в самый водоворот сношений и столкновений, вызванных этими вопросами. Но у него не закружилась голова в этом водовороте: в запутанных делах он умел отделить важное от шумного, привлекательное от полезного, мечты от достижимого. Он видел, что в тогдашнем положении и при наличных средствах Московского государства для него неразрешим в полном объеме вопрос малороссийский, т. е. вопрос о воссоединении юго-западной Руси с Великороссией. Вот почему он склонялся к миру и даже к тесному союзу с Польшей, и хотя хорошо знал, как он выражался, «зело шаткий, бездушный и непостоянный польский народ», но от союза с ним ждал разнообразных выгод. Между прочим, чаял он, турецкие христи-

ане, молдаване и волохи, услышав про этот союз, отложатся от турок, и тогда все дети Восточной Церкви, обитающие от самого Дуная вплоть до пределов Великой России и ныне разъединяемые враждебной Польшей, сольются в многочисленный христианский народ, покровительствуемый православным царем московским, и тогда сами собою прекратятся шведские козни, возможные только при русско-польской распре. В 1667 г. польским послам, приехавшим в Москву для подтверждения Андрусовского договора, Нащокин в одушевленной речи развивал свои мечты о том, какой великой славой покрылись бы все славянские народы и какие великие предприятия увенчались бы успехом, если бы племена, населяющие наши государства и почти все говорящие по-славянски от Адриатического до Немецкого моря и до Северного океана, соединились и какая слава ожидает оба государства в будущем, когда они, стоя в главе славянских народов, соединятся под одну державою.

Хлопоча о тесном союзе с вековым врагом и даже мечтая о династическом соединении с Польшей под властью московского царя или его сына, Нащокин проводил чрезвычайно крутой поворот во внешней политике. Он имел свои соображения, оправдывавшие такую перемену в ходе дел. Малороссийский вопрос в его глазах был пока делом второстепенным. Если, писал он, черкасы (казаки) изменяют, то стоят ли они того, чтобы стоять за них? Действительно, с присоединением восточной Малороссии главный узел этого вопроса развязывался, Польша переставала быть опасной для Москвы, твердо ставшей на верхнем и среднем Днепре. Притом нельзя было навсегда удержать временно уступленный Киев и присоединить западную Малороссию, не совершив международной неправды, не нарушив Андрусовского перемирия. А Нащокин был одним из редких дипломатов, обладавших дипломатической совестью, — качеством, с которым и тогда неохотно мирилась дипломатия. Он ничего не хотел делать без правды: «Лучше воистину принять злему животу моему конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делати». Поэтому, когда гетман Дорошенко с западной Малороссией, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя московского, Нащокин на запрос из Москвы, можно ли принять Дорошенка в подданство, отвечал решительным протестом против такого нарушения договоров, выразил даже негодование, что к нему обращаются в такими некорректными запросами. По его мнению, дело надобно было повести так, чтобы сами поляки, разумно



взвесив свои и московские интересы, для упрочения русско-польского союза против басурман и для успокоения Украины добровольно уступили Москве и Киев, и даже всю западную Малороссию, «а нагло писать о том в Польшу невозможно». Еще до перемирия в Андрусове Нащокин убеждал царя, что с польским королем «надобно мириться в меру», на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить: «Взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно». В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащокина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступить и от всей Малороссии, а не от западной только, ради упрочения союза. Но царь горячо восстал против такого малодушия своего любимца и очень энергично выразил свое негодование. «Эту статью,— отвечал ему царь,— отложили и велели выкинуть, потому что непристойна, да и для того, что обрели в ней полтора ума — один твердый разум да половину второго, колеблемого ветром. Союз превеликое богоугодное дело, и об нем в свое время пойдет речь. А о здешней Черкасской стороне и думать непристойно: твоим усердием и верной службой об этом речь навсегда покончена, твои соображения по той статье нам крепко памятливы и за то тебя милостиво похваляем. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного (полякам не подобает владеть и западной Малороссией): только то не по нашей воле, а за грехи учинится. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаке — ох, какое оправдание примет допустивший это? Будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огонь и немилосердные муки. Человеке! иди с миром царским средним путем, как начал, так и кончай, не уклоняйся ни направо, ни налево; Господь с тобою!» И упрямый человек сдался на набожный вздох своего государя, которого порой прямо не слушался, крепко ухватился и за другой кусок православного хлеба, вытягав у поляков в Андрусове вместе с восточной Малороссией Киев из западной.

Помыслы о соединении всех славян под дружным руководством Москвы и Польши был политической идиллией Нащокина. Как практического дельца, его больше занимали интересы более делового свойства. Его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подготавливая новые прибыли для казны и народа. Он старался устроить торговые сношения с Персией и Средней Азией, с Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию, смотрел и на Дальний Восток, на Китай, помышлял об устройстве казацкой колонизации Поамурья. Но в этих поисках на

первом плане, разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона, Балтийское море. Руководясь народно-хозяйственными соображениями не меньше, чем национально-политическими, он понимал торгово-промышленное и культурное значение этого моря для России, и потому его внимание было усиленно обращено на Швецию, именно на Ливонию, которую, по его мнению, следовало добыть во что бы то ни стало: от этого приобретения он ждал громадной пользы для русской промышленности и казны царя. Увлекаемый идеями своего дельца, царь Алексей смотрел в ту же сторону, хлопотал о возвращении бывших русских владений, о приобретении «морских пристанищ» (гаваней), Нарвы, Иван-города, Орешка и всего течения реки Невы с шведской крепостцой Канцами (Ниеншанц), на месте которой позднее возник Петербург. Но Нащокин и здесь шире смотрел на дело: он доказывал, что из-за мелочей не следует выпускать из виду главной цели, что Нарва, Орешек — все это не важные пункты: нужно пробраться прямо к морю, приобрести Ригу, пристань которой открывает ближайший прямой путь в Западную Европу. Составить коалицию против Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию,— это была заветная мысль Нащокина, составлявшая душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвуя западной Малороссией. Эта мысль не увенчалась успехом; но Петр Великий целиком унаследовал эти помыслы отца министра.

Впрочем, политический кругозор Нащокина не ограничивался вопросами внешней политики. Нащокин по-своему смотрел и на порядок внутреннего управления в Московском государстве: он был недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Прежде всего он был против беспорядочного смешения ведомств, каким отличалась тогдашняя московская администрация. Так, он настаивал на выделении дипломатии из массы мелочных внутренних дел, какие тогда ведались в Посольском приказе,— например, дел о питейных и таможенных сборах. По его словам, не следует посольское дело мешать с кабацкими откупами. Он восставал и против другого недостатка — излишней регламентации, господствовавшей в московском управлении. Здесь все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями: исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Нащокин требовал известного простора для исполнителей. «Не во всем дожидаться государева указа,— писал он,— везде надобно воеводское

рассмотрение», т. е. действие по собственному соображению уполномоченного. Он указывал на пример Запада, где во главе войска ставится знающий полководец, сам рассылающий указы подчиненным начальникам, а не требующий на всякую мелочь указа из столицы. «Где глаз видит и ухо слышит, тут и надо промысл держать неотложно», — писал он. Но требуя самостоятельности для исполнителей, он возлагает на них и большую ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности дельца, Нащокин называет «промыслом». Грубая сила мало значит. «Лучше всякой силы промысл; дело в промысле, а не в том, что людей много. И много людей, да промышленника нет, так ничего не выйдет. Вот швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми верх берет: у него никто не смеет отнять воли у промышленника; половину рати продать да промышленника купить — и то будет выгоднее». Наконец, в административной деятельности Нащокина замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу: это — при взыскательности и исполнительности беспримерная в московском управлении внимательность к подчиненным, участие сердца, чувства человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они с наименьшей затратой усилий могли бы принести наиболее пользы государству. Во время шведской войны в непокоренном краю по Западной Двине русские рейтары и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Нащокин, сидя тогда воеводой в Кукейносе, возмущался до глубины души таким разбойничьим способом ведения войны; у него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему придется посылать помощь и против неприятелей, и против своих грабителей. «Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели; лучше бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не жить здесь и не видеть над людьми таких злых бед». Царь Алексей всего более способен был оценить это качество в своем сотруднике. В грамоте 1658 г., возводя Нащокина в думные дворяне, царь хвалит его за то, «что он алчных кормит, жаждущих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворах не спускает».

Таковы административные взгляды и приемы Нащокина. Он делал несколько попыток практического применения своих идей. Наблюдения над жизнью Западной Европы привели его

к сознанию главного недостатка московского государственного управления, который заключался в том, что это управление направлено было единственно на эксплуатацию народного труда, а не на развитие производительных сил страны. Народнохозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям и ценились правительством лишь как вспомогательные средства казны. Из этого сознания вытекали вечные толки Нащокина о развитии промышленности и торговли в Московском государстве. Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления. Нащокин был одним из первых политиков-экономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, надо было освободить его от гнета приказной администрации. Управляя Псковом, Нащокин попытался применить здесь свой проект городского самоуправления, взятый «с примеру сторонних чужих земель», т. е. Западной Европы. Это единственный в своем роде случай из истории местного московского управления XVII в., не лишенный даже некоторого драматизма и ярко характеризующий как самого Нащокина, его виновника, так и порядки, среди которых ему приходилось действовать. Приехав в Псков в марте 1665 г., новый воевода застал в родном городе страшную неурядицу. Он увидел великую вражду между посадскими людьми: «лутчие», состоятельнейшие купцы, пользуясь своей силой в городском общественном управлении, обижали «средних и мелких людишек» в разверстке податей и в нарядах на казенные службы, вели городские дела «своим изволом», без ведома остального общества: те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды; из-за немецкого рубежа в Псков и из Пскова за рубеж привозили товары беспошлинно; маломочные торговцы, не имея оборотного капитала, тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали подешевле русские товары и как свои продавали, точнее передавали их своим доверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком, «из малого прокормления»; этим они донельзя сбивали цены русских товаров, сильно подрывали настоящих капиталистов, должны неоплатно иноземцам, разорялись и гибли на правехах по долговым взыскааниям; Нащокин в одном акте поименно перечисляет свыше 40 посадских псковичей, умерших от жестокого правеха за долги иноземцам, и до 15 человек, потерявших по той же причине свои двory и движимое имущество и еще при нем сидевших в долговой тюрьме. От всех этих нестроений казна терпела великие недоборы, год от году в сборах малилась,

а посады Пскова и его пригородов пришли в крайнюю скудость. Чтобы помочь землякам, Нащокин вскоре по приезде предложил псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские старосты Пскова, собравшись с лучшими людьми в земской избе (городской управе) «для общего всенародного совету», должны были обсудить со всяким усердием. Здесь при участии воеводы выработаны были «статьи о градском устройении», своего рода положение об общественном управлении г. Пскова с пригородами в 17 статьях. Положение было одобрено в Москве и заслужило милостивую похвалу царя воеводе за службу и раденье, а псковским земским старостам и всем посадским людям «за их добрый совет и за раденье во всяких добрых делах».

Важнейшие статьи положения касаются преобразования посадского общественного управления и суда и упорядочения внешней торговли, одного из самых деятельных нервов экономической жизни Псковского края. Посадское общество г. Пскова выбирает из своей среды на три года 15 человек, из коих пятеро по очереди в продолжение года ведут городские дела в земской избе. В ведении этих «земских выборных людей» сосредоточиваются городское хозяйственное управление, надзор за питейной продажей, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с иноземцами; они же и судят посадских людей в торговых и других делах: только важнейшие уголовные преступления, измена, разбой и душегубство, остаются подсудны воеводам. Так псковский воевода добровольно поступался значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выборных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей из посадского общества.

Нащокин видел главные недостатки русской торговли в том, что «русские люди в торговле слабы друг перед другом», неустойчивы, не привыкли действовать дружно и легко попадают в зависимость от иностранцев. Главные причины этой неустойчивости — недостаток капиталов, взаимное недоверие и отсутствие удобного кредита. На устранение этих недостатков и были направлены статьи псковского положения о торговле с иноземцами. Маломочные торговцы распределяются «по свойству и знакомству» между крупными капиталистами, которые наблюдают за их промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм ссуды для покупки русских вывозных товаров. Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом, от 6 января и от 9 мая. К этим ярмаркам мелкие тор-

говцы на полученную ссуду при поддержке капиталистов, к которым приписаны, скупают вывозные товары, записывают их в земской избе и передают своим принципалам; те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки товаров к следующей ярмарке и делают им «наддачу» к этой покупной цене «для прокормления», а продав иноземцам доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам причитающуюся им «полную прибыль». Такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на надлежащей высоте цены туземных товаров.

Такие своеобразные торговые товарищества рассчитаны были на возможность дружного сближения верхнего торгового слоя с посадской массой, значит, на умиротворение той общественной вражды, какую нашел Нащокин в Пскове. Расчет мог быть основан на обоюдных выгодах обеих сторон, патронов и клиентов: сильные капиталисты доставляли хорошую прибыль маломочным компанейщикам, а последние не портили цен сильным. Важно и то, что эти товарищества состояли при городской управе, которая становилась ссудным банком для маломочных и контролером для их патронов: посадское общество г. Пскова при зависимости от него пригородов получало возможность через свой судебный-административный орган руководить внешней торговлей всего края. Но самая сложность интересов, встречавшихся и перепутывавшихся в непривычном деле, должна была мешать успеху реформы. Нащокин, как заводчик дела, попал меж двух огней. Сохранилась челобитная, в которой маломочные посадские псковичи извещают царя, что его государев указ о новом положении они приняли, как милость, и дали на него приговор всем городом, но «нарочитые прожиточные люди», богачи, привыкшие ворочать городскими делами без мирского ведома, оказали ему противодействие, а от градского совета отстали, и даже первые их земские выборные, которые должны были вводить новое положение, его не одобряли, примыкая к прожиточным. Значит, нововведение понято было, как мера, принятая в интересах маломочного люда. Можно себе представить, как «ненавидимо» встречено было предприятие Нащокина московским боярским и приказным миром: здесь в нем усмотрели только дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков в угоду тяглового посадского мужичья. Притом реформе не было и времени упрочиться, оказать свое действие. Нащокин предпринял ее между своим настоящим делом, мимохо-

дом, между двумя посольскими съездами: он провоеводствовал в Пскове с марта 1665 г. не более 8 месяцев, как был отозван для новых переговоров с поляками, кончившихся Андрусовским перемирием; в ноябре 1665 г. встречаем в Пскове уже нового воеводу, кн. Хованского. Можно только подивиться, как успел Нащокин не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладать суетливые подробности ее исполнения. Преемник Нащокина в Пскове, чванный поборник боярских притязаний, «тараруй», как его прозвали в Москве, болтун и хвастун, которого «всяк дураком называл», по выражению царя Алексея, представил дело Нащокина в таком свете, что царь отменил его, несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости — решать дела по последнему впечатлению.

Нащокин не любил сдаваться ни врагам, ни враждебным обстоятельствам. Он так веровал в свою псковскую реформу, что впал в самообольщение при своем критическом уме, так хорошо выправленном на изучении чужих ошибок. В псковском городском положении он выражает надежду, что когда эти псковские «градские права в народе постановлены и устроены будут», на то смотря, жители и других городов будут надеяться, что и их пожалуют таким же устройением. Но в Москве решило прямо наоборот: в Пскове не подобает быть особому местному порядку, «такому уставу быть в одном Пскове не уметь». Однако в 1667 г., став начальником Посольского приказа, во вступлении к проведенному им тогда Новоторговому уставу он не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодно, повторить свои псковские мысли о выдаче ссуд недостаточным торговцам из московской таможни и городских земских изб, о том, чтобы маломочные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские товары и т. д. В этом уставе Нащокин сделал еще шаг вперед в своих планах устройства русской промышленности и торговли. Уже в 1665 г. псковские посадские люди ходатайствовали в Москве, чтобы их по всем делам ведали в одном приказе, а не волочиться бы им по разным московским учреждениям, терпя напрасные обиды и разорение. В Новоторговом уставе Нащокин провел мысль об особом приказе, который ведал бы купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороной от других государств и во всех городах защитой и управой от воеводских притеснений. Этот *Приказ купецких дел* имел стать предшественником учрежденной Петром Великим Московской ратуши, или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское торгово-промышленное население государства. Став начальником Посольского приказа,

Нащокин поднимал вопрос о восстановлении заведенного им порядка в Пскове, состоявшем в ведомстве этого приказа. Но все дело ограничилось одной фискальной подробностью — вопросом о вольной продаже вина, введенной в Пскове Нащокиным в 1665 г. Опросили всяких чинов обывателей г. Пскова и Псковского уезда и решили вольной продажи не восстанавливать и отдать псковские кабаки на откуп.

Таковы преобразовательные планы и опыты Нащокина. Можно подивиться широте и новизне его замыслов, разнообразию его деятельности: это был плодовитый ум с прямым и простым взглядом на вещи. В какую бы сферу государственного управления ни попадал Нащокин, он подвергал суровой критике установившиеся в ней порядки и давал более или менее ясный план ее преобразования. Он сделал несколько военных опытов, заметил недостатки в военном устройстве и предложил проект его преобразования. Неудовлетворительная дворянская конница по этому проекту должна быть заменена обученным иноземному строю ополчением из пеших и конных «даточных людей» (рекрутов). Очевидно, это — мимоходом высказанная мысль о регулярной армии, комплектуемой рекрутскими наборами из всех сословий. Что бы ни задумывалось нового в Москве, заведение ли флота на Балтийском или Каспийском море, устройство заграничной почты, даже просто разведение красивых садов с выписными из-за границы деревьями и цветами, — при всяком новом деле стоял или предполагался непременно Ордин-Нащокин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства, и именно в духе децентрализации, в смысле ослабления столичной приказной опеки над местными управителями, с которой Нащокин воевал всю свою жизнь. Можно пожалеть, что ему не удалось сделать всего, что он мог сделать; его неустойчивый и строптивый характер положил преждевременный конец его государственной деятельности.

У Нащокина не было полного согласия с царем во взглядах на задачи внешней политики. Оставаясь вполне корректным дипломатом, виновник Андрусовского договора крепко стоял за точное его исполнение, т. е. за возможность возвращения Киева Польше, что царь считал нежелательным, даже прямо грешным делом. Это разномыслие постепенно охлаждало государя к его любимцу. Охлаждение царя поселяло в сотрудники мысль об удалении от государственных дел. В 1671 г. Нащокин был уволен от управления Посольским приказом и назначен для новых переговоров с Польшей, в которых ему предстояло



разрушать собственное дело, нарушать договор с поляками, скрепленный всего год тому назад его присягой. Нащокин отказался исполнить поручение, а в феврале 1672 г. игумен псковской Крыпецкой пустыни Тарасий постриг Афанасия в монахи под именем Антония. В автобиографической заметке, уцелевшей в одной рукописи, Нащокин записал, что 2 декабря 1671 г. его, Афанасия, «царь, помазанник Божий, от руки своея государския при всем своем сигклите милостиво отпустил и от всеи мирские суеты свободил явно». Последние мирские заботы инока Антония были сосредоточены на устроенной им в Пскове богадельне. Он умер в 1680 г.

Ордин-Нащокин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил Преобразователь. Это был смелый, самоуверенный бюрократ, знавший себе цену, но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым, с деятельным и деловым умом; во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо. Он не успокаивался на рутине, всюду зорко подмечал недостатки существующего порядка, верно соображал средства для их устранения, чутко угадывал задачи, стоявшие на очереди. Обладая сильным практическим смыслом, он не ставил далеких целей, слишком широких задач. Умея найтись в разнообразных сферах деятельности, он старался устроить всякое дело, пользуясь наличными средствами. Но твердя без умолку о недостатках действующего порядка, он не касался его оснований, думал поправлять его по частям. В его уме неясные преобразовательные порывы Алексея времени впервые стали облекаться в отчетливые проекты и складываться в связный план реформы; но это не был радикальный план, требовавший общей ломки: Нащокин далеко не был безрасчетным новатором. Его преобразовательная программа сводилась к трем основным требованиям: к улучшению правительственных учреждений и служебной дисциплины, к выбору добросовестных и умелых управителей и к увеличению казенной прибыли, государственных доходов посредством подъема народного богатства путем развития промышленности и торговли.

Я начал чтение замечанием о возможности появления у нас государственного человека в XVII в. Если вы вдумаетесь в превратности, в мысли, в чувства,— во все перипетии описаний государственной деятельности далеко не рядового ума и характера, в борьбу Ордина-Нащокина с окружавшими его условиями, то вы поймете, почему такие счастливые случаи были так редки.

---

## ПЕТР ВЕЛИКИЙ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

### I

Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоту к тому. Спешность дел, неумение, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность — все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумьи, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянном деловом общении со множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.

Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека; только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманый план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его выраба-

тывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это — неослабное чувство долга и вечно напряженная мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.

Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может. Идеей власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти править, а править значит — приказывать и взыскивать. Как исполнить указ — это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближай-

ших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, у земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, — это не политическое право Боярской думы или земского собора, а их верноподданническая обязанность. Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии; по крайней мере так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам — только боярам, а не земскому собору, — его отец. И с 1613 по 1682 г. никогда ни в Боярской думе, ни на земском соборе не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами давали и средства царствовать — такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.

Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед богом, но и перед землей; а здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение — служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей ассирийских. Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него не доставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, обратную сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чув-

ствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.

В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо; только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно почувствовал «долженства», обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: к *распорядку*, внутреннему благоустройству, и *обороне*, внешней безопасности государства. В этом и состоит *благо отечества*, общее благо родной земли, русского народа или государства — понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие — средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном». Впоследствии, когда возникла опасность — полнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по петергофской дороге. «Глупый человек,— сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении,— ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать

работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело: но и нам надлежит пещись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов — плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице; простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом — простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопаными чулками — все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».

Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага — такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики. Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за *други своя*. Но под ближним он разумел прежде всего своих семейных и родных, как самых близких из ближних, а *другами своими* считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены. В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел. «Что вы делаете дома? — с недоумением спрашивал он иногда окружающих, — я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! он наших нужд не знает, — жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел, — как бы присмотрел он хорошенько за своим домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древне-

русского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.

## II

Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, в компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, — довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и хитрые, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головин, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя. Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шеина, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний: кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора; и все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые из русских,

понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, с риторикой и священной философией, с учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками — артиллерией, навтикой, фортификацией, с иностранными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».

Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое умение распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, много ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.

Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед



ним одним, и таким образом получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как на лишнюю подпорку гражданского долга или по крайней мере общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлось по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пророков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может. Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что после семилетнего правления Софьи, веденного «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что донныне (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян. Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все ворует, только один больше и приметнее другого». Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям

и приобрел склонность думать, что их можно обуздывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что *всяк человек есть ложь*, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорил лейб-медику Арескину: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».

Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отеческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия такой способ исправления в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать». В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и глядя увивавшуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиной; собачка догадливей их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольной своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каков я точу?» — «Хорошо, ваше величество!» — «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу».

С царской дубинкой близко знаком был и светлейший

князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя «до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспремерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фронт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрудер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях: бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. <sup>поземельного</sup> дохода (около 1 300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных камней на 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> млн. руб. (около 13 млн.) и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца; но такое богатство едва могло состояться из одних царских щедрот да из барышей беломорской компании моржевого промысла, в которой князь состоял пайщиком. «Зело прошу,— писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше,— зело прошу, чтобы вы такими малыми прибутками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибутков», предпочитая им большие. Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн. руб. (около 10 млн. на наши деньги). Петр сложил зна-

чительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой, если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного. Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видал, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостоивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытывшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно. А. П. Волынский после рассказывал, как во время персидского похода, на Каспийском море Петр по наговорам недругов прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствие, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но,— добавлял рассказчик,— государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою и на завтра сам всемилостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»

Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его, как утешают

в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастьи печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».

### III

Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами и понятиями даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобесующихся — «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского» или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. — «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» — «Нет, государь, я здорова». — «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». — «Вылечил!» — с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.

При уменье Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками; а участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что растреивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани; провинившегося тотчас наказывали, заставляли *пить штраф* — опорожнить бокала три вина или одного *орла* (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задирали». П. Толстой долго помнил,

как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны Софьи и Ивана Милославского, он сильно замешался в стрельцкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова — как бы с плеч не свалилась». — «Не бойтесь, ваше величество, — отвечал вдруг очнувшийся Толстой, — она вам верна и на мне тверда». — «А! так он только притворился пьяным, — продолжал Петр, — поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), — так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударяя его ладонью по плечи, продолжал: «Голова, голова! кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел». Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз — это было еще до дела царевича Алексея — на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину этих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, — все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это, да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» — добавил он. «Как на кого? — возразил Петр, — у меня есть наследник — царевич». «Ох, да ведь он глуп, все расстроит».

Петру понравилась звучащая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! — заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, — этого при всех не говорят».

Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, всплыв на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно; корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности. Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит, и вместе с тем желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов: был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского. Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы

победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды на просьбу нескольких военных о повышении их чинами Петр не шутил отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею, хотя отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде богу, авось, дело сладится». Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, шуткой, если не шутковством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем; только у него обыкновенно выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском. Нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами, получал и расписывался в получении присвоенного чину жалованья, причем говаривал: «Эти деньги мои собственные; я их заслужил и могу употреблять, как хочу; но с государственными доходами надо поступать осторожно: в них я должен дать отчет богу». Службой Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроизводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных, внеслужебных делах, обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, «басу» (корабельному мастеру) или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможна доверчивая близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору во внушительном примере: опасно было шутить службой, когда ею не шутил сам Петр Михайлов.

В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами «братства не иметь», не брататься: это привело бы к поблажке, распушенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности: в нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека; но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга; напротив, чем выше ценил



он дельца, тем взыскательнее был к нему и тем доверчивее полагался на него, требуя не только точного исполнения своих распоряжений, но, где нужно, и действий на свой страх, по собственному соображению и почину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного *как изволишь*. Никого из своих сотрудников не уважал он больше эрестферского и гумельсгофского победителя шведов, Б. Шереметева, встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя-героя; но и тот нес на себе всю тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к тому же не совсем здоровому фельдмаршалу ускоренный марш в 1704 г., Петр не дает ему покоя своими письмами, настойчиво требуя: «Иди днем и ночью, а если так не учинишь, не изволь на меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметев, не зная, что делать за неимением инструкций, отвечал на запрос царя, что согласно указу никуда идти не смеет, Петр с укоризненной иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасти, пока не справится, прописано ли у него в наемном контракте вытаскивать из воды утопающего хозяина. К другим генералам в случае их неисправности Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямоотой. В 1705 г., задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда Двиной товары. Князь Репнин по недоразумению пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами: «Негг, сегодня получил я ведомость о вашем толь худом поступке, за что можешь шею заплатить; впредь же, аще единая щепка пройдет, ей богом клянусь, без головы будешь».

Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланты и заслуги, сколько и нравственные качества, особенно преданность, и это уважение считал одною из первейших обязанностей государя. За своим обѣденным столом он пивал тост «за здравие тех, кто любит бога, меня и отечество», и сыну вменял в непременную обязанность любить верных советников и слуг, будут ли они свои или чужие. Князь Ф. Ю. Ромодановский, страшный начальник тайной полиции, «князь-кесарь» в шуточной компанейской иерархии, «собою видом как монстра, нравом злой тиран», по отзыву современников, или просто «зверь», как величал его сам Петр в минуты недовольства им, не отличался особенно выдающимися способностями, только «любил пить непрестанно и других поить да ругаться»; но он был предан Петру, как никто другой, и за то пользовался его безмерным доверием и наравне

с фельдмаршалом Б. П. Шереметевым имел право входить в кабинет Петра без доклада — преимущество, которое не всегда имел даже сам «полудержавный властелин» Меншиков. Уважение к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра задумчиво-теплое выражение. Раз в разговоре с лучшими своими генералами, Шереметевым, М. Голицыным и Репниным, о славных полководцах Франции он с воодушевлением сказал: «Слава богу, дожил я до своих Тюреннов, только вот Сюллия у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб. Своих сподвижников Петр не забывал и на чужбине. В 1717 г., осматривая укрепления Намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой, сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и с сияющим от радости лицом сказал коменданту: «Словно я нахожусь теперь в отечестве среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметеве (умер в 1719 г.), Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим: «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас; но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим покойным военным сподвижникам — Лефорту, Шеину, Гордону, Шереметеву, говоря про них: «Сии мужи — верностию и заслугами вечные в России монументы». Ему хотелось поставить эти памятники в Александро-Невском монастыре под сению древнего святого князя, неевского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но за смертью императора дело не состоялось.

#### IV

Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец, уважением к таланту и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего он требует от них таких усилий, и хорошо понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям, — хотя бы только понимали, если уж не могли в душе сочувствовать ни ему самому, ни его делу. Да и самое это дело было настолько серьезно само по себе и так чувствительно всех задевало, что поневоле заставляло над ним задумываться. «Трехвременная жестокая школа», как называл Петр длившуюся три школьных семилетия

шведскую войну, приучала всех проходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду тяжелых задач, какие она ставила на очередь, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать добытые успехи, запоминать и соображать полученные уроки и допущенные ошибки. В досужие часы, иногда и за пиршественным столом, в возбужденном и приподнятом настроении по случаю какого-нибудь радостного события, в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, к каким редко обращаются в минуты отдыха много занятые люди. Современники записали почти только монологи самого царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было довольно разнообразно: говорили о библии, о мощах, о безбожниках, о народных суевериях, Карле XII, о заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь и о предметах, более им близких, практических, о начале и значении того дела, которое они делали, о планах будущего, о том, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та скрытая духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаяния которой волей-неволей подчинялись его сотрудники. Видим, как война и возбуждаемая ею реформа поднимала их, напрягала их мысль, воспитывала их политическое сознание.

Петр, особенно к концу царствования, очень интересовался прошлым своего отечества, заботился о собирании и сохранении исторических памятников, говорил ученому Феофану Прокоповичу: «Когда же мы увидим полную историю России?», неоднократно заказывал написать общедоступное руководство по русской истории. Изредка мимоходом вспоминал он в беседах, как начиналась его деятельность, и раз в этих воспоминаниях мелькнула древняя русская летопись. Казалось бы, какое участие могла принять в его деятельности эта летопись? Но в деловом уме Петра каждое приобретаемое знание, каждое набегающее впечатление получало практическую обработку.

Он начинал эту деятельность под гнетом двух наблюдений, вынесенных им из знакомства с положением России, как только он начал понимать его. Он видел, что Россия лишена тех средств внешней силы и внутреннего благосостояния, какие дают просвещенной Европе знание и искусство; видел также, что шведы и турки с татарами лишали ее самой возможности заимствовать эти средства, отрезав ее от европейских морей. «Разумным очам,— как он писал сыну,— к нашему

нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли». Вывести Россию из этого двойного затруднения, пробиться к европейскому морю и установить непосредственное общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз брошенную на них неприятелем завесу, мешающую им видеть то, что им хочется видеть,— это была первая, хорошо выясненная и твердо поставленная цель Петра.

Однажды в присутствии гр. Шереметева и генерал-адмирала Апраксина Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград. С этих пор запало в нем желание сделать то же против врагов христианства, вероломных турок, и отмстить им за обиды, какие они вместе с татарами наносили России. Эта мысль окрепла в нем, когда во время поездки в Воронеж в 1694 г., за год до первого азовского похода, обозревая течение Дона, он увидел, что этой рекой, взяв Азов, можно выйти в Черное море, и решил завести в пригодном месте кораблестроение. Точно так же первое посещение города Архангельска породило в нем охоту завести и там строение судов для торговли и морских промыслов. «И вот теперь,— продолжал он,— когда при помощи божией у нас есть Кронштадт и Петербург, а вашей храбростью завоеваны Рига, Ревель и другие приморские города, строящимися у нас кораблями мы можем защищаться от шведов и других морских держав. Вот почему, друзья мои, полезно государю путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к пользе и славе государства». В конце жизни, осматривая работы на Ладожском канале и довольный их ходом, он говорил строителям: «Видим, как Невой ходят к нам суда из Европы; а когда кончим этот канал, увидим, как нашей Волгой придут торговать в Петербург и азиаты». План канализации России был одною из ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на Западе. Он мечтал, пользуясь речной сетью России, соединить все моря, примыкающие к русской равнине, и таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами, Западом и Востоком, Европой и Азией. Вышневолоцкая система, замечательная по остроумному подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным законченным при Петре опытом осуществления задуманного грандиозного плана. Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя Бековича-Черкасского, между прочим, с целью разведать и описать сухой и водный, особенно водный, путь в Индию; за несколько дней до смерти вспомнил он давнюю

свою мысль об отыскании дороги в Китай и Индию Ледовитым океаном. Уже страдая предсмертными припадками, он спешил написать инструкцию Камчатской экспедиции Беринга, которая должна была расследовать, не соединяется ли Азия на северо-востоке с Америкой,— вопрос, на который давно уже и настойчиво обращал внимание Петра Лейбниц. Передавая документ Апраксину, он говорил: «Нездоровье заставило меня сидеть дома; на днях я вспомнил, о чем думал давно, но чему другие дела мешали,— о дороге в Китай и Индию. В последнюю поездку мою за границу ученые люди там говорили мне, что найти эту дорогу возможно. Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в этой инструкции».

Чтобы быть умелой посредницей между Азией и Европой, России, естественно, надлежало не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах, разумеется, заходила речь и об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим оттуда в Россию. Этот вопрос давно, чуть не весь XVII век, занимал русское общество. Петра с первых лет царствования по низвержении Софьи сильно осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и Немецкой слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 г. хоронил Гордона и Лефорта. Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в азовских походах и во второй стрелецкий мятеж 1697 г., сам закрыл глаза покойнику и поцеловал его в лоб; при погребении, бросив землю на опущенный в могилу гроб, Петр сказал предстоящим: «Я даю ему только горсть земли, а он мне дал целое пространство с Азовом». Еще с большей горестью хоронил Петр Лефорта: сам шел за его гробом, обливался слезами, слушая надгробную проповедь реформатского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала, и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим крайнее удивление присутствовавших иностранцев; а на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца, и некоторые из них, пользуясь минутной отлучкой царя, пока накрывали поминальный стол, спешили убраться из дома, но на крыльце наткнулись на возвращавшегося Петра. Он рассердился и, воротив их в зал, приветствовал речью, в которой говорил, что понимает их побег, что они боятся выдать себя, не надеясь выдержать за столом притворную печаль. «Какие ненавистники! Но я научу вас почитать достойных людей. Верность

Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собой в могилу!» Но Гордон и Лефорт были исключительные иностранцы: Петр ценил их за преданность и заслуги, как потом ценил Остермана за таланты и знания. С Лефортом он был связан еще личной дружбой и преувеличивал достоинства «дебосана французского», как называл его кн. Б. Куракин; готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили»,— говорил о нем Петр впоследствии (зато и пошел в народе слух, что Петр был сын «Лаферта да немки беззаконной», подкинутый царице Наталье). Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела военные и промышленные, он не мог обойтись без них как инструкторов, сведущих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался заменять их русскими. Уже в манифесте 1705 г. он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами «желаемого не возмogli достигнуть», и предписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Паткуль сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско; а с наемным австрийским фельдмаршалом Огильви, человеком деловитым, но «дерзновенником и досадителем», как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать и потом «с неприязнью» отослать обратно.

Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз при шутовском столкновении с князем-кесарем из-за длинного бешмета, в каком Ромодановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатным господам: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращения к боярам слова о бранобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей: «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в царство небесное, хотя оно отверсто для всех честных людей, с бородами ли они или без бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса, и ополчался не столько против самых обычаев русской

старины, сколько против суеврных представлений, с ними соединенных, и упрямства, с каким их отстаивали.

Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, выдавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел видеть это у себя; а в прочем Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предписывал возможно сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом Божиим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит,— гласила программа,— и чтоб сенсу (смыслу) было довольно». Предание донесло отзвук одной беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом».

В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть шведской войны. Военные опасности всего более ускоряли движение реформы. Потому главное ее дело было военное, «чем мы от тьмы к свету вышли и прежде незнание в свете ныне почитаемы стали»,— как писал Петр сыну в 1715 г. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать кн. Я. Ф. Долгорукому, правдивейшему законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил про князя: «Кн. Яков в Сенате прямо мне помощник: он судит дельно и мне не потакает, без красноречия режет прямо правду, несмотря на лицо». В 1717 г. блеснула надежда на скорое окончание

тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо: в Голландии открылись предварительные переговоры о мире с Швецией, и был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году раз, сидя за столом, на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах; каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подойдя к князю Я. Ф. Долгорукому и став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три главные дела у царей: первое — внутренняя расправа и правосудие; это — ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отца сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело — военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать; конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела



их, так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: *«Благий рабе верный, в мале был еси мне верен, над многими тя поставлю»*. «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, — так заканчивает свой рассказ Татищев, — и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».

Скоро представился удобный к тому случай. В 1718 г. следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего в роде князя Якова к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, а фамилии от бесчестья носить звание «злодейского рода».

Петра занимало не соперничество с отцом, не счеты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все, сказанное на пиру князем Яковым, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно Уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 г., еще в 1700 г. приказав пересмотреть и пополнить Уложение новыми узаконениями, а потом в 1718 г., вскоре после описанной беседы, предписал свести русское Уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что, по мысли Петра, было нужно. Законодательство — только часть предстоящего дела. Пересмотр Уложения заставил обратиться к шведскому законодательству в надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем: для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться произведениями знания и опыта европейских народов, готовыми плодами чужой работы. Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл «науками и искусствами». Это значило бы вечно жить чужим умом,

«подобно молодой птице в рот смотреть», по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы. Осматривая «вонючий» Париж, он думал о том, как бы видеть у себя такой же расцвет наук и искусств; рассматривая проект своей Академии наук, он при Блументросте, Брюсе и Остермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств: «Надлежит притом быть департаменту художеств, а паче механическому; желание мое насадить в столице сей рукоделие, науки и художества вообще».

Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли. Да и самая эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 г. инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, «оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусство и науки». Беспokoйно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, если не им, то его преемниками, и эту веру высказал как в словах — если только они были сказаны — о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю. В 1724 г. лейб-медик Блументрост просил отправлявшегося по поручению Петра в Швецию Татищева подыскивать там ученых для Академии наук, открытие которой он подготовлял как будущий ее президент. «Напрасно ищите семян,— возразил Татищев,— когда самой почвы для посева еще не приготовлено». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, отвечал Татищеву такую притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильные водой озера и болота у соседей, он начал с их согласия канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготовлять, и хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера подерживалась в Петре и со стороны таким славным ученым, как

Лейбниц, давно предлагавшим ему и учреждение высшей ученой коллегии в С.-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами, и исследование границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий, и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь недоставало ни научных преданий и навыков, ни учебных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении белый лист бумаги, по выражению философа, или непечатое поле, где надо все заводить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избежать недостатков и ошибок, каких наделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.

## V

Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лейбниц писал Петру в 1712 г.; но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. «Провидение,— писал философ в этой приписке,— по-видимому, хочет, чтобы наука обошла кругом весь земной шар и теперь перешла в Скифию, и потому избрало ваше величество орудием, так как Вы можете и из Европы и из Азии взять лучшее и усовершенствовать то, что сделано в обеих частях света». Может быть, эту мысль Лейбниц высказывал Петру в личной беседе с ним. Нечто похожее на ту же мысль как бы вскользь высказано и в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича: после многих народов древнего и нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла наконец и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру.

Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками Петр изложил ту же мысль по-своему, кстати воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 г., празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе среди приглашенного на пир высшего общества много говорил

об успешном ходе русского кораблестроения. Между прочим, он обратился с целой речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами, искренне преданными реформе. Надобно иметь в виду, что речь изложена была на торжестве немцем, брауншвейгским резидентом Вебером, который всего месяца два как приехал в Петербург и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование.

«Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад,— так начал царь,— что мы с вами здесь, у Остзейского моря, будем плотничать и в одежде немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи? Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда по превратности времени они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши; а поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребывали доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое — в Грецию. Покамест советую вам помнить латинскую поговорку: *Ora et labora* (молись и трудись), и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высокую степень славу русского имени».

— Да, да, правда! — отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова, и, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за любезные им стаканы, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих великих предприятий.

Рассказчик придал этой беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам другую, менее возвышенную и ласковую речь, если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно, себе на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола; думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унижительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю, еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом: «К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству — таков почет, подобающий царю». Он устроил столько госпиталей, богаделен и училищ, «народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил», в *Воинских статьях* запретил бить солдата, писал наставление всем принадлежащим к русскому войску, «каковой ни есть веры или народа они суть, между собою христианскую любовь иметь», внушал «с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по Апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением», говорил, что господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, — и он первый на Руси стал это писать и говорить, — а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом. Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью: «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повеле-

ваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам; эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клеветет: совесть моя чиста. Бог мне судья! Неправые толки в свете разносит ветер».

## VI

Защищая царя от обвинения в жестокости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что содельывалось против сего монарха». Эта «архива» уже разбирается и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая в глубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра, царица Марья, плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное, и «ее милостивое сердце снедала печаль от вздыханий народных». Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на соборе архиереем: «Посмотрите, что у всех на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, оморок мирской, подкидыш, антихрист, и бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь

скоро умрет, либо народ поднимется на него; сам царевич признался, что готов был пристать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот, знал толки и козни, против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество; желаю ему полезного, но враги пакости делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать: народные тягости все увеличивались, десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кроншлоте, на Ладожском канале, войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что донельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дела; никого не щадя, всего менее себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо: так хирург, скрепя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это — «стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение». Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной, детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас; пусть бьют; но они выучат и нас бить их самих; когда же ученье обходится без потерь и огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась олонецкими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а подданных примерами; в том и другом исцеление вижу медленное: все решит время». Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки, и в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобразительностью стороннего наблюдателя: «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры (Софьи) был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине (первой жене) несносен: она глупа. Сын меня ненавидит: он упрям». Но Петр поступал в политике,

как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 г., за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя с своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшною бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности, сам взялся за руль, в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете! С нами бог!», благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам, весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом.

Неослабное чувство долга, мысль, что этот долг — неуклонно служить общему благу государства и народа, беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение,— таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитывать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось; а делалось, кажется, довольно просто, как бы само собой, действием неумовимых впечатлений. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 г. по окончании заграничной выучки держал экзамен перед самим царем, в полном собрании адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю, как Страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, стал на колени. «Трудиться надобно», — сказал на это царь и, оборотив к нему ладонью правую руку, прибавил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все для того — показать вам пример и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей; что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и скажи». Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, отзывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги



со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец! Я вам от бога приставник, и должность моя смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить, не мне, а более себе и отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я истец, ибо бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать. Служи верой и правдой; вначале бог, а по нем и я должен буду не оставить. Прости, братец! — прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб. — Приведет ли бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках: «Ей-ей, не лгу, был более суток в беспамятстве; да иначе мне и грешно бы было; сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди». После, пережив шесть царствований и дожив до седьмого, он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого и имя его не иначе произносил, как священное, и почти всегда со слезами.

Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, — всей своею деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов: «Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному богу погребем вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».

Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывала общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось в глубь общества, заставляло даже простые и грешные, но

непредубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым: он не любил этого. Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Косошкина, полученное им в 1714 г. и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Косошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принеся чистого покаяния пресветлому монарху, куда еще грешная душа с телом не разлучилась, и не получив прощения в своих грехах по службе: состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил; да он же Иван Косошкин ему, государю, виновен: оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю стать заочно предсмертным судьей совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.

---

## РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В МИНУТУ СМЕРТИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО<sup>1</sup>

Для того, чтобы понять настроение русского общества в минуту смерти Петра, не лишним будет припомнить, что он умер, начав второй мирный год своего царствования, через пятнадцать месяцев по окончании персидской войны. Выросло целое поколение, которое знало и чувствовало новыми налогами и рекрутскими наборами, что Русь все воюет — с турками, со шведами, с персами, даже сама с собой, с астраханцами, казаками. Наконец, она ни с кем не воюет. С Ништадтского мира международное положение России было довольно прочно, хотя и несколько щекотливо. Швеция, главный враг ее, долго могла только бредить об отместке; к тому же у нее не случилось и маленького Густава Адольфа, каким был Карл XII, а после его смерти восстановление власти аристократического сената сделало Швецию настоящей, анархической Польшей, по отзыву тогдашнего русского резидента в Стокгольме. Оборонительный союз со Швецией 22 февраля 1724 г. ограждал правый северный фланг европейского положения России. Вскоре, в августе 1726 г., союзом с Австрией укреплен был и левый южный фланг, после того как правительству Екатерины I не удалось продать Франции русские интересы за надоевший всему дипломатическому миру брак дочери Петра Елизаветы с французским королем или хотя бы с каким-нибудь завалявшимся французским принцем крови. Среди складывавшихся тогда двух коалиций, австро-испанской и англо-франко-прусской, международное положение России с ее преобразованными силами не внушало русским патриотам больших тревог. Сухопутная русская армия

---

<sup>1</sup> Изготавливаемой к печати IV части курса русской истории.

пользовалась полтавским почетом на Западе, и пока русский флот донашивал свои гангутские паруса, Россия считалась даже солидной морской державой. Петербург стал дипломатической столицей европейского Востока. Менее удобны были культурные отношения России к Западу. Перед старой романо-германской Европой с выработанными формами общежития, с нормами порядка, превратившегося в общественные привычки и даже в предрассудки, с громадным запасом знаний, идей и материальных сбережений, накопившихся чуть не со времен Ромула и Рема, предстала новая русская Европа с одними способностями, подававшими только надежды, с большим количеством рекрутов и вывозного сырья, но без прочных культурных запасов: общежитие держалось только бытовой косностью, покоившейся на вере в стихийную неизменность отцовского и дедовского предания; вместо порядка существовала только привычка повиноваться до первого бунта, вместо знания одна любознательность, только что пробудившаяся; все юридическое сознание заключалось лишь в смутном чувстве потребности права, все богатство — в способности к терпеливой работе. И эти столь несоизмеримые исторические величины, как Россия и Западная Европа, стали не только соседками, но и соперницами, вошли в разнообразные прямые соприкосновения и даже вступали в столкновения; по крайней мере одна вовсе не расположена была щадить другую, а другая силилась не отстать от первой из страха стать ее жертвой. В этом интерес первой встречи глаз на глаз западной и восточной Европы. Здесь прежде всего важно уяснить себе, что мы наблюдаем: отношение ли двух культур, передовой и отсталой, которые будут вечно разделены раз установившимся расстоянием, или только встречу разных исторических возрастов со случайным и временным культурным неравенством. Для этого попытаемся представить себе русское общество, сколько это возможно, в минуту смерти Петра, настроение его низа и верха, отношение того и другого к реформе.

---

Очевидцы, свои и чужие, описывают проявления скорби, даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве в соборе и по всем церквам, по донесению высокочинного наблюдателя, за панихидой «такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слышал». Конечно, здесь была

своя доля стереотипных, церемониальных слез: так хоронили любого из московских царей. Но понятна и непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами в войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, а вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился тревожный вопрос, что-то будет дальше. Под собой, в народной массе реформа имела ненадежную, зыбкую почву.

Во все продолжение преобразовательной работы Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность: ни происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно понятны. Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2) представлялась народу непонятной ломкой вековых обычаев, старинного уклада русской жизни, освященных временем народных привычек и верований. Этими двумя сторонами реформа и возбудила к себе несочувственное и подозрительное отношение народной массы. Своеобразную окраску сообщали этому отношению два впечатления, вынесенные народом из событий XVII века. Тогда народ в Московском государстве видел очень много странных вещей: сначала перед ним прошел ряд самозванцев, незаконных правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под настоящую привычную власть; потом перед глазами народа потянулся ряд законных правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести немца в государство, антихриста в Церковь. Под влиянием этих двух впечатлений и складывалось народное отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре, в которых всего резче выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты: одна легенда гласила, что Петр — самозванец, а другая, что он — антихрист. Когда стали обнаруживаться признаки глухого и упорного противодействия реформе со стороны народа, Петр для подавления его учредил тайную полицию, Преображенский приказ, названный так по имени подмосковного села, где впервые возникло это учреждение. От этого приказа до нас дошло немало любопытных дел, которые служат

материалом для изучения народного настроения при Петре. Эти канцелярские бумаги наглядно представляют нам возникновение и развитие обеих легенд. Та и другая имела свою историю, прошла известный ряд моментов в своем поэтическом движении, представляя притом редкий вид народного творчества, пропущенного сквозь фильтр тайной полиции. Первоначальную мысль, основной мотив легенды о самозванстве Петра подсказали те наблюдения, которые поразили народ с самого начала царствования Петра. Петр прежде всего дал народу почувствовать свою деятельность новыми государственными тягостями. Государственные тяготы не были новостью для народа: их больно чувствовали и в XVII веке; но тогда за них винули не самого царя, а его правительственные орудия. Царь сидел где-то далеко и высоко над народом, редко являлся перед ним и был окружен в народном представлении ослепительным ореолом неземного величия. Все, что делалось непопулярного в государстве, приписывалось тому средостению, какое отделяло царя от простых подданных, т. е. боярскому и приказному правительству. Петр впервые спустился с облачной высоты, на которой скрывались его предшественники, вошел в непосредственное соприкосновение с народом, стал перед ним, каким был, перестал быть для народа политическим мифом, каким представлялись ему прежние цари. Народный ропот теперь и направился прямо против царя. Петр явился перед народом простым человеком, совсем земным царем. Но какой это был странный царь! Он предстал перед народом с таким непривычным обликом, с такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах, работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем непохожего на прежних благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос: да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя. Вопрос вызвал усиленную работу народного ума, точнее, народной фантазии. Бумаги Преображенского приказа дают возможность проследить все фазы народного воображения, развившего легенду из указанного зерна. Народные жалобы растили это зерно, питали фантазию. Прежде всего народная мысль остановилась на самом вопросе. Пошли народные толки, подслушанные полицией. Крестьяне жаловались: как Бог его нам на царство наслал, так мы и светлых дней не видали; тягота на мире, рубли на полтины да подводы; отдыха нашей братье крестьянству нет. Сын бояр-

ский, подслушавший этот ропот, вторил крестьянину своими сословными горями: какой он царь! всю нашу братию на службу выволок, а людей наших и крестьян в рекруты побрал; никуда от него не уйдешь, все на плотах распропали (на морских постройках); и как это его не убьют? как бы убили его, так бы и служба миновалась, и черни стало бы легче. Солдатские жены развивали свою особую консервативную публицистику: какой он царь! мужей наших в солдаты побрал, всех крестьян с дворами разорил, а нас с детьми осиротил и век плакать заставил. — Какой он царь! подхватывал холоп: он враг, оморок мирской; однако сколько ему по Москве ни скакать, а быть ему без головы. «Мироед! — вопияли другие: весь мир переел, все переводит добрые головы; только на него, кутилку, переводу нет». Этому хорошему всесловному протесту сам Петр помог перейти от вопроса о его загадочной личности к ответу, поддержал полет народной фантазии. Царь вел странный образ жизни и делал странные дела: переказнил стрельцов, сестру и жену запер в монастырь, сам все возился и пьянствовал в Преображенском с иноземцами, после нарвского поражения колокола стал снимать с церковей и переливать в пушки. Монах грозил: все-де это даром не пройдет, не добром кончится все это. Отсюда и извлекли ответ на поставленный вопрос. Прежде всего поспешили догадаться, что царя немцы испортили; нервность и вспыльчивость Петра поддерживали догадку. «Немцы обошли его: час добрый найдет — все хорошо, а в иной час так и рвет и мечет: вот уж и на Бога наступил, с церковей колокола снимает». Притом заговорило раздраженное национальное чувство под гнетом непрекращавшегося наплыва и влияния иноземцев. Но все это еще не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос: казалось невероятным, каким образом мог явиться на Руси такой царь, хоть и порченый, который не дорожит народными обычаями и верованиями. Тут наступает вторая фаза в развитии легенды. На вопрос является ответ тоже в виде вопроса: да русский ли он? Он сын немки, говорили одни. — Да Лаферта, подсказывали другие. Так и додумались до сказания о самозванстве Петра: царица родила девочку, которую подменили немчонком. Однажды полиция подслушала на портомойне в Москве такую политическую беседу: крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли: какой он царь! родился от немки беззаконной; он подменный, подкидыш; как царица Наталья Кирилловна отходила сего света, и в то число она говорила ему: ты-де не сын мой, ты подмененный; вот велит носить немецкое платье — знатно, что от немки родился. От

этого соображения и отправляется легенда в своем дальнейшем развитии, по-своему связывая явления времени. Поездка Петра за границу указала ей направление и облегчила движение. Петр начал заводить новшества, бороды брить, платье немецкое вводить, царицу свою Авдотью Федоровну отставил, немку Монсову взял, проклятый табак курить велел,— все по возвращении из чужих краев. Эта поездка к нехристям и послужила путеводной нитью для народной фантазии. Вероятно, до русского общества дошли слухи, что шведский король Карл XII, покидая в 1700 г. Швецию для борьбы с Петром и его союзниками, оставил дома сестру свою Ульрику Элеонору, которая впоследствии по смерти брата стала его преемницей. Слыхали также, что в Риге шведское начальство в 1697 г. наделало Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления. Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целое сказание. Петр поехал за границу — это так; да Петр ли воротился из-за границы? В ответ на этот вопрос уже к 1704 г. сложилась такая сказка. Как государь с ближними людьми был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в Стекольное царство (Стокгольм), а то Стекольное царство в немецкой земле держит девица, и та девица над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду, да сняв его с тое сковороды, велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, стали ей говорить ее князья и бояре: «Пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя». Она им сказала: «Подите посмотрите, коли он еще жив валяется, я его для вас выпущу». Те, посмотрев, сказали ей: «Томен, государыня». — «Ну, коли томен, так вы его выньте». И они его, вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они, перекрестясь, сделали бочку, набили в ней гвоздья да в тое бочку хотели его, государя, положить. Уведаль про то стрелец и, прибежав к государю, сказал: «Царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится». И он, государь, встал и вышел, а стрелец лег на его место. Пришли бояре да того стрельца, с постели схватя, положили в тое бочку и бросили в море. Легенда в первое время не договаривала до конца, не знала, что стало дальше с государем. Но потом к сказанию прицепили и конец, стали говорить в народе: это не наш государь, это немчин; наш государь в немцах в бочку закован да в море пущен. Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась: Петра считали погибшим при жизни и воскресили по смерти. Новая редакция гласила, что царствовавший государь был немчин, а настоящий царь освободился из немецкого плена, именно



освободил его обманом русский купец, бывший в Стекольном царстве. Рассказчик добавлял: «И как это государь до сей поры не объявится в своем государстве?»

Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о новых налогах и службах. Другая легенда о Петре-антихристе возникла или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась народу прямым продолжением того непонятого и бесцельного посягательства со стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось при царе Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому подобные новшества затрагивали религиозные воззрения древнерусского общества. В конце 1699 г. последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак: изменен был русский православный календарь, велено вести летоисчисление от Рождества Христова, а не от сотворения мира, и новый год праздновать не 1 сентября, по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо вторгалось в церковный порядок. Люди, и без того встревоженные латинобоязнью никоновского времени, теперь еще сильнее встрепенулись на защиту старой веры. В полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703 г. один нижегородец, простой посадский человек Андрей Иванов пришел в Москву с изветом, т. е. с доносом — на кого бы вы думали — на самого государя, что-де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть: во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит ростовский, в воскресный день, идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми бородачами, которые спросили его, как им быть: велено брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды обреют. «А что отрастет, отсеченная ли голова или сбритая борода?» — переспросил владыка. В дом к митрополиту сошло много лучших горожан, и начался диспут о бороде, об опасности брадобрития для душевного спасения, ибо сбрить бороду — значит потерять образ и подобие Божие. Ученому владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии Божиим в человеке. Вопрос о брадобритии разгорелся до народной агитации: в разных городах разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду. Люди

более серьезного образа мыслей не могли довольствоваться распространявшимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками вроде брадобрития или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души. Эти толки, обращаясь на их виновника, и породили легенду о царе-антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже 1700 года. Некто Талицкий, книгописец, значит, человек сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о последнем времени и о пришествии в мир антихриста в лице государя. Тамбовский архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин кн. Хованский плакался Талицкому на самого себя, что был ему послан мучения венец, да он его потерял, согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на олонецком и заонежском севере, в краю, наиболее тронутым расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексее. Уже к концу XVII в. эти беглецы в своем фанатизме выработали в борьбе с еретической церковью и антихристовым государством страшную форму вольного страдания за благочестие, самосожжение массами. По одному идущему от того времени староверческому сочинению насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675—1691 гг. На глухом поморском севере, наполненном лесами, все известия, приходившие из центральной Руси, отражались в искривленном виде: напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки. В одном погосте Олонецкого уезда раз священник и дьячок, вышедши из церкви после литургии, разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал: «Вот ныне велят летопись (летоисчисление) вести от Рождества Христова и платье носить венгерское». Священник прибавил: «И я слышал в волости, что у Великого поста неделя будет убавлена, а после Фоминой учнут в середи и пятки весь год молоко есть». Имея в виду последнее средство спасения поморцев, самосожжение, дьячок сказал: «Как пришлют эти указы к нам в погост и будут люди по лесам жить и гореть, и я пойду с ними в леса жить и гореть». Священник прибавил: «Возьми и меня с собой; знать, житье ныне к концу приходит». Дело относится к 1704 г. В том же году ладожский стрелец, воз-

вращаясь домой из Новгорода, повстречался с неведомым старцем, который завел с ним такую беседу: «Ныне службы частые; какое ныне христианство! ныне вера все по-новому; вот у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Когда зашла речь про государя, старец продолжал: «Какой он нам, христианам, государь! он не государь, а латыш, поста не соблюдает; он льстец (обманщик), антихрист, рожден от нечистой девицы; что он головой запрометывает и ногой запинаятся, и то, знамо, его нечистый дух ломает; он и стрельцов переказнил за то, что они его еретичество знали, а стрельцы прямые христиане были, не бусурмане: вот солдаты — так те все бусурмане, поста не соблюдают; ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят да в кудрях (париках) и бороду бреют». Стрелец по долгу службы заступился за государя и заметил, что Петр — царь, от царского племени. Но старец возразил: «У него мать нешто царица? она еретица была, все девок родила». Старец был поморский подвижник древнего благочестия, спасавшийся в лесах. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал: «Я из Заонежья, из лесов; ко мне летом и дороги нет, а есть только зимой, и то на лыжах». В этом рассказе живо вскрывается настроение умов в северном Поморье. В 1708 г. ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде, Курской губ. Два священника разговорились, и один сказал: «Бог знает, что у нас в царстве стало: вся наша Украина от податей пропала; такие подати стали — уму непостижные, а вот теперь и до нашей братии священников дошло, начали брать с бань, с изб, с пчел, чего отцы и прадеды не слыхивали; никак, в нашем царстве государя нет?» Этот священник в церковном молитвословии вычитал сведение, что антихрист родится от недоброй связи, от жены скверной и девицы мнимой, от колена Данова. Он и задумался над тем, что это за колено Даново и где это родится антихрист, уж не на Руси ли. Однажды пришел к нему отставной прапорщик Белгородского полка Аника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным промыслом, учивший ребят грамоте. Священник и сообщил ему свое недоумение насчет антихриста: «В миру у нас ныне тяжело стало, а в книгах писано, что скоро родится антихрист от племени Данова». Аника Акимыч подумал и ответил: «Антихрист уже есть; у нас в царстве не государь царствует, а антихрист; знай себе: Даново племя — это царское племя, а ведь государь родился не от первой жены, от второй; так и стало, что он родился от недоброй связи, потому что законная жена бывает только первая». Так и пошло сказание о царе-антихристе.

Оба эти сказания, разумеется, ставили народ в самое неблагоприятное отношение к реформе и много вредили ее успеху. Народное внимание было обращено не на те образовательные интересы, которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противоцерковные и противонародные замыслы, какие чудились суеверной мысли в его деятельности. При таком отуманенном настроении реформа представлялась народу чем-то чрезвычайно тяжелым, темным. Немногие в народе, видевшие царя на работе, могли оказать лишь слабое противодействие темным толкам и пересудам. До нас дошли и такие сказания, которые показывают, какое чарующее впечатление преобразователь мог производить на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин Олонецкого края, передавая сказания о Петре, о том, как он бывал на севере, как он работал, заключил свой рассказ словами: вот царь, так царь! даром хлеба не ел, пуще мужика работал. Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде. В представлении масс его образ постепенно разросся в чудовищные формы. Вскоре по смерти Петра стрельцы-раскольники рассказывали: когда государь преставлялся, он сам про себя говорил: еще бы мне жить было, да мир меня проклял. О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.

Высшие классы общества, стоявшие ближе к преобразователю, были глубже захвачены реформой и могли лучше понять ее смысл. Реформа давала им много побуждений усердно содействовать стремлениям Петра. Многообразными нитями эти классы успели связаться с западноевропейским миром, откуда шли преобразовательные возбуждения. Правительство, комплектуемое из этой среды, волей-неволей должно было поддерживать созданное Петром влиятельное положение России в Европе, а для успеха дипломатических сношений не ослаблять и культурных связей с нею. В ту же сторону тянули и перемены в социальном и племенном составе этих классов. В правительственном кругу при Петре удержались скудные остатки старой московской знати: несколько князей Голицыных да Долгоруких, кн. Репнин, кн. Щербатов, Шереметев, Головин, Бутурлин — вот почти и все представители родословного боярства, ставшие видными дельцами при Петре. Ядро правительственного класса, слагавшегося в XVII в., образовалось из высшего столичного дворянства, из царедворцев, как

его звали при Петре, Пушкиных, Толстых, Бестужевых, Волынских, Кондыревых, Плещеевых, Новосильцевых, Воейковых и мн. др. Сюда шел непрерывный приток из провинциального дворянства, к которому, например, принадлежали Ордин-Нащокин при царе Алексее, Неплюев при Петре, даже из «убогого шляхетства» и из слоев «ниже шляхетства», каковы были Нарышкины, Лопухины, Меншиков, Зотов, наконец прямо из холопства, Курбатов, Ершов и другие прибыльщики. В 1722 г. именитый купец Строганов был пожалован в бароны. Вторжение этих новиков в чиновные ряды, не содействуя единодушию правящего класса, разрушая его генеалогический и нравственный состав, все же вносило туда некоторое оживление, похожее на соперничество, отучало от боярской спеси и стольничьей рутины. Рядом с выслужившимися доморощенными новиками становилось и получало важное значение множество чужаков, инородцев и иноземцев: барон Шафиров, сын пленного и крестившегося еврея, служившего во дворе боярина Хитрова, а потом бывшего сидельцем в лавке московского купца, Ягужинский, как рассказывали, сын выехавшего из Литвы органиста лютеранской церкви, в детстве пасший свиней, петербургский генерал-полицеймейстер Девьер, юнгой приехавший на португальском корабле в Голландию и там замеченный Петром, барон Остерман, сын вестфальского пастора, граф Брюс, генерал Генинг, устроитель горных заводов, инженер Миних, а потом потянутся в русскую знать родственники Екатерины I, с трудом разысканные по литовским деревням крестьяне, осыпанные в Петербурге титулами, чинами и богатствами, различные Скавронские, Ефимовские, Гендриковы. Многие из этих пришельцев были люди образованные и заслуженные, как Брюс, Шафиров, Остерман, и не были расположены порывать связей своего нового отечества с западноевропейским миром, а своим образованием и заслугами коллоли глаза невежественному и дармоедному большинству русской знати.

Наконец, и начатки образования кое-как привязывали высшие классы русского общества к тому же миру. При Петре, в первую половину царствования, когда еще было очень мало школ, главным путем к образованию служила заграничная посылка русских дворян массами для обучения. Некоторые, добровольно или по указу странствовавшие по Европе, уже будучи семейными людьми, в летах, записали свои заграничные наблюдения, показывающие, как труден и малоплоден был этот образовательный путь. Неподготовленные и равнодушные, с широко раскрытыми глазами и ртами смотрели они на

нравы, порядки и обстановку европейского общежития, не различая див культуры от фокусов и пустяков, не отлагая в своем уме от непривычных впечатлений никаких помыслов. Один, например, важный московский князь, оставшийся неизвестным, подробно описывает свой амстердамский ужин в каком-то доме, с раздетой дочиста женской прислугой, а увидев храм св. Петра в Риме, не придумал ничего лучшего для его изучения, как вымерить шагами его длину и ширину, а внутри описать обои, которыми были увешаны стены храма. Кн. Б. Куракин, человек бывалый в Европе, учившийся в Венеции, попав в 1705 г. в Голландию, так описывает памятник Эразму в Роттердаме: «Сделан мужик вылитой медной с книгою на знак тому, который был человек гораздо ученый и часто людей учил, и тому на знак то сделано». В Лейдене он посетил анатомический театр проф. Бидлоо, которого называет Быдлом, видел, как профессор «разнимал» труп и «оказывал» студентам его части, осматривал богатейшую коллекцию препаратов, бальзамированных и «в спиртусах». Вся эта работа научной мысли над познанием жизни посредством изучения смерти привела русского наблюдателя к совету всем, кому случится быть в Голландии, непременно посмотреть лейденские «кориунзиты», что-де доставит «многое увеселение». Несмотря на отсутствие подготовки, Петр возлагал на учебные посылки за границу широкие надежды, думая, что посланные вывезут оттуда столько же полезных знаний, сколько он сам набрал их в первую поездку. Он, по-видимому, действительно хотел обязать свое дворянство обучаться морской службе, видя в ней главную и самую надежную основу своего государства, как казалось людям, имевшим сношения с русским посольством в Голландии в 1697 г. С этого года он гнал за границу десятки знатной молодежи обучаться навигацким наукам. Но именно море возбуждало наибольшее отвращение в русском дворянине, и он из-за границы плакался своим, прося назначить его хотя бы последним рядовым солдатом или в какую-нибудь «науку сухопутскую», только не в навигацкую. Впрочем, с течением времени программа заграничной выучки была расширена. Из записок Неплюева, не в пример соотечественникам умно использовавшего свою заграничную учебную командировку (в 1716—1720 гг.), видим, чему обучались тогда русские за границей и как усваивали тамошнюю науку. Партии таких учеников, все из дворян, были рассеяны по важнейшим городам Европы, в Венеции, Флоренции, Тулоне, Марсели, Кадиксе, Париже, Амстердаме, Лондоне, учились в тамошних академиях живописному искусству, экипажеству, механике, навига-

ции, инженерству, артиллерии, рисованию мачтапов, как корабли строятся, боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить и всяким ремеслам, медному, столярному и судовым строениям, бегали от науки на Афонскую гору, посещали «редуты», игорные дома, где дрались и убивали один другого, богатые хорошо выучивались пить и тратить деньги, а бедные, неаккуратно получая скудное жалованье, едва не умирали с голоду, должны были с опасностью попасть в тюрьму и вообще все плохо поддерживали приобретенную было в Европе репутацию «добрых кавалеров». По возвращении домой с этих проводников культуры легко свивались иноземные обычаи и научные впечатления, как налет дорожной пыли, и домой привозилась удивлявшая иностранцев смесь заграничных пороков с дурными родными привычками, которая, по замечанию одного иноземного наблюдателя, вела только к духовной и телесной испорченности и с трудом давала место действительной добродетели, истинному страху Божию. Однако кое-что и прилипало. Петр хотел сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники. Скоро оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном корабля, да и приобретенные познания не всегда находили приложение дома: Меншиков в Саардаме вместе с Петром лазил по реям, учился делать мачты, а в отечестве был самым сухопутным генерал-губернатором. Но пребывание за границей не проходило бесследно: обязательное обучение не давало значительного запаса научных познаний, но все-таки приучало дворянина к процессу выучки и возбуждало некоторый аппетит к знанию: дворянин все же обучался чему-нибудь, хотя бы и не тому, за чем его посылали.

Петр заботился завести и домашние образовательные средства. Для этого надобно было прежде всего вывести русского человека из его национального одиночества, продвинуть его кругозор за пределы его отечества. Средствами для этого Петр почитал газету и театр. По его указу с января 1703 г. стало выходить в Москве периодическое издание *Ведомости*. Через 2—3 дня, иногда позднее, по приходе заграничной почты выходил номер Ведомостей в один или несколько листов размером в осьмушку, напечатанный подслеповатым церковным шрифтом и излагавший «грамотки», корреспонденции привезенных иностранных газет из разных городов Европы. Русские известия велено было доставлять из приказов на Печатный двор (на Никольской), где печаталась газета. В № 1,

который правлен самим царем, было сообщено между прочим, что «повелением Его Величества московские школы (академия) умножаются и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили, в математической штурманской (навигационной) школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют»; в Москве ноября с 24 по 24 декабря (1702 г.) родилось мужеска и женска полу 386 человек, а «из Олонца пишут», что тамошний поп Иван Окулов набрал с 1 000 человек охотников, перешел шведский рубеж, побил 50 чел. шведской конницы да 400 пехоты, сжег до 1 000 дворов и добычу отдал своим «солдатам», а «из попова войска» только ранено 2 солдата. Не только иностранные, но иногда и русские известия доходили до читателей московской газеты из иностранных источников в буквальном извлечении, без подкраски и без опасения административного взыскания. Так, в Ниенштанца на Неве за 7 месяцев до основания там Петербурга в № 1 было напечатано шведское известие: «Мы здесь живем в бедном постановлении, понеже Москва в здешней земле зело недобро поступает», обыватели от страха бегут в Выборг, захватив из имущества, что получше. В 1703 г. вышло 39 номеров газеты.

Царь Алексей пытался устроить придворный театр в Москве с помощью выписной иноземной труппы (л. LIII). Не решаясь сказать, сколь сильное действие оказала эта попытка на художественный вкус избранного общества, приезд ко двору имевшего. Но в Москве были и свои питомники сценического вкуса, способные служить национальной опорой этому завозному развлечению. Кн. Б. Куракин пишет, что у знатных людей его времени дворовые их холопы на святках играли «всякие истории смешные». В московской академии ставились мистерии; играли их «государственные младенцы», как прозывались в афишах студенты академии, вызывавшиеся или командированные на роли в этих спектаклях; прозвище объясняется присутствием сыновей московской служилой знати в тогдашнем составе академического студенчества. В тревожные первые годы шведской войны, едва оправившись от Нарвы, Петр хлопотал об устройстве публичного театра в Москве. В 1702 г. выписана была за 5 тыс. ефимков в год, тысяч за 20 руб. на нынешние деньги, странствующая немецкая труппа актеров под управлением некоего Куншта, актера и драматурга; в состав труппы входили и немецкие «студиозусы». На Красной площади построили для публики, для «охотных смотрельщиков», общедоступный театр, «комедиальную хоромину» или «комедиальный анбар», где два раза в неделю давались представления. Переводчики Посольского приказа



переводили на русский язык пьесы Кунштова репертуара, в числе которых на московской сцене шли *Сципий Африканский*, комедия о *Дон-Педре и Дон-Яне (Дон-Жуан)*, о *Баязете и Тамерлане* и даже *Доктор принужденный* Мольера. В пьесы вводился и музыкальный элемент комический в лице неизбежного Гансвурста, балаганного шута, героя немецкой народной сцены, имя которого московские приказные переводчики передали словами *Заячье сало*. Верный правилу не просто пользоваться иноземными мастерами, но и водворять в России их мастерства, Петр обязал Куншта обучать русских «комедиантским наукам с добрым радением и со всяким откровением», для чего наряженные в это мастерство подьячие из разных приказов должны были ходить в Немецкую слободу, где жил Куншт.

Одним из самых сильных впечатлений, вынесенных Петром из первой заграничной поездки, если не сильнейшим, кажется, было чувство удивления: как там много учатся и как споро работают и работают так именно потому, что много учатся! Под этим впечатлением у него, по-видимому, складывался план завести в России нечто похожее на университет или политехникум. Вскоре по возвращении в беседе с патриархом он выразил недовольство московской академией, где мало кто учится и нет надлежащего надзора. Он хотел иметь школу, из которой бы «во всякие потребности люди происходили, в церковную службу и в гражданскую, воинствовать, знати строение и докторское врачевское искусство» и которая избавила бы отцов, желающих обучать своих детей «свободным наукам», от необходимости обращаться для этого к иноземцам. Но по недостатку средств и подготовки широко задуманный план высшего учебного заведения разбился на мелкие элементарные или технические училища. На такие школы Петр и обратил свои народнообразовательные заботы в первые годы XVIII в., еще не успев уяснить себе всех размеров предстоявшей ему преобразовательной работы и только ограничиваясь текущими неотложными делами военными и финансовыми. Вместе с разрешением свободного выезда «в европейские государства для науки», с открытием публичного театра и изданием первой газеты кн. Куракин в своей летописной автобиографии отмечает заведение математических школ и «других наук и артей (ремесел), как шляпы делать, сукна, кожи на лосиную стать, штукаторные фигуры из гипса, архитектурую палаты строить». Но, разумеется, впереди всех народнообразовательных потребностей шли нужды армии и флота. В 1698 г. Петр договорился в Англии на русскую службу профессора эбердинского уни-

верситета Фарварсона, который стал преподавать в открытой в 1701 г. на Сухаревой башне в Москве навигацкой школе для детей дворян и других чинов людей. Он был основателем математического и навигацкого обучения в России, и об нем позднее писали, что им приготовлены при Петре едва ли не все русские моряки от высших и до низших. С двумя другими англичанами он вел учение «чиновно», как следует; лишь временами, как доносил заведовавший школой Курбатов, англичане загуляют или долго просят и вообще не торопятся в своей работе, «остропонятливых» учеников, в ученье забегавших вперед, бранят, дожидались бы отстававших товарищей. Фарварсона перевели потом в морскую академию, открытую в Петербурге в 1715 г. для детей знатного дворянства «вместо посылки за границу». В 1711 г. становится известной инженерная школа в Москве с «надзирателем» подполковником фан-Строусом и преподавателем инженером полковником Лямкиным, а в Петербурге возникает артиллерийская школа. Если при этом вспомнить московскую славяно-греко-латинскую академию с ее богословской программой, рассчитанной на образовательные нужды духовенства, то получим два высших учебных заведения с предполагаемым сословным составом и три специальные по званиям школы, итого получим пять фальшивых представлений. К этим школам не идут ни их официальные звания, ни наши социальные и учебные классификации. Все они были школы всесословные и довольно элементарные, только венчавшие свои программы какими-нибудь специальностями. В московской навигацкой школе рядом с князьями сидели дети дворовых людей. Учеников набирали отовсюду, как охотников в тогдашние полки, лишь бы укомплектовать заведение. В московскую инженерную школу на вербовали 23 ученика. Петр потребовал довести комплект до 100 и даже до 150 человек, только с условием, чтобы две трети было из дворянских детей. Учебное начальство не смогло исполнить предписания; новый сердитый указ — набрать недостающих 77 учеников из всяких чинов людей, а из царедворцевых детей, из столичного дворянства, за кем не меньше 50 крестьянских дворов, — принудительно. Еще явственнее выступает такой характер тогдашней школы в составе и программе морской академии. В этом по плану преимущественно дворянском и специально техническом заведении из 252 учеников было только 172 из шляхетства; остальные — разночинцы. В высших классах преподавались *большая астрономия, плоская и круглая навигация*, а в низших обучались *азбукам* 25 разночинцев, *часословам* 2 из шляхетства и 25 разно-

чинцев, *псалтырям* 1 из шляхетства и 10 разночинцев, *письму* 8 разночинцев. Школьное обучение обставлено было многочисленными затруднениями. Учить и учиться и тогда уже было тяжело, хотя еще не было министерства народного просвещения, а занятый войной царь всей душой радел о школе. Недоставало необходимых учебных пособий, или они были очень дороги. Казенная типография, Печатный двор в Москве, издававший учебники, в 1711 г. купил у собственного справщика, корректора, иеродиакона Германа понадобившийся «для школьных дел» италийский лексикон за 17 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> руб. на наши деньги. Инженерная школа в 1714 г. потребовала у Печатного двора 30 геометрий и 83 книги *синусов*. Печатный двор отпустил геометрии по 8 р. экземпляр на наши деньги, а о синусах отписал, что их у него совсем нет. Нелегко представить себе язык, на каком преподавали выписные иноземные учителя русским ученикам, едва начинавшим знакомиться с иноземными языками. Ко всему этому надобно прибавить еще педагогические приемы. Директор морской академии, француз барон С.-Илер, человек несведущий в науках, по отзыву главного начальника академии гр. Матвеева, своим обращением с академистами довел одного из них до подачи жалобы самому царю на то, что директор бил его по щекам и палкой при всей школе. В учебном ведомстве создавалась атмосфера, чуждая и даже враждебная науке. Я решаюсь нарушить педагогическое правило не повергать слушателей в уныние, знакомя вас с некоторыми чертами инструкции морской академии, утвержденной Петром в 1715 г. Морская гвардия, как называются воспитанники академии, ежедневно ранним утром собирается в зале для молитвы, прося Господа Бога о потребной милости и о здравии его царского величества и о благополучии его оружия, *под наказанием*. Затем каждый должен сесть на свое место «без всякой конфузии, не досадя друг другу, *под наказанием*». Ученики должны слушать, чему их будут учить профессора, «и к оним надлежащее почтение имеет, *под наказанием*». Профессора должны обучать морскую гвардию «со всяким прилежанием и лучшим вразумительным образом, *под наказанием*». Профессора не должны ничего брать со своих учеников «прямым ниже посторонним образом», под опасением возврата взятого вчетверо, а в случае повторения «онаго прегрешения — *под телесным наказанием*». Школа, превращавшая воспитание юношества в дрессировку зверей, могла только отталкивать от себя и помогла выработать среди своих питомцев форму борьбы с собой — побег, примитивное, еще не усовершенствованное средство борьбы школяров со своей школой. Школьные побеги

вместе с рекрутскими стали хроническими недугами русского народного просвещения и русской государственной обороны. Это школьное дезертирство, тогдашняя форма учебной забастовки, станет для нас вполне понятным явлением, не переставая быть печальным, если к трудно вообразимому языку, на каком преподавали выписные иноземные учителя, к неуклюжим и притом трудно добываемым учебникам, к приемам тогдашней педагогики, вовсе не желавшей нравиться учащимся, прибавим взгляд правительства на школьное ученье не как на нравственную потребность общества, а как на натуральную повинность молодежи, подготовлявшую ее к обязательной службе. Когда школа рассматривалась, как преддверие казармы или канцелярии, то и молодежь приучалась смотреть на школу, как на тюрьму или каторгу, с которой бежать всегда приятно. В 1722 г. сенат опубликовал во всенародное сведение высочайший указ с торжественностью, подобающей разве только манифестам о созыве Государственной Думы. Этот указ Его Величества Императора и Самодержца Всероссийского объявлял всенародно, что из московской навигацкой школы, зависевшей от петербургской морской академии, бежало 127 школьников, отчего произошла утрата денежной суммы академической, потому что оные школьники — стипендиаты, «жив многие лета и забрав жалованье, бежали». Указ деликатно приглашал беглецов явиться в школу в указанные сроки под угрозой штрафа для шляхетских детей и более чувствительного «наказания» для нижних чинов. К указу приложен был и список беглецов, как персон, заслуживающих внимания всей империи, которая оповещалась, что из шляхетства бежали кн. А. Вяземский, П. Аксаков еще с 31 товарищем; остальные были дети рейтаров, гвардейских солдат, значит, в большинстве тоже дворяне, 16 разночинцев и 12 человек из боярских холопов, что указывает на всесословный состав тогдашней школы.

Так туманно занималась заря русского школьного просвещения. Своеобразным эпизодом в ходе этого просвещения является школа Глюка. Саксонец родом, энтузиастический педагог и миссионер, получивший хорошее филологическое и богословское образование в немецких университетах, он пастором отправился в Лифляндию, в городок Мариенбург, выучился по-латышски и по-русски, чтобы перевести Библию прямо с еврейского и греческого текста для местных латышей, а для русских, живших в восточной Лифляндии, с мало-понятного им славянского на простой русский язык, хлопотал о заведении латышских и русских школ и для последних

переводил на русский язык учебники. В 1702 г. при взятии Мариенбурга русскими войсками он попал в плен и был препровожден в Москву. Тогдашнее московское ведомство иностранных дел нуждалось в толмачах и переводчиках и добывало их всякими путями, приглашало на свою службу иноземцев или поручало им обучать русских иноземным языкам. Так в 1701 г. директор школы в Немецкой слободе Швиммер был приглашен Посольским приказом на должность переводчика, и ему поручено было обучить языкам немецкому, французскому и латинскому 6 подьяческих сыновей, предназначенных служить переводчиками в этом приказе. И пастору Глюку, помещенному в слободе, отдано было для обучения языкам несколько учеников Швиммера. Но когда обнаружилось, что пастор может обучать не только языкам, но и «многим школьным и математическим и философским наукам на разных языках», ему в 1705 г. устроили в самой Москве целое среднее учебное заведение на Покровке, «гимназию», как она называется в актах. Петр оценил ученого пастора, в доме которого, замечу мимоходом, жила *schönes Mädchen von Marienburg*, как звали местные обыватели литовскую крестьянку, впоследствии императрицу Екатерину I. На содержание школы Глюка назначено было 3 т. р., около 25 т. на наши деньги. Глюк начал дело пышным и заманчивым воззванием к русскому юношеству, «аки мягкой и всякому изображению угодной глине», начинающееся словами: «Здравствуйте, плодовитые, да токмо подпор и тычин требующие дидивины!» В воззвании напечатана и программа школы с перечнем преподавателей, все выписных из-за границы: учредитель вызывался обучать географии, ифике, политике, латинской риторике с ораторскими упражнениями, философии картезианской, языкам французскому, немецкому, латинскому, греческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, танцевальному искусству и поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейторскому обучению лошадей. По сохранившимся и недавно изданным документам, идущим с начала 1705 г., когда школа была утверждена указом, можно составить довольно обстоятельную историю этого любопытного, хотя и недолговечного общеобразовательного заведения. Ограничусь лишь немногими чертами. По указу она предназначалась для бесплатного обучения разным языкам и «философской мудрости» детей бояр, козельничих, думных и ближних и всякого служилого и *купецкого* чина людей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке краткую географию, русскую грамматику, лютеранский катехизис, молитвенник, изложенный плохими русскими сти-

хами, и ввел в преподавание руководства к параллельному изучению языков чешского педагога XVII в. Коменского, из которых *Orbis pictus*, *Мир в лицах*, обошел чуть ли не все начальные школы Европы. По смерти Глюка в 1705 г. «ректором» школы был один из ее учителей Паус Вернер; но за его «многое неистовство и развращение», за продажу школьных учебников в свою пользу ему от школы было отказано. Глюку предоставлено было приглашать учителей из иностранцев, сколько ему понадобится. В 1706 г. их было 10; они жили в школе на казенных меблированных квартирах, образуя застольное товарищество; кормила их за особое вознаграждение вдова Глюка; сверх того они получали денежное жалованье со столовыми от 48 до 150 р. в год (384—1200 р. на наши деньги); при этом все просили прибавки. Кроме того, при школе полагались слуги и лошади. Из пышной программы Глюка преподавались на деле только языки латинский, немецкий, французский, итальянский и шведский, учитель которого преподавал «гисторию», сын Глюка готов был излагать и философию всем охотникам «феологских сладостей», если таковые найдутся, а учитель Рамбур, танцевальный мастер, вызывался преподавать «телесное благолепие и комплементы чином немецким и французским». Курс состоял из трех классов, начального, среднего и верхнего. Ученикам обещано было важное преимущество: окончившим курс «в службу неволею взятыя не будет», будут они приниматься на службу, когда пожелают, по состоянию и искусству. Школа объявлена была вольной: в нее записываются «своею охотою». Но принцип академической свободы скоро разбился о научное равнодушие: в 1706 г. в школе было только 40 учеников, а учителя находили, что можно прибавить еще 300. Тогда недоросли, дети «знатных чинов», в науке не состоящие, были оповещены указом, чтоб «они привожены были в тое школу безо всякого отбывательства и учились на своих довольствах и кормах». Но эта мера, кажется, не пополнила школы до желаемого комплекта. В первое время среди ее учеников являются кн. Барятинский, Бутурлин и др. знатных людей дети на своем содержании; но потом в школу вступают все люди с темными именами и большею частью в «кормовые ученики», на казенные стипендии в 90—300 р. на наши деньги. Вероятно, это были в большинстве дети приказных людей, учившиеся по распоряжению начальства их отцов. Состав учащихся был очень пестр: в нем встречаются дети беспоместных и безвотчинных дворян, майоров и капитанов, солдат, посадских людей, вообще люд недостаточный; один ученик, например, жил на Сретенке у диакона,

нанимал угол со своею матерью, а отец его был солдат; учеников «безжалованных», своекоштных, было меньшинство. В 1706 г. установлен был штат в 100 учеников, которым «давать жалованье определенное», увеличивая его с переходом в высший класс, «дабы охотнее учились, и в том стараться как возможно, чтоб поспешно учились». Для учеников, живших далеко от училища, учителя просили устроить общежитие, построив на школьном дворе 8 или 10 малых изб. Ученики считались своего рода корпорацией: их коллективные челобитья начальство принимало во внимание. В канцелярских бумагах немного указаний на ход преподавания в школе; но по указу о ее учреждении, записавшиеся в нее могли учиться, «каких наук кто похочет». Очевидно, и тому времени не чужда была идея предметной системы. Школа не упрочилась, не стала постоянным заведением: ученики ее постепенно расползались, переходили кто в славяно-греко-латинскую академию, кто в медицинскую школу при московском военном госпитале, устроенном в 1707 г. на р. Яузе под руководством доктора Бидлоо, племянника упомянутого лейденского профессора; иные были командированы для дальнейшей науки за границу или пристроились к московской типографии; многие из помещичьих детей самовольно разъехались по деревням, т. е. бежали, соскучившись по матерям и сестрам. В 1715 г. последние учителя, оставшиеся в школе, были переведены в Петербург, кажется, в открывавшуюся тогда морскую академию. После о школе Глюка вспоминали, как о смешной затее мариебургского пастора, бесполезность которой заметил, наконец, и Петр. Гимназия Глюка была у нас первой попыткой завести светскую общеобразовательную школу в нашем смысле слова. Мысль оказалась преждевременной: требовались не образованные люди, а переводчики Посольского приказа, и училище Глюка разменялось на школу иностранных корреспондентов, оставив по себе смутную память об «академии разных языков и кавалерских наук на лошадях и шпагах» и т. п., как охарактеризовал школу Глюка кн. Б. Куракин. После этой школы учебным заведением с общеобразовательным характером оставалась в Москве только греко-латинская академия, рассчитанная на церковные нужды, хотя еще не утратившая все-сословного состава. Брауншвейгский резидент Вебер, в 1716 г. уже не заставший школы Глюка, очень одобрительно отзывался об этой академии, где училось до 400 студентов у ученых монахов, «острых и разумных людей». Студент высшего класса, какой-то князь, сказал Веберу довольно искусную, заранее выученную латинскую речь, состоявшую из комплиментов.

Любопытно его же известие о математической школе в Москве, что преподавали в ней — русские, за исключением главного из них, англичанина, превосходно обучившего многих молодых людей. Это, очевидно, знакомый уже нам эдинбургский профессор Фарварсон. Значит, заграничные учебные посылки не были совсем безуспешны, дали возможность снабдить школу русскими преподавателями. Но успехи добывались нелегко и небезгрешно. Заграничные ученики своим поведением приводили в отчаяние приставленных к ним надзирателей; учившиеся в Англии нашалили так, что боялись воротиться в отечество. В 1723 г. последовал одобрительный указ, приглашавший шалунов безбоязненно воротиться домой, во всем их прощавший и милостиво обнадеживавший в безнаказанности, обещавший даже награды «жалованьем и домами».

Во всеобщем составе столичных школ уже мелькает мысль о всенародном образовании. Эта мысль бродила в тогдашних умах, захваченных реформой; только трудно сказать, была ли она плодом преобразовательной горячки или практически обдуманном, осуществимым планом. Посошков признавал возможным ввести обязательное обучение всех крестьянских детей даже в определенный срок, в 3—4 года: дьячки должны были обучать их грамоте, читать и писать. Мысль о начальной народной школе занимала и самого Петра. Московская математическая школа имела стать рассадником начального образования в России. В 1714 г., когда вышел указ об обязательном обучении дворянства, велено было из этой школы послать учеников во все губернии, «для науки молодых ребяток изо всяких чинов людей» в арифметических или, как они еще назывались, цифирных школах, которые повелено было завести при архиерейских домах и в знатных монастырях; учителям давать жалованья по гривне на день, 300 руб. в год на наши деньги. Дело ладилось плохо: детей в новые школы не высылали; их набирали насильно, держали в тюрьмах и за караулом; в 6 лет мало где устроились эти школы; посадские люди отпросили у сената своих детей от цифирной науки, чтобы не отвлекать их от отцовских дел; из 47 посланных в губернии учителей осмнадцать не нашли учеников и воротились назад; в рязанскую школу, открытую только в 1722 году, набрали 96 учеников, но из них 59 убежало. Вятский воевода Чаадаев, желавший открыть в своей провинции цифирную школу, встретил противодействие со стороны епархиальных властей и духовенства. Чтобы набрать учеников, он разослал по уезду солдат воеводской канцелярии, которые хватили всех годных для школы и доставляли в Вятку. Дело,



однако, не удалось. В цифирных школах обучали грамоте, письму, арифметике и части геометрии: этим ограничивалась тогдашняя программа начальной школы. К концу царствования Петра таких училищ считалось до полусотни; они заведены были во многих провинциальных городах, но не во всех губернских. Петру не удалось сделать их всенародными: в них обучались преимущественно, если не исключительно, «дьячи и подьяческие дети», значит, юношество, предназначенное для приказной службы. Вообще народное образование вводилось урывками, случайными усилиями отдельными ревнителей, подобных вятскому воеводе. Известный прибыльщик Курбатов, попав вице-губернатором в Архангельск, набрал человек с соток солдатских детей-сирот и завел школу, многих из них обучил грамоте и хотел даже учить цифири и навигации. Та же случайность господствовала и в домашнем обучении: не раз упомянутый мною кн. Куракин в 1705 г. посадил своих детей учиться грамоте немецкого языка, подыскав «мастера» за 100 руб. Обучение одному немецкому языку стоило около 800 руб. на наши деньги. В этом деле пригодились и пленные шведские офицеры: их брали с большим успехом, чем учителя правительственных школ. Образовательными средствами побивались, как милостыней, и брали все, что Бог послал.

Новый покрой платья, парики, бритые бороды, как и коллегияльные учреждения, средние и начальные школы входили частями в один общий и широкий план — образить, облицевать русских людей внутри и вовне по подобию просвещенных народов, дать их наружности, управлению, мышлению и самому общежитию склад, не отчуждающий, а сближающий с европейским миром, с которым историческая судьба связала русский народ. С этой стороны подробности, кажущиеся маловажными, получают свое значение. Заставляя дворянство обучаться техническим наукам, Петр хотел сделать его и проводником европейских светских обычаев и приличий в русское общество. С 1708 г. по его указу книги недуховного содержания стали печатать новым «гражданским» шрифтом, сближенным по начертанию букв с латинским, как старый славяно-русский церковный шрифт имел сходство с греческим. Первой напечатанной новым шрифтом книгой, понятно, вышла *Геометрия, славенски землемерие*; она печаталась с рукописи, испещренной собственноручными поправками Петра, находившего досуг для цензурных и корректурных занятий. Но стоит заметить, что второй книгой были *Приклады, как пишутся комплементы разные*, перевод с немецкого письмовника, с образцами писем на разные случаи и к разным лицам. На одной

печатной азбуке, в которой буквы нового начертания также поправлены самим Петром, он пометил: «Сими литерами печатать исторические и мануфактурные книги». Так и типографский шрифт, подобно покрою платья, становился показателем известного порядка идей и знаний, символом мирозерцания. Типография давала образцы вежливой и приличной корреспонденции; полиция издавала обязательные постановления о пристойном общежитии. Петербургский обер-полицеймейстер Девиер в 1718 г. публиковал распоряжение об *ассамблеях*, вольных собраниях, открывавшихся по вечерам в знатных домах по установленному порядку для дворян, людей высших чинов до обер-офицеров, знатных купцов и главных мастеров. Ассамблея — и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь толковали о делах, и о новостях, играли, пили, плясали. Никаких церемоний, ни встреч, ни проводов, ни потчеваний; всякий приходил, пил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению. За нарушение правил штраф — осушить *орла*, большой кубок крепкого вина с изображением государственного герба, чтобы стать предметом общего веселого смеха. В 1717 г. издана была по распоряжению или с разрешения Петра переводная книжка *Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению*. Идея книги самая заманчивая — преподать правила, как держать себя в обществе, чтобы иметь успех при дворе и в свете. Первое общее правило — не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется; не славная фамилия и не высокий род приводят к шляхетству, но благочестные поступки и добродетели, украшающие шляхтича, коих три: приветливость, смирение и учтивость. Усовершенствованный младый шляхтич, желающий прямым придворным стать, должен быть обучен наипаче языкам, конной езде, танцеванию, шпажной битве, красноглаголив и в книгах начитан, уметь добрый разговор вести, намерения своего никому не объявлять, дабы не упредил его другой, должен быть отважен, неробок: кто при дворе стыдлив бывает, тот с порожними руками от двора отходит. Таковы качества, приводящие к дворянской цели жизни, — стать лощеным светским фатом и придворным пройдохой. Книжонка пришлась по вкусу: при Петре она выдержала три издания, издавалась не раз и после. Она давала наставления, которые для молодого русского шляхтича были полезными, хотя и трудноусвояемыми откровениями: повесь голову и потупя глаза, по улице не ходить и на людей косо не заглядывать, глядеть весело и приятно с благообразным постоянством, при встрече со знакомым за три шага шляпу

снять приятным образом, а не мимо прошедши оглядываться, в сапогах не танцевать, в обществе в круг не плевать, а на сторону, в комнате или в церкви в платок, громко не сморкаться и не чихать, перстом носа не чистить, губ рукой не утирать, за столом на стол не опираться, руками по столу не колобродить, ногами не мотать, перстов не облизывать, костей не грызть, ножом зубов не чистить, головы не чесать, над пищей, как свинья, не чавкать, не проглотя куска не говорить, ибо так делают крестьяне. В заключение перечислены 20 добродетелей, долженствующих украшать благородных девиц. Особенно любезны были «младым отрокам» советы не говорить между собою по-русски, чтобы не поняла прислуга и их можно было отличить от незнающих болванов, со слугами не сообщаться, обращаться с ними недоверчиво и презрительно, всячески их смирять и унижать. Немецко-дворянское Зерцало било в самый коренной нерв настроения русского шляхетства. Петр не смотрел на сословные предрассудки и притязания, работал на пользу всего народа. После него ход дел поставил высшему русскому обществу задачу, как бы все плоды работы преобразователя повернуть в пользу одного господствующего сословия, возможно резче обособив его от других классов, не знающих болванов, наипаче от крестьян и холопов. Ничтожная немецкая книжонка стала воспитательницей общественного чувства русского дворянина.

Пройденная при Петре школа не научила людей правящего класса смотреть ясным взглядом на то дело, в котором они принимали такое деятельное участие и в понимании его сущности стояли немного выше остального общества. Этот класс чувствовал создавшиеся затруднения, когда об них удалялся, но не находил в голове руководящих идей для их устранения. Ему и неоткуда было запастись такими идеями: то были все дельцы-самоучки, подобно своему вождю, только не обремененные талантами. Они учились делу среди самого дела, на ходу, без подготовки, не привыкнув вдумываться в общий план дела и в его цели. Теперь они почувствовали себя вдвойне свободными. Реформа вместе со старым платьем сняла с них и сросшиеся с этим платьем старые обычаи, вывела их из чопорно-старого древнерусского чина жизни. Такая эмансипация была для них большим нравственным несчастьем, потому что этот чин все же несколько сдерживал их дурные наклонности; теперь они проявили беспримерную разнузданность. Потерей привычной почвы под ногами только и можно объяснить такое невероятное дело: дворовый человек Шереметева Курбатов, столько раз мною упомянутый, путе-

шествуя с барином по Италии, в 1698 г. обратился к папе с прошением, в котором, заявляя себя верным сыном католической церкви, просил снабдить его по приложенному списку книгами догматико-религиозного содержания и, обнадеживая папу в успехе католической пропаганды в России, советовал отправить туда знающих людей, обещая открыть им доступ в дома московской знати. А с другой стороны, сотрудники реформы поневоле, эти люди не были в душе ее искренними приверженцами, не столько поддерживали ее, сколько сами за нее держались, потому что она давала им выгодное положение. Петр служил своему русскому отечеству, но служить Петру еще не значило служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворцовые слуги. Он порой колотил их, порой готов был видеть в них своих сотрудников, чтобы тем ослабить в себе чувство скуки своим самодержавным одиночеством. Кн. Меншиков, герцог Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать, граф Толстой, тонкий ум, умевший всякое дело выворотить лицом на изнанку и изнанкой на лицо, граф Апраксин, добрейший адмирал, хлебосол, из дома которого трудно было уйти трезвым, барон Остерман, дипломатический оракул, который никогда в подвернувшемся случае не находил, что сказать, и потому прослыл непроницаемо-скрытным, а вынужденный высказаться, либо мгновенно заболел послушной тошнотой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя, наконец неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселе, лезший с кулаками и дерзостями на первого встречного, годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры сената — вот наиболее влиятельные лица, в руках которых очутились судьбы России в минуту смерти Петра. Они и начали дурачиться над Россией тотчас по смерти преобразователя. Через три недели после похорон, 31 марта 1725 г., Ягужинский вечером во время всеобщей влетел в Петропавловский собор и, указывая на стоявший среди церкви гроб Петра, принялся громко жаловаться на своего обидчика кн. Меншикова, а на другой день рано утром Петербург был разбужен страшным набатом: это неутешная вдова императрица подшутила над столицей — ради 1 апреля. Суровая воля преобразователя объединяла этих людей призраком какого-то общего дела. Но когда в лице Екатерины I на престоле явился фантом власти, они почувствовали себя самими собой и трезвенно взглянули на свои взаимные отношения, как и на свое

положение в управляемой стране: они возненавидели друг друга, как старые друзья, и принялись торговать Россией, как ее властители. Никакого важного дела нельзя было сделать, не дав им взятки; всем им установилась точная расценка, с условием, чтобы никто из них не знал, сколько перепало другому. По смерти Петра они не имели охоты довершать его дело в указанном им направлении, требовавшем усиленной технической работы, а среди них чем дальше, тем меньше оставалось техников и тем больше появлялось политиков, желавших не продолжать, а частично поправлять реформу по своим вкусам и в интересах класса, к которому они принадлежали. Здесь же, в этом классе, умели пользоваться законодательным недосмотром Петра, снявшего последние ограничения с крепостного права, но не желали нести положенные за то тягости и особенно негодовали на эту заграничную науку с ее понятиями и обычаями. Неплюев рассказывает, что когда он с товарищами воротился из заграничной выучки, они были не только от равных им возненавидены, но и от свойственников своих за европейский обычай, в них примененный, «насмешкой и ругательством осмеяны». Недостроенная храмина, как называл Меншиков Россию после Петра, достраивалась уже не по петровскому плану, и Феофан Прокопович взял на душу немалый грех, сказав в своей знаменитой проповеди при погребении Петра в утешение осиротевшим россиянам, будто преобразователь «дух свой оставил нам».

---

# ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

(1729—1796)

## I

Для Екатерины II наступила историческая давность. Это налагает некоторые особые обязательства на мысль, обращающуюся к обсуждению ее деятельности, устанавливает известное отношение к предмету, подсказывает точку зрения.

В ее деятельности были промахи, даже крупные ошибки, в ее жизни остаются яркие пятна. Но целое столетие легло между нами и ею. Трудно быть злопамятным на таком расстоянии, и именно при мысли о наступлении второго столетия со дня смерти Екатерины II в памяти ярче выступает то, за что ее следует помнить, чем то, чего не хотелось бы вспоминать.

Царствование Екатерины II — это целая эпоха нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыкаются в пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время Екатерины II пережило ее самое, по крайней мере после четырехлетнего перерыва было официально воскрешено манифестом второго ее преемника, объявившего, что он будет царствовать по законам и по сердцу своей бабки. Екатерину и по смерти ее восхваляли или порицали, как восхваляют или порицают живого человека, стараясь поддержать или изменить его деятельность. И Екатерины II не миновал столь обычный и печальный вид бессмертия — тревожить и ссорить людей и по смерти. Ее имя служило мишенью для полемического прицела в противников или приверженцев ее политического направления. Живые интересы и мнения боролись на ее могиле. Уронить ее бюст или удержать на пьедестале значило тогда дать то или другое направление жизни.

Столетняя давность, отделившая нас от Екатерины II, pokrывает все эти споры и вражды. Наши текущие интересы

не имеют прямой связи с екатерининским временем. Екатерина II оставила после себя учреждения, планы, идеи, нравы, при ней воспитанные, и значительные долги. Долги уплачены, и другие раны, нанесенные народному организму ее тяжелыми войнами и ее способом вести «свое маленькое хозяйство», как она любила выражаться о своих финансах, давно зарубцевались и даже закрылись рубцами более позднего происхождения. Из екатерининских учреждений одни действуют доселе в старых формах, но в духе новых потребностей и понятий, другие, как, например, местные судебные учреждения, отслужили свою службу и заменены новыми, совсем на них непохожими ни по началам, ни по устройству; наконец, третьи по своему устройству оказались неудачными уже при самой Екатерине, но их начала были сбережены для лучшей обработки дальнейшими поколениями. Такова система закрытых, оторванных от семьи воспитательных заведений Бецкого, замененная потом другим планом народного образования, над которым работала Комиссия народных училищ: гуманные идеи о воспитании, усвоенные Екатериной и Бецким, пригодились и потом, при другой системе, более близкой к современной педагогике. Из предположений или мечтаний Екатерины II одни, как например мысль об освобождении крепостных крестьян, были осуществлены после нее так, как она и не мечтала и как не сумела бы осуществить, если бы на то решилась, а другие были упразднены самою жизнью как излишние, каковой была мысль о создании *среднего рода людей* в смысле западноевропейской буржуазии. Точно так же и идеи юридические, политические и экономические, проводившиеся в указах и особенно в «Наказе» и казавшиеся в то время новыми и смелыми, или уже вошли в плоть и кровь нашего сознания и общежития или остались общими местами, пригодными украшать досужие беседы взрослых людей или служить темами для школьных упражнений. Что касается нравов, воспитанных влиятельными примерами и общим духом екатерининского времени, то они вообще признаны неудовлетворительными, хотя и пустили глубокие корни в обществе. Вопросы того времени — для нас простые факты: мы считаемся уже с их следствиями и думаем не о том, что из них выйдет, а о том, как быть с тем, что уже вышло.

Значит, счета потомства с Екатериной II сведены. Для нас она не может быть ни знаменем, ни мишенью; для нас она только предмет изучения. Сотая годовщина ее смерти располагает не судить ее жизнь, а вспомнить ее время; оглянуться на свое прошлое, а не тревожить старые могилы и среди

похвальных слов и обличительных памфлетов осторожно  
пройти к простым итогам давно окончившейся деятельности.

Нелегко поставить мысль в такое отношение к царствованию Екатерины II. Старшие из тех, кому теперь приходится вспоминать это царствование по поводу исполнившегося столетия со дня его окончания, живо помнят еще поздние отзвуки двух резких и непримиримо противоречивых суждений о нем, сложившихся еще при жизни Екатерины II и долго державшихся в обществе после нее. Одни говорили о том времени с восторженным олушевлением или с умиленным замирием сердца: блестящий ее владычества, время героев и героических дел, слава ее владычицы, время размаха русских сил, изумившего эпоха широкого, небывалого размаха русских сил, изумившего и напугавшего вселенную. Прислушиваясь к этим отзвукам, мы начинаем понимать донельзя приподнятый тон изданного шесть лет спустя по смерти Екатерины II и читанного нами в школе Карамзина, смущавшие незрелую мысль выражения его о божественной кротости и добродетели, о священном духе монархии, эти сближения с божеством, казавшиеся нам орааторскими излишествами. По мнению других, вся эта героическая эпопея была не что иное, как театральная феерия, которую за кулисы двигали славолубие, тщеславие и самолюбие; великопленные учреждения заводились для того только, чтобы прославить их основательницей, а затем оставались в пренебрежении, без надлежащего надзора и рдения об их развитии и успехе; вся политика Екатерины была системой нарядных фасадов с неопрятными задворками, следствиями которой были полная порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ослабление России. Тщеславие доводило Екатерину, от природы умную женщину, до умопомрачения, делавшего ее игрушкой в руках ловких и даже грубых льстецов, умевших пользоваться ее слабостями, и она не приказывала выталкивать из своего кабинета министра, в глаза говорившего ей, что она премудрее самого господ бога. Проникнув в нравственный характер Екатерины, которых нельзя читать без скорбного вздоха.

Оба взгляда поражают и смущают не только своей непримиримой противоположностью, но и своими особенностями. Так, вторая из них вызывает удивленное недоумение подбором своих сторонников. Наиболее резкое и цельное выражение его находим в известной записке «О повреждении нравов в России» князя Щербатова, служившего при дворе Екатерины II, историкографа и публициста, человека образованного и патри-



ота с твердыми убеждениями. Автор писал записку про себя, не для публики, незадолго до своей смерти, случившейся в 1790 г., и собрал в этом труде свои воспоминания, наблюдения и размышления о нравственной жизни высшего русского общества XVIII в., закончив нарисованную им мрачную картину словами: «...плачевное состояние, о коем токмо должно просить бога, чтоб лучшим царствованием сие зло истреблено было». Но вот что заслуживает внимания. Известный дорожный сон Радищева, рассказанный в *«Путешествии из С.-Петербурга в Москву 1790 г.»* в главе *«Спасская Полесь»*, — злая карикатура царствования Екатерины II. Здесь, особенно во второй, патетической части сна, где грезивший себя шахом, ханом или чем-то в этом роде автор, прозрев от прикосновения к его ослепленным властью и лестью глазам странницы Прямозоры, т. е. истины, видит всю бессмыслицу своих деяний, казавшихся ему божественно-премудрыми, и общий тон картины и некоторые отдельные черты живо напоминают записку князя Щербатова. Человек другого поколения и образа мыслей, ультралиберал с заграничным университетским образованием, проникнутый самыми передовыми идеями века и любивший отечество не меньше князя Щербатова, понимавший и признававший величие Петра I, сошелся во взгляде на переживаемое ими время со старым доморощенным ультраконсерватором, все сочувствия которого тяготели к допетровской старине. Что еще замечательнее, к этим «печальным часовым у двух разных дверей», как назвал князя Щербатова и Радищева один позднейший писатель, присоединяется любимый внук Екатерины, ставший потом вторым ее преемником, которого она еще в пеленках оторвала от семьи, чтобы воспитать его по своей педагогике и в своих целях: на положение дел в государстве за последние годы жизни бабушки, которые он мог наблюдать, он смотрел не светлее князя Щербатова и Радищева. «В наших делах, — писал он Кочубею за полгода до смерти Екатерины, — господствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду». «Я всякий раз страдаю, — признается он в другом месте письма, — когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша». Да и сам Карамзин в записке *«О древней и новой России»*, представленной императору Александру девятью годами позднее *«Похвального слова»*, рядом с блестящими сторонами царствования Екатерины отмечает и крупные «пятна»: порчу

нравов в палатах и хижинах, соблазнительный фаворитизм, недостаток правосудия, преобладание блеска над основательностью в учреждениях, прибавляя к этому, что в последние годы Екатерины ее больше осуждали, нежели хвалили. Если припомнить при этом еще известную заметку Пушкина о XVIII в., писанную около 1820 г. по свежим преданиям, то, и не упоминая о других, менее компетентных суждениях, современных или позднейших, можно понять характерно разнообразный состав того, что мы назвали бы противоекатерининской оппозицией.

И все же это были одинокие голоса, которые были слышны очень немногим, за исключением разве книги Радищева, раздавались шепотом, про себя или в тесном кругу и потому не могли расстраивать хорového суждения, так красноречиво выраженного в *«Похвальном слове»* Карамзина. И это суждение не совсем понятно и не столько по своему содержанию, сколько по своей возбужденности, по тому движению чувства и воображения, с которым оно высказывалось. Это был не исторический приговор, выведенный остывшей мыслью из обдуманных и проверенных воспоминаний о пережитом времени, а горячее, непосредственное впечатление еще живой действительности, долго не замиравшей и по смерти лица, которое было ее душой. Такое впечатление было небывалым явлением в нашей истории: ни одно царствование, по крайней мере в XVIII в., даже царствование Петра Великого, не оставило после себя такого энтузиастического впечатления в обществе. Карамзин, конечно, выражал последний, наиболее обобщенный результат, высшую сумму того, что восторженные современники видели в деятельности Екатерины II, когда писал в конце своего *«Похвального слова»*, что Россия в это деятельное царствование, «которого главною целью было народное просвещение, столь преобразилась, возвысилась духом, созрела умом, что отцы наши, если бы они теперь воскресли, не узнали бы ее». Все это можно было сказать и о Петре Великом, даже с прибавлением, что его главною целью было еще и народное обогащение; люди времен Алексея Михайловича также не узнали бы своей старой московской *всей Руси* в созданной его сыном Российской империи с С.-Петербургом, Кронштадтом, флотом, балтийскими провинциями, девятимиллионным бюджетом, новыми школами и т. п. Однако даже в обществе, захваченном реформой, не в простонародной массе, незаметно такого общего весело-умиленного отношения к памяти Петра, какое потом установилось к Екатерине II: слышны отдельные голоса, проникнутые набожным благоговением, да и то пополам

с жалобой на затруднения и огорчения, какие приходилось испытывать преобразователю, а скоро, и именно в царствование Екатерины II, слышались и резкие порицания его дела.

Это впечатление, независимо от своей исторической верности, от точности, с какою отражалась в нем действительность, само по себе становится любопытным историческим фактом, характерным признаком общественной психологии. Оно тем любопытнее, что царствование Екатерины II нельзя причислить к спокойным и легким временам, о которых люди вспоминают с особенным удовольствием. Напротив, это была довольно тревожная и тяжелая для народа пора. Сравнительным спокойствием Россия пользовалась в первые пять лет царствования, если не считать серьезным нарушением спокойствия крестьянских бунтов, в которых, по счету самой Екатерины, в первый год царствования участвовало до 200 тыс. крестьян и против которых снаряжались настоящие военные экспедиции с пушками. Затем семилетний приступ внешних и внутренних тревог (1768—1774 г.), начавшийся борьбою с польскими конфедератами, к которой вскоре присоединилась первая турецкая война, а внутри между тем — чума, московский бунт и пугачевщина. Современники, например, князь Щербатов, думали, что первая турецкая война обошлась России дороже какой-либо прежде бывшей войны. Из официальных источников известно, что только первые два года этой шестилетней войны стали до 25 млн. руб., что почти равнялось годовому казенному доходу тех лет. Кагульский бой был выигран 17-тысячным русским отрядом у 150-тысячной турецкой армии. Но в августе 1773 г. Екатерина говорила в Совете, что с 1767 г. в пять наборов собрано уже со всей империи для пополнения армии до 300 тыс. рекрутов. За миром в Кучук-Кайнарджи в 1774 г. следовало 12-летнее затишье во внешней политике: это было время усиленной внутренней деятельности правительства, эпоха законобесия (*législomanie*), как выражалась Екатерина, когда вводились новые губернские учреждения; учреждены были комиссия народных училищ и ссудный банк, обнародованы *Устав благочиния*, жалованные грамоты дворянству и городам, устав народных училищ 1786 г. и другие важные государственные акты. Почти повсеместным голодом 1787 г. открылся второй приступ тревог, не прекращавшийся до смерти Екатерины: вторая турецкая война, тяжелая не менее первой, и в одно время с нею война шведская, две войны с Польшей перед вторым и третьим ее разделом, персидский поход, финансовый кризис, военные приготовления к борьбе с революционной Францией. Из 34 лет царствования 17 лет

борьбы внешней или внутренней на 17 лет отдыха! Недаром преемник Екатерины в циркуляре, разосланном к европейским дворам по вступлении на престол, называл Россию «единственную в свете державой, которая находилась 40 лет в несчастном положении истощать свое народонаселение». Значит, людям, пережившим сорокалетие с 1756 г., с начала Семилетней войны, оно представлялось временем непрерывного военного напряжения.

Правда, и результаты царствования были очень внушительны. Екатерина любила подсчитывать их, все чаще оглядываясь на свою деятельность по мере ее развития. В 1781 г. граф Безбородко представил ей инвентарь ее деяний за 19 лет царствования: оказалось, что устроено губерний по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа — 123, итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции земли с населением до 7 млн. душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 млн. в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн., армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. считал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн. руб. поднялась до 69 млн., т. е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской — в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн. до 44 млн. руб., черноморской, Екатериною и созданной, — с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн. руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн. Значение финансовых успехов Екатерины ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти вшестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов. Притом Екатерина оставила более 200 млн. долга, что почти равнялось доходу последних 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> лет царствования.

Результаты царствования, как ни были они важны, могли давать себя чувствовать медленно, по мере своего обнаружения, ощутительнее младшим поколениям, воспринимавшим уже сложившееся впечатление царствования, чем старшим, в которых оно складывалось; во всяком случае эти результаты могли скорее питать, чем зародить это впечатление. Сами по себе

они могли вызвать удивление, даже благоговение, какое питали к Петру I, но не восторженное обаяние.

В памяти людей, 100 лет назад оплакивавших смерть Екатерины, прежде всего выступали из прожитой дали явления, особенно сильно поразившие в свое время их воображение и чувство: Ларга, Кагул, Чесма, Рымник и победные празднества, слезы, пролитые при чтении «Наказа», Комиссия 1767 г., торжественные собрания и речи наместников и дворянских предводителей при открытии губернских учреждений, блестящие оды, придворные маскарады, на которых в десятках дворцовых комнат толпилось 8540 масок, путешествие императрицы в Крым со встречавшими ее на пути иллюминациями на 50 верст в окружности, с волшебными дворцами и садами, в одну ночь созданными. Не одни Таврические сады, но и целые Новороссии вырастали из-под земли, целые флоты всплывали из-под неведомых черноморских волн в многие годы; «монархиня повелела, и глас ее, как лира Амфионова, творит новые грады, если не великолепием, то своею пользою украшенные» (Карамзин). Недаром екатерининская Россия некоторым иностранцам-современникам представлялась волшебною страной (*paus de féerie*). Воспоминания об этих явлениях, пережитых на протяжении 34 лет, соединяясь в быстро двигавшуюся ослепительную панораму, собирали рассеянные ощущения, ими вызванные, в цельное и сильное впечатление. Большинство тогда еще не знало закулисной механики всех этих семирамидных чудес, да если бы и знало, еще неизвестно, стало ли бы думать о них иначе: впечатление любимой пьесы не ослабляется знанием того, как, с какими усилиями и жертвами она разучивается и ставится. В записках современников Екатерины, ее переживших, останавливает на себе внимание одна черта. Они знают и трезво описывают темные стороны тогдашней правительственной деятельности и общественной жизни: небрежность и злоупотребление администрации, неподготовленность и недобросовестность судей, праздность и грубость дворянства, его нелады с крестьянами, пустоту общежития, общее невежество. Но когда они отрывались от этих вседневных печально-привычных явлений своего быта и пытались обыкновенно по поводу смерти Екатерины бросить общий взгляд на ее век, отдать себе отчет в его значении, их мысль как бы невольно, с незамечаемой ею последовательностью, переносилась в другой, высший порядок представлений, и тогда они начинали говорить о всесветной славе Екатерины, о мировой роли России, о национальном достоинстве и народной гордости, об общем подъеме русского духа, и при

этом речь их приподнималась и впадала в тон торжественных од екатерининского времени.

Они высказывали этот взгляд без доказательств, не как свое личное суждение, а как установившееся общепринятое мнение, которое некому оспаривать и не для чего доказывать. Очевидно, здесь читатель мемуаров имеет дело не с исторической критикой, а с общественной психологией, не размышлением, а с настроением. Люди судили о своем времени не по фактам окружавшей их действительности, а по своим чувствам, навеянным какими-то влияниями, шедшими поверх этой действительности. Они как будто испытали или узнали что-то такое новое, что мало подняло уровень их быта, но высоко приподняло их самосознание или самодовольство, и, довольные этим знанием и самими собой, они смотрели на свой низменный быт свысока, со снисходительным равнодушием. Их чувства и понятия стали выше их нравов и привычек; они просто выросли из своего быта, как дети вырастают из давно спиженного платья. Можно даже думать, что самый пессимизм людей, мрачно смотревших на царствование Екатерины, черпал долю своей силы в этом общем духовном подъеме, происшедшем в это же царствование, и без того не был бы столь взискателен. Если это так, то Екатерине пришлось испытать приятное и почетное неудобство, какое испытывает хороший преподаватель, который, чем успешнее преподает, тем более усиливает требовательность учеников и помогает им замечать еще не побежденные недостатки своего преподавания.

Впечатление — совместное дело обеих сторон: и источника влияния и среды, его воспринимающей. Победы и торжества, законы и учреждения, блеском которых была окружена Екатерина, конечно, должны были сильно действовать на умы. Но в этом окружении и сама власть принимала позу, в какую она не становилась прежде, являлась перед обществом с другою физиономией, с непривычными манерами, словами и идеями. Эта новая постановка власти усиливала и действие самой ее обстановки, создавала настроение, без которого все эти победы и торжества, законы и учреждения ее не произвели бы на общество такого сильного впечатления. С этой стороны впечатление царствования Екатерины — очень важный момент в истории не только нашего общественного сознания, но и государственного порядка.

Некоторые свойства характера Екатерины II и особенности ее политического воспитания имели первостепенное значение в этой новой постановке власти, как и в образовании впечатления, произведенного [ее] царствованием.

Достоин внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, и не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины: она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому «умнику», как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог шагу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной. «Там очень умны, там,— писал он про Екатерину г-же Жоффрен,— но уж очень гоняются за умом». Последнее — напраслина на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе: кто гоняется за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, *умный* ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим. Екатерина умела быть умна к стати и в меру. Она, которой со всех сторон напевали в уши о ее великом уме, так простодушно признавалась доктору Циммерману на верху своей славы, что знала весьма много людей несравненно умнее ее. У нее вообще не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильное впечатление: память, наблюдательность, догадливость, чутье положения, умение быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение, выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство — все эти мелкие пружины, из деятельности которых слагается ежедневная житейская работа ума, Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось, без заметного для зрителя усилия. Эта всегдашняя готовность к мобилизации сообщала Екатерине чрезвычайную живость без увлечения. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Странническая молодость Екатерины, ранняя привычка жить среди чужих людей много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной *самособранности*. Отсюда же ее находчивость в неожиданных затруднениях: ее трудно было застать врасплох, и при умении собираться с мыслями она быстро соображала,

чего от нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения рано развила в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью: я могу приноровляться ко всяким характерам, говорила она Храповицкому, уживусь, как Алкивиад, и в Спарте и в Афинах. Наблюдательность — на это дело больше охотников, чем мастеров. Екатерина достигла большого искусства в этом деле и выработала на то свои приемы. Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей склонности замечать чужие слабости, чтоб ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в других, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-нибудь выдающегося человека, изучала его мышление, знание, взгляды на людей и вещи. В обращении она не старалась блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику. Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней; притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот. Так вместе со знанием людей Екатерина выработала себе и лучшее средство приобретать их — внимание к человеку, умение входить в его положение и настроение, угадывать его нужды, задние мысли и невысказанные желания: вовремя дав собеседнику почувствовать, что и он сам и его слова поняты в наилучшем для него смысле, она овладевала его доверием. В этом заключалась тайна неотразимого влияния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина умела своим восхитительным обращением производить на тех, кому хотела нравиться. Привычка слушать могла даже превращаться у нее в автоматическую манеру: слушая знакомую возвышенно-скучную трескотню какого-нибудь Бецкого, она сохраняла вид внимания, думая совсем о другом. И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела, от своей горничной Марьи Саввишны Перексихиной до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать.

«Като (Cathos, как звали Екатерину в обществе Вольтера) лучше видеть издали», — писала Екатерина Гримму в 1778 г., прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынноика от непосильной для его лет поездки в С.-Петербург. Люди, близко



видавшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в славолубии, «в самолюбии до бесконечности», в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимала участие ее политическая судьба. Честолюбие и слава суть потаенные пружины, которые приводят в движение государей, сказал однажды Фридрих II русскому послу, говоря о Екатерине. Но Екатерине необходимо было пользоваться этими пружинами по расчетам безопасности. Слава была для нее средством упрочить за собой приобретенное положение. Эта необходимость, возбуждая самолюбие, удерживала от ослепленного самомнения. Екатерина знала, что самомнение, принимающее притязание за таланты,— лучшее средство стать смешным, а она больше всего боялась стать предметом смеха или сострадания, что было небезопасно в ее положении. У нее было осмотнительное, даже мнительное самолюбие, заставлявшее ее соображать замыслы и притязания со средствами оправдать их. Она признавала необходимым иметь такие оправдательные средства, но была настолько уверена в себе, что надеялась всегда найти их, когда того потребует положение. Чтобы быть чем-нибудь на этом свете, пишет она, припоминая размышления своего детства, надобно иметь нужные для того качества; заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их. При такой осмотнительности, находчивая и решительная в мелких случаях, она имела привычку колебаться перед крупными делами, взвешивать вероятности успеха и неудачи, советоваться, выведывать мнения.

В этой мнительности при постоянной заботе о мнении света, кажется, надобно искать и корни ее слабости к лести. Трудно подумать, чтобы при своей трезвой, положительной натуре, чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лезть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какое лстец имеет о своей жертве. Но, пробиваясь на простор из тесной доли, она смолоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда страшно занимал вопрос, что о ней думают, какое производит она впечатление. Одобрительные отзывы были для нее что аплодисменты для дебютанта — возбуждали и поддерживали ее силы, ее веру в себя. Достигнув власти, она видела в таких отзывах признание своих добрых намерений и сил исполнить их и считала своею обязанностью быть благодарной. Когда

уволенный от должности Державин в 1789 г. поднес Екатерине чрез секретаря ее Храповицкого вместе с прошением и свою «Фелицу», с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды:

Еще же говорят неложно,  
Что будто всегда возможно  
Тебе и правду говорить,

и сказала Храповицкому: «On peut lui trouver une place». Ее недостаток был в том, что наемное усердие клакеров она нередко принимала за выражение чувств увлеченной и благодарной публики. Но она обижалась лестью, когда подозревала в ней неискренность. Вольтер, один из самых усердных, но не самый лóвкий из ее льстецов, не раз получал от нее почтительные и нежные щелчки за неловкость, а не за усердие. Со временем панегирики вошли в состав придворного и правительственного этикета: Екатерине жужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах, директор кадетского корпуса Бецкий — на кадетских представлениях Чесменского боя, директор театра Елагин — на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Морейской экспедиции, генерал-прокурор князь Вяземский — в сенатских докладах и финансовых отчетах. Екатерина привычным слухом внимала всему этому песнопению как выражению обязательного усердия по долгу службы и присяги и, только когда певцы славы начинали уж слишком больно резать ухо фальцетом от избытка усердия, обращалась к окружающим со стыдливой оговоркой: «Il me loue tant, qu'enfin il me gête». Она любила почтительное отношение к себе, и когда император Иосиф II, в котором она видела только немощь физическую и духовную, в 1780 г. приехал к ней на поклон в Могилев, то стал и человеком очень образованным, и «головой, самой основательной, самой глубокой, самой просвещенной, какую я знаю», хотя она и подшучивала язвительно над панихидой, отслуженной им в Петербурге за упокой души Вольтера из уважения к его набожной ученице. Но, когда И. И. Шувалов, возвратясь из Италии, сообщил ей, что там художники делают ее профиль по бюстам или медалям Александра Македонского и вполне довольны получаемым сходством, она шутила над этим с видимым самодовольством. Не видать также, чтоб она сердилась на своего заграничного корреспондента Гримма, который в шутовском письме приписал ей на 52-м году жизни «наружность матери амуров». Но тому же Гримму она признавалась, что на нее благотворно действовали не

похвалы, а злословие, побуждавшее ее отомстить ему, делами доказать его лживость.

С летами, когда европейские знаменитости стали величать ее самой дивною женщиной всех времен, привычка к удаче сделала ее несколько самонадеянной и очень обидчивой. Она раздражалась не только порицанием ее действий, но и мнениями, с которыми была несогласна. Это нередко вводило ее вприсак и в противоречие с собой. Это был смелый шаг с ее стороны — во французском переводе представить вниманию французского общества свой «Наказ», наполненный выписками из книг, и без того хорошо там известных. Но французских экономистов с Тюрго во главе за то, что они осмелились разбирать «Наказ» и даже прислать ей этот разбор, она обозвала дураками, сектой, вредной для государства. Она не могла простить Рейналю его отзыва, что ей ничего не удастся, и называла его ничего не стоящим писателем. Даже свой вкус она считала обязательным для других и за это раз была наказана своим главным кухмистером Барманом. Екатерина любила архитектуру, живопись, театр, скульптуру, но музыки не понимала и откровенно признавалась, что для нее это шум и больше ничего. Веселая и смешливая, сама признававшая веселость наиболее сильной стороной своего характера, она допускала исключение только для комической оперы, и выписанный из Италии маэстро Паизиелло веселил ее на ее эрмитажном театре оперой «Le philosophe ridicule», где, по ее словам, морила ее до упаду ария, в которой положен на музыку кашель. Она заставляла посещать эту оперу даже святейший синод, который, по ее словам, «также смеялся до слез вместе с нами». Она вообще любила веселый репертуар и раз за обедом спросила Бармана, нравится ли ему «Die schöne Wienerin», фарс, особенно ее увлекавший. «Да бог знает, оно как-то грубо», — отвечал простодушно несообразительный кухмистер. Екатерина вспыхнула и едва ли удачно поправила положение, заметив в тоне той же *schöne Wienerin*: «Я желала бы, чтобы у моего главного кухмистера был такой же тонкий вкус (разумеется, кухонный), как тонки его понятия».

Впрочем, бюсты Александра Македонского не усыпляли в ней ее истинной силы — энергии. Приняв решение после некоторых колебаний, она действовала уже без раздумья, и тогда все на свете в ее глазах становилось прекрасным: и положение империи, и дела сотрульников, и ее собственные дела — все благоденствовало, пело и плясало. Во время первой турецкой войны, когда на Западе трубили уже об истощении России, Екатерина писала Вольтеру, что у нее в империи нигде

ни в чем нет недостатка, нет крестьянина, который не ел бы курицы, когда хотел, везде поют благодарственные молебны, пляшут и веселятся, а когда в 1769 г. русские дела шли совсем плохо и недоброжелатели Екатерины потирали руки от удовольствия, пророча ей скорое падение, она писала подруге своей матери Бьелке: «Пойдем бодро, вперед! — поговорка, с которою я провела одинаково и хорошие, и худые годы, и вот прожила 40 лет, и что значит настоящая беда в сравнении с прошлым?» Бодрость была одним из самых счастливых свойств характера Екатерины, и она старалась сообщать ее своим сотрудникам в самых простых формах. Когда австрийцы, во все время первой турецкой войны грозившие России заступиться за турок, завершили свое заступничество тем, что отняли у своих клиентов Буковину, с каким самодовольством писала она князю Репнину, что цесарцы непременно поссорятся с турками и будут побиты, а она руки в боки, фертном будет сидеть да смотреть на это, повторяя: вот так удружили! Екатерина не выносила уныния. «Для людей моего характера, — признавалась она, — ничего нет в мире мучительнее сомнения». Притом уныние вождя расстраивает команду, и Екатерине подчас приходилось поступать, подобно людям, над которыми они с Гриммом шутили в своей переписке, которые поют ночью на улице, чтобы показать, что они не трусы, а еще более из боязни, как бы не струсить. Только раз, когда получено было известие, что турки объявили войну (вторую), замечена была ее минутная робость, и она с упавшим духом начала было говорить об изменчивости счастья, о непрочности славы и успехов, но скоро пришла в себя, с веселым видом вышла к придворным и всем вдохнула уверенность в успехе. Так рассказывает очевидец. В этих случаях Екатерину выручало ее испытанное самообладание, выработанное ею еще в те времена, когда в незавидном положении брошенной жены, оскорбляемая мужем как жена и как женщина, и в возможном будущем с клобуком русской инокини на своей вольтерьянской голове, она наедине обливалась слезами, но тотчас вытирала глаза и как ни в чем не бывало, с веселым лицом выходила в общество. Недаром она хвалилась, что никогда в жизни не падала в обморок. Очень редко, и то лишь в первые шаткие годы царствования, видали ее задумчивой. До поздних лет, на седьмом десятке, в добрые, как и худые дни, она встречала являвшихся по утрам статс-секретарей со своей всегдашней, всем знакомой улыбкой, сидя на стуле за маленьким выгибным столиком в белом гротетуровом капоте и белом флеровом, немножко набекрень чепце

на довольно густых еще волосах, со свежим лицом и с полным ртом зубов (одного верхнего не доставало), в очках, если вошедший заставлял ее за чтением, в ответ на низкий поклон ласково, со своим характерным поворотом головы под прямым углом протягивала руку и, указывая на стул против себя, своим протяжным и несколько мужским голосом говорила: «Садитесь».

Живость без возбужденности требовала работы, и современники удивлялись трудолюбию Екатерины. Она хотела все знать, за всем следить сама. Находя, что человек только тогда счастлив, когда занят, она любила, чтобы ее тормозили, и признавалась, что от природы любит суетиться и, чем более работает, тем бывает веселее. Постоянная работа стала ее привычкой и спасала ее от скуки, которой она так боялась. Занятия шли у нее в строго размеренном порядке, однообразно повторявшейся изо дня в день чередой, но, по ее словам, в это однообразие входило столько дел, что ни минуты не оставалось на скуку. Когда наступали важные внешние или внутренние дела, она обнаруживала усиленную деятельность, по ее выражению, суетилась, не двигаясь с места, работала, как осел, с 6 часов утра до 10 вечера, до подушки, «да и во сне приходит на мысль все, что надо было бы сказать, написать или сделать». Сам Фридрих II дивился этой неутомимости и с некоторой досадой спрашивал русского посла: «Неужели императрица в самом деле так много занимается, как говорят? Мне сказывали, что она работает больше меня».

В молодости она много работала над своим образованием и рано запаслась разнообразными сведениями. Свою начитанность она объясняла житейскими неудачами, доставившими ей для того много досуга. В шуточной эпитафии самой себе, написанной в 1778 г., она признается, что 18 лет скуки и уединения (т. е. замужества 1744—1762 гг.) заставили ее прочитать множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять и на престоле. Она хотела стоять в уровень с умственным и художественным движением века. С.-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля, тысячами гравюр, камей — монументальный свидетель ее забот о собирании художественных богатств, а в самом Петербурге и его окрестностях, особенно в Царском Селе, сохранились еще многие сооружения работавших по ее заказам иностранных мастеров Тромбара, Кваренги, Камерона, Клериссо, не говоря уже о Фальконете, а также и о русских художниках Чевачинском, Баженове и многих других. Из Плутарха, Тацита и других древних писателей, прочитанных ею во француз-

ских переводах, из романов, драм, опер, разных историй она запаслась множеством политических и нравственных примеров, изречений, анекдотов, острот, поговорок, разнообразных мелких сведений, которыми она поддерживала гостиную *causerie* на своих вечерах и украшала свою обширную переписку. В научном и литературном движении Запада она хотела участвовать не одними щедрыми подарками, пенсиями, покупками по пожалованному ей там званию царскосельской Минервы, но и прямым знакомством с ученою литературой как образованный человек своего времени. При свидании в Могилеве Екатерина самодовольно удивилась, заметив, что «Эпохи» Бюффона еще не попадались Иосифу II под руки. Сама она прочитала эту книгу с увлечением и признавалась, что Бюффон своим творением прибавил ей мозгу. Она штудирует историю астрономии Бальи, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов С.-Петербургской губернии, изучает Гиббона, английского законоведа Блекстона, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков, и даже погружается в сравнительное языковедение, чему опять помогло одно домашнее горе. Летом 1784 г. умер Ланской. Екатерина, называвшая его своим воспитанником, была безутешна, опасно занемогла сама, оправилась, но замкнулась в своем кабинете, не могла ни есть, ни спать, не выносила лица человеческого. Почуввав беду, прискакал из Крыма другой воспитанник — Потемкин и вместе с Ф. Орловым осторожно пробрался к Екатерине. Она расплакалась, за ней заревели оба утешителя, и «я почувствовала облегчение», — добавляет она, описывая эту сцену. Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем многотомное филологическое сочинение *in quarto* французского ученого Кур де Жебеленя «*Monde primitif*». Она увлеклась мыслью автора о первобытном, коренном языке, праотце всех позднейших, обложила всевозможными лексиконами, какие могла собрать, и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в основу его русский, собирая для него материалы, тормозила филологическими запросами и поручениями своих послов при иностранных дворах, губернаторов, даже восточных патриархов и самого маркиза Лафайета. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Палласу, который к 1787 г. и приготовил первый том издания под заглавием «*Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы*».

Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало ее столь известное знакомство с тогдашнюю литературой просвещения — Монтескье и Беккариа, которыми она так усердно воспользовалась для своего «Наказа», и особенно с Вольтером, которого она благоговейно называла своим учителем и которому писала, что желала бы знать наизусть каждую страницу его «Опыта» всеобщей истории; по смерти его она выражала желание, чтоб его изучали, затверживали наизусть, и писала, что изучение его образует граждан, гениев, героев и писателей, разовьет сто тысяч талантов. Вольтеру она была благодарна и за то, что он, по ее словам принцу де Линю, ввел ее в моду. Но к другим литературным корифеям она потом охладела и жаловалась тому же принцу, что они навели на нее скуку и не поняли ее. Она не любила людей, натертых чужим умом и знанием, как говорила она, повторяя выражение своей приятельницы г-жи Жоффрен. Но сама она была так восприимчива, так быстро схватывала и усваивала чужую идею, что присваивала ее себе, а в источнике видела только ее развитие или же развивала ее по-своему. Отсюда ее склонность подражать и пародировать. Прочитала она в немецком переводе драматические хроники Шекспира, и у нее явился свой «Рюрик», «историческое представление, подражание Шакеспиру». Из внимательного изучения политической литературы она едва ли вынесла какой-либо определенный, цельный план нормального государственного устройства. В упомянутой эпитафии она называет себя женщиной с добрым сердцем и республиканскою душой, именно с *душой*, а не с образом мыслей, соответствующим такому политическому порядку. Как все люди, больше наблюдавшие, чем размышлявшие, она не исчерпывала усвояемой идеи до дна, до глубины ее корней, а овладевала ею лишь настолько, чтоб ее можно было растолковать другим без особенных усилий и развить в понятные всем последствия. О Блекстоне, который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она писала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему. Но это изучение приучило ее мысль размышлять о таких трудных предметах, как государственное устройство, происхождение и состав общества, отношение лица к обществу, дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдениям, уяснило ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественной жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях политика неразрывно

связывалась с гражданской моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным благодушным свободомыслием, которое усваивается именно добрым сердцем больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практически пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству, в желание им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те «мои принципы», которые потом подробно и систематически изложены были в «Наказе» и на которые она указывала Комиссии об уложении, как на основание нового законодательства, ею предпринятого. Она начала обдумывать их еще до воцарения, руководимая каким-то внутренним голосом, который, как она признается в своих мемуарах, ежеминутно внушал ей, что рано или поздно она достигнет русского престола. Сохранилось несколько записочек, в которых она набрасывала мысли, мимолетно набегавшие среди чтения и вызванных им размышлений. «Я желаю только добра стране, куда бог меня привел,— писала она,— слава страны составляет мою собственную — вот мой принцип; была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать». Эти идеи относились и к внешней и к внутренней политике. Обширной империи, нуждающейся в наследии, необходим мир. В этом отношении едва ли полезно обращать наших инородцев в христианство: многоженство лучше содействует умножению населения. «Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным». Для этого стóит только принять в основание действий народное благо и правосудие. «Хочу общей цели — сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости». Средства действий — правда и разум, который, будьте уверены, возьмет верх в глазах толпы. Правосудию и христианской религии противно рабство. Все люди рождаются свободными. «Хочу повиновения законам, а не рабов». Но разом освободить русских крестьян нельзя: этим не приобретешь любви землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но есть легкий способ: *постановить* освобождать крестьян при продаже имений, и вот через сто лет народ свободный. «Свобода — душа всех вещей, без тебя все мертво». Необходимы новые законы. Единственное средство узнать, хорош или нет новый закон, — распустить о нем слух на рынке и велеть доносить, что про него говорят. «Но кто вам донесет о последствиях в будущем?» Необходимо отменить варварский обычай пытки, ненавистную конфискацию имущества виновных, чрезвычайные судные комиссии, особен-



но секретные, к которым, «мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение». Однако главное дело не в законах. «Снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразование, чем их предписывать». Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, писала Екатерина в 1765 г. в наставление своему сыну и потомкам: «Изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастья желать, нежели пророчествовать можно». С годами, под веянием житейского опыта ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость, даже с оттенком какого-то шуточного пессимизма. «Tout se mange dans ce monde — si»,— сказала она однажды Храповицкому, увидев, как галки и вороны клевали червей, выползших из земли после дождя. Все-то на свете ест друг друга, и под влиянием этого наблюдения она писала, что только посредственные головы могут увлекаться мечтой о вечном мире. Юношеские идеи не были брошены, но получили более тесное применение, были переведены из политики в литературу. «Я вполне понимаю ваши великие начала,— говорила она своему гостю Дидро в 1774 г.,— только с ними хорошо писать книги, но плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой, которая все терпит, а я, бедная императрица, имею дело с людьми, которые почувствительнее и пощекотливее бумаги». Поблекла и юношеская вера в силу правды и разума. «Род человеческий вообще склонен к неразумию и несправедливости,— писала Екатерина доктору Циммерману,— если бы он слушался разума и справедливости, то *в нас* (государях) не было бы нужды». Прежде разум и правда казались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной, а теперь сама власть представлялась ей печально необходимою заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил.

### III

Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной. Они состояли в гибкости и энергии характера, «в волюшке,— по ее выражению,— против которой не устоит никакое препятствие», в житейском опыте, сообщавшем ей тот «закал души», которым она так гордится в своих записках, в чутье

среды и уменье к ней применяться, в значительной выработке политического мышления и в обильном запасе гуманных политических идей, не вполне ясных и согласенных между собою, едва выходявших из расплавленного состояния, не успевших еще отлиться в твердые убеждения и много-много кристаллизовавшихся в добрые намерения. Но она знала по опыту и записала в одной из записочек, что «недостаточно быть просвещенным и иметь наилучшие намерения и даже власть исполнить их». Надобны еще обдуманые приемы действия, подходящие исполнители, подготовленные умы и слаженные интересы.

«У меня много постоянства и великое уважение к истине», — наставительно писала однажды Екатерина датскому королю Христиану VII. Отклоняя от себя излишние похвалы, она любила приписывать свои успехи сотрудникам и счастью: «Поверьте, — говорила она принцу де Линю, — я только что счастлива, и если мною несколько довольны, то это потому, что я несколько постоянна и одинакова в своих привычках». Но князь Щербатов упрекает ее в такой изменчивости, «что редко и один месяц одинаковая в ней система в рассуждении правления бывает». Должно быть, этот упрек относится больше к ее приемам действия. В этом отношении она не была особенно строга. Ссылаясь на пример дон Базилио в «*Севильском цирюльнике*», она писала: «И у меня есть кой-какие маленькие правила, которые я прилагаю с известным разнообразием». Она думала, что каждый принимает тон и склад своего положения и что для успеха в этом мире иногда необходимо разнообразить свою походку. Держась известных принципов, она не считала необходимым возводить в неподвижную систему приемы действия, сообразуемые с вечно меняющимися минутами. Сопоставляя представительные французские собрания при Калонне и Неккере со своею Комиссией 1767 г., она писала: «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им: знайте, вот каковы мои начала; теперь выскажите свои жалобы; где башмак жмет вам ногу? Мы постараемся это поправить; у меня нет системы, я желаю только общего блага». Оставаясь верной раз поставленным задачам, она не держалась педантически однообразных приемов действия, умозрительно рассчитанных и не согласованных с наличными условиями дела. Она вообще не принадлежала к числу людей, готовых во имя порядка ввести анархию, и не хотела своему правотеку старообрядчески жертвовать самою верой. Такой выбор приемов показывает, что из политической философии путем ее изучения Екатерина извлекла больше политики, чем философии. Этот выбор облегчался

уменьем Екатерины смотреть в глаза действительности прямо и просто и даже находить в своем юморе утешение при виде неустранимых зол. «Меня обворовывают точно так же, как и других, но это хороший знак и показывает, что есть что воровать», — писала она г-же Бьелке в 1775 г. Притом, слабо чувствуя на себе давление местных обычаев и преданий как пришедшая из другого мира, она была свободнее в выборе способов действия и установке своих отношений, и ей было легче, чем Марии-Терезии или Георгу III, подшучивать над китайскими людьми, которые, по ее довольно наглядному уподоблению, всегда сидят по уши в своих обычаях и преданиях и не могут высморкаться, не справляясь с ними.

Она не отказывалась от такой же свободы действия и в своих отношениях к сотрудникам. Она ценила их заслуги, это было одним из основных ее правил. «Кто не уважает заслуги, — писала она в одной из ранних своих записок, — тот сам их не имеет; кто не старается отыскать заслугу и не открывает ее, тот не достоин и не способен царствовать». К такому энергическому признанию заслуги обязывало Екатерину и особенное значение людей с заслугами для того порядка, какой она считала необходимым для России и в ней поддерживала. Как самодержавная императрица она думала, что ход дел в государстве зависит не столько от его устройства, сколько от его управителей. Негодуя на дурное ведение дел в современной ей Англии при конституции, считавшейся лучшею в Европе, она писала: «Вот что значит мальчишки; но прежде дела шли иначе, стало быть, не формы, а деятели виноваты». Однако не видно, чтоб Екатерина усиленно искала талантов. «Когда мне в молодости, — признавалась она, — случалось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны». Но с годами она стала относиться к этому хладнокровнее и даже считала возможным обойтись без поисков за дарованиями, хотя и любила и умела пользоваться попадавшимися под руку. Она не боялась и не чуждалась людей даровитых, но считала неспособных более удобными сотрудниками. «Бог нам свидетель, что мы, круглые невежды, не имеем никакой особенной склонности к дуракам на высоких местах». Но, думала она, нельзя же отыскивать людей по картинке, по своему фасону или идеалу, да и нет нужды в таких поисках. Нужные люди всегда найдутся, когда понадобится. «Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела. Я никогда не искала и всегда находила под рукою людей, которые мне служили, и большею частью служили хорошо». Екатерина относилась к способным

людям точно так же, как к собственным способностям: нет таких людей вокруг, надо их сделать из тех, какие есть. Значит, дело не в том, чтоб искать людей, а в том, чтоб уметь пользоваться теми, кто под рукою, и искусство править в том, «чтобы со всякими людьми заставляя дела идти как можно лучше». Может быть, такой взгляд был лишь обобщением счастливой случайности: Екатерине посчастливилось при вступлении на престол среди *всяких* людей найти под рукой таких, с которыми можно было вести дела хорошо. Однако в начале царствования она однажды жаловалась французскому послу Бретейлю на неспособность своих министров, прибавив, что, к счастью, молодые люди подают ей утешительные надежды. Она начала царствовать с людьми елизаветинской школы, т. е. с самоучками: с Бестужевым-Рюминым, Шаховским, Шуваловым, Воронцовыми, Паниными, Голицыными, Румянцевым, Чернышовыми. Она нуждалась в них, они ей усердно служили, некоторые очень много для нее сделали; она их ценила, но не любила, втихомолку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место, чтобы, по ее словам, мешать ржавчине останавливать колеса и пришпоривать бездарности. Может быть, за эту наклонность менять людей и приписывали ей правило, выражавшееся ею в известной поговорке о выжатом лимоне. Она хотела иметь *своих* людей, образовать свою школу из новых талантов, ею открытых. «Я не боюсь чужих достоинств, — говорила она, — напротив, желала бы иметь вокруг себя одних героев и все на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела малейшее к тому призвание». Но ей нелегко было найти таких людей вокруг себя. Вельможи, ее окружавшие, страдали не одним только тем недостатком, что, по свидетельству статс-секретаря Грибовского, за немногими исключениями, не умели правильно писать по-русски. Среди них скорее можно было найти приятных собеседников вроде обер-штальмейстера Л. Нарышкина или графа А. Строганова, чем дельцов. В этом кругу меркой способности к делам служила еще старая поговорка, слышанная Н. Паниным «у престола государева от людей, его окружающих», и записанная им в одном докладе Екатерине: «Была бы милость, всякого на все станет». Но Екатерине уже нельзя было руководиться этою поговоркой в выборе своих сотрудников. Люди с крупными умственными и нравственными достоинствами, образованные и любившие горячо свое отечество, но скромные и прямые, подобные учителю математики при великом князе Павле По-

рошину, как-то плохо уживались при ее дворе, хотя в инструкции генерал-прокурору она и обещала опытами показать, что у двора честные люди живут благополучно. Оставалось выбирать из пособников в перевороте 28 июня или из людей, указанных Румянцевым, Салтыковым, Паниным, Потемкиным. Между ними оказывались люди деловитые и не без дарований, чаще с притязаниями вместо дарований, с честолюбием и воображением, решительно превозмогавшими их силы и всякую действительность, бойкие и смелые игроки в судьбу, легко перекраивавшие карту Европы, составлявшие планы разрушения существующих государств и восстановления когда-то существовавших, чертившие будущие границы Российской империи с шестью столицами (С.-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Константинополь, Астрахань — по проекту Платона Зубова). Екатерина была очень доверчива и пристрастна к своим избранникам, преувеличивала их способности и свои надежды на них, ошибалась в первых и обманывалась в последних; но она пользовалась не только их силами, но и самыми слабостями, возбуждала их служебную ревность и соревнование друг с другом и со старыми дельцами, умеряла соперничество, не допуская его до открытой вражды. Осторожный и ленивый Н. Панин, с одной стороны, напевал ей одно, отважный и тоже ленивый Григорий Орлов, с другой — другое, противоположное, а она, по ее выражению, курц-галопом выступала между обоими вечно враждовавшими друг с другом советниками, и, несмотря на их вражду, «дела шли и шли большим ходом». Одним приемом она еще более усиливала исполнительную ревность своих сотрудников. В отношении к ним ей чаще удавалось принятое ею правило в проведении реформ: лучше подсказывать, чем приказывать. Хорошо изучив людей, она знала, кому какое дело поручить можно, и так осторожно внушала назначенному исполнителю свою мысль, что он принимал ее за свою собственную и тем с большим рвением исполнял ее. Поощряемые милостивым вниманием и возбуждаемые взаимным соперничеством, наперерыв один перед другим, стараясь отличиться, эти люди, выхваченные наверх часто житейской случайностью с довольно глубокого низа, внесли в ход дела большое оживление, производили много шума и движения, сделали немало и полезного, но при этом тратили страшно много средств. Они, конечно, произвели впечатление на современников: рассказы об екатерининских орлах долго не умолкали в русском обществе, и Карамзин только с ораторским преувеличением резюмировал эти рассказы, когда говорил в своем «*Похвальном слове*», что «только

Так перед Екатериной встречались, сталкивались и пересекались довольно разносторонние, даже противоположные, течения, интересы и настроения: оскорбленное чувство национального достоинства, «великое роптание на образ правления последних годов», гвардейские притязания, дворянские помыслы о новых поприщах деятельности и страхи за старые права, крестьянские ожидания, наконец, ее собственные идеи и мечты, благоприятные для одних и тревожные для других, но непривычные для всех умов. Екатерине предстояло действовать популярно, либерально и осторожно и в преобразовательном и в охранительном направлении, щадить одни сословные интересы и охранять другие, им враждебные, но самой стоять выше тех и других, ставя впереди всех интересы всенародные, согласно с основным правилом, неоднократно ею высказанным: «Боже избави играть печальную роль вождя партии,— напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных». Сверх всего этого, необходимо было предупреждать попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать «дешперальные и базрассудные соурсы», как она выражалась. Очевидно, программа Екатерины была довольно сложна и несвободна от противоречий. Она попыталась примирить их по указаниям своего опыта и наблюдения и по соображениям своей гибкой мысли. Находя невозможным ни согласить столь различные задачи, ни пожертвовать одними в пользу других, она разделила их, т. е. каждую задачу проводила в особой сфере правительственной деятельности. Дан был большой ход внешней политике посредством усиленного действия на нее национальных чувств и интересов. Чтобы занять праздное дворянство и определить его новое положение в государстве и обществе, предпринята была широкая реформа областного управления и суда. Наконец, отведена была своя область и новым идеям: на них строилась проектированная система русского законодательства, они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений как стимулы умов и нравственные регулятивы общежития, были допущены в литературу и даже в школу как образовательное средство и как архитектурное украшение правительственного производства. Но при законодательной, литературной и педагогической пропаганде новых идей Екатерина не трогала исторически сложившихся основ русского государственного строя, предоставляя самим идеям века перерабатывать порядки места. Так распланировалось исполнение программы.

Екатерине нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидные успехи, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по ее признанию, ничем не пренебрегала. Внешняя политика представлялась для того наиболее удобным полем действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны. Екатерина старалась поднять и укрепить его с двух сторон, настраивая умы и импонируя на кабинеты. Корифеи европейской мысли, с которыми она вела такие дружеские сношения, располагали общественное мнение Европы в пользу России, распространяя о ней благоприятные сведения, разбивая предубеждение. Но иностранные дипломаты уже в самом начале царствования жаловались на гордый и высокомерный тон Екатерины во внешних делах, который нравился ее подданным. «У меня лучшая армия в целом мире,— говорила она Бретейлю в 1763 г.,— у меня есть деньги, а через несколько лет у меня будет много денег». Опираясь на эти средства, Екатерина смело приступила к решению обоих стоявших на очереди вопросов внешней политики, давних и трудных вопросов, из которых один состоял в необходимости продвинуть южную границу России до Черного моря, а другой — в воссоединении Западной Руси. Известно, как вела Екатерина оба этих главных дела своей внешней политики.

Можно различно судить — и судили различно — о приемах и результатах этой политики, но впечатление, произведенное ею на русское общество, едва ли подлежит спору. С. Т. Аксаков помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствование соседи нас не обижали и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом, что они, русские люди, теперь «в общество политических народов присовокуплены», как выразился канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения Ништадтского мира. Великая Северная война, которую Россия завоевала себе место в семье европейских держав, самой продолжительностью и тяжестью своей ослабляла впечатление своих успехов. «Петр, выводя народ свой из неве-

жества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять оный державам второго класса», и потому первым предметом своей политики почитал какое-нибудь приобретение в Германии, подготавливал присоединение Голштинии к России, чтобы иметь голос в европейском концерте не в качестве русского царя, а по положению голштинского члена германского корпуса. О собственном абсолютном весе России он еще и не помышлял. Его взгляда держалось русское правительство и после него, несмотря на очевидный рост силы и влияния России. Так изображал международное положение России со времени Петра I до Екатерины II руководитель ее внешней политики Н. Панин, хорошо знавший политическую историю Европы своего века. Международная улица России по-прежнему оставалась тесна, ограничиваясь шведскими и польскими тревогами да турецко-татарскими опасностями: Швеция помышляла об отместке и начиналась недалеко за Петербургом; Польша стояла на Днепре; ни одного русского корабля не было на Черном море, по северному побережью его господствовали турки и татары, отнимая у России южную степь и грозя ей разбойничьими набегами. Тяжелое чувство учеников, во всем отставших от своих западных учителей, еще более удручало национальный дух. Прошло 34 года царствования Екатерины, и Польша не существовало, южная степь превратилась в Новороссию, Крым стал русскою областью, между Днепром и Днестром не осталось и пяди турецкой земли, контр-адмирал Ушаков с черноморским флотом, в 1791 г. дравшийся с турками недалеко от Константинополя, семь лет спустя вошел в Босфор защитником Турции, а в Швеции только душевно нездоровые люди, вроде короля Густава IV, продолжали думать об отместке. Международный горизонт России раздвинулся дальше ее новых пределов, и за ними открылись ослепительные перспективы, какие со времени Петра I едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу: взятие Константинополя, освобождение христианских народностей Балканского полуострова, разрушение Турции, восстановление Византийской империи. Держава второго класса стала считаться первою военною державой в Европе и даже, по признанию англичан, «морским государством, очень почтенным»; сам Фридрих II в 1770 г. называл ее страшным могуществом, от которого через полвека будет трепетать вся Европа, а князь Безбородко в конце своей дипломатической карьеры говорил молодым русским дипломатам: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела». Самого неповоротливого воображения не



могли не тронуть такие ослепительные успехи. Но впечатление внешней политики заимствовало значительную долю своей силы от общественного возбуждения, вызванного ходом внутренних дел.

#### IV

Политические идеи, усвоенные Екатериной, по источникам своим были последним словом западноевропейской политической мысли, плодом работы многих сильных умов над вопросами о происхождении и законах развития государств и об их нормальном устройстве. Результаты этой работы не были еще руководящими началами политической жизни народов, по крайней мере на европейском материке, оставались идеалами передовых умов, дожидаясь своего места в кодексах. Даже в том виде, как они изложены в «Наказе» Екатерины, они представляли, говоря словами Карамзина, ряд «высочайших умозрений», и сколько надобно было усилий, чтоб эту «тончайшую метафизику преобразить в устав гражданский, всем понятный!» Эти идеи, еще нигде практически не испытанные в своей совокупности, Екатерина хотела применить к устройству своего государства, переработать их в статьи нового русского уложения. Этот замысел мог показаться плодом «воспламененного воображения», какое приписывал Екатерине Фридрих II. И, однако, Екатерина признавала такой опыт возможным в России, отставшей от Европы во всех отношениях, имевшей, как писал тогда один английский посол из Петербурга, право на название образованного народа, одинаковое с Тибетским государством. У Екатерины были на [то] свои соображения. Она, во-первых, тогда еще крепко веровала в силу разума: будьте уверены, писала она в одной из своих ранних заметок, что разум возьмет верх в глазах толпы. Потом она считала себя со своими идеями особенно способной и расположенной действовать в стране, мало тронутой культурными влияниями и менее других зараженной историческими предрассудками. «Я люблю страны еще не возделанные,— писала она,— верьте мне, это лучшие страны. Я годна только в России; в других странах уже не найдешь священной природы: все столько же искажено, сколько чопорно». Россия представлялась ей благодарным полем для просветительной работы. «Я должна отдать справедливость своему народу,— писала она Вольтеру,— это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные». Этими аксиомами и были

идеи, которые она задумала положить в основание нового русского законодательства. Да, наконец, и Россия — все же страна, не совсем уже чужая Европе, и Екатерина строила свой преобразовательный план на силлогизме, в сжатом виде изложенном в начале I главы ее «Наказа»: Россия есть европейская держава; Петр I, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел такие удобства, каких и сам не ожидал. Заключение следовало само собой: аксиомы, представляющие последний и лучший плод европейской мысли, найдут в этом народе такие же удобства.

Но главным средством действия и надежным ручательством за успех была в руках Екатерины власть, которую она носила, та русская верховная власть, которую еще славянский публицист XVII в. Юрий Крижанич сравнивал с жезлом Моисеевым, способным выбить воду из камня, и силу которой Екатерина выражала по-своему в письме к Гримму, когда говорила о своих начинаниях, что все это еще пока на бумаге и в воображении, «но не полагайтесь на это: все это вырастет, как грибы, когда менее всего будут ожидать того». Екатерина поняла, что в просветительном движении эта власть может и должна стать в другое отношение к обществу, непохожее на то, какое существовало между обеими этими силами на Западе. Там общество через литературу поучало правительство; здесь правительство должно было направлять и литературу и общество. У вас, писала Екатерина Вольтеру, низшие научают, и высшим легко пользоваться этим наставлением; у нас — наоборот. Но, может быть, придворные рассказы и собственные наблюдения, собранные ею в России еще до воцарения, а вероятно, и чутье положения, как скоро она вошла во всю обстановку власти, внушили ей, что эта власть в своей прежней постановке, с теми средствами и приемами, какими она доселе пользовалась, не в состоянии взять на себя такого руководства. Здесь будет не лишним припомнить нечто из прошлого русской государственной власти.

Древняя Русь в своих политических верованиях, понятиях, общественных отношениях — во всем складе своего быта работала очень обильный материал верховной власти, не *идеал*, а именно *материал*, которому московские государи по своим личным особенностям и по условиям своего положения придавали различные формы или физиономии: царь Иоанн Грозный — одну, царь Алексей — другую. Но во всяких руках древнерусская государственная власть пользовалась почти одинаковыми средствами действия на волю подвластных, за исключением церковной проповеди о *власти от бога* — пропо-

веди, обращавшейся к совести верующего, — то были простейшие средства политической педагогики, стимулы, обращенные к элементарным инстинктам человека и первичным связям общезнания; к стимулам второго рода относились, например, ответственность родственников за преступника, наказание его жены и детей конфискацией его имущества. Петр Великий не выработал нового типа власти, но переработал старую власть, дав ей новые средства действия, научное знание, небывалую энергию, поставив ей новые задачи и расширив ее пределы, особенно на счет церковной власти. Важно то, что Петр пытался изменить самое обращение власти к подданным. Древнерусская государственная власть обращалась к своим подданным если не всегда как властелин к рабам-домочадцам, то как строгий отец к детям-малолеткам, приказывая исполнять, не рассуждая или дозволяя рассуждать только о способе исполнения, а не о смысле и надобности исполняемого. Петр сохранил за властью прежнюю строгую физиономию, но несколько смягчил ее обращение, тон речи; но едва ли не первый в своих указах заговорил с народом о самых основах государственного порядка, о добре общем, о пользе народной, об обязанностях, «долженствах» государя. В повелителе сказался правитель; из-за грозного указа блеснул примиряющий принцип; в голосе домовладыки слышалось признание зрелости домочадцев. Власть обращалась не с одними угрозами к неисправному или непослушному подданному, но и с доверием к здравому смыслу народа, призывала его не только исполнять волю государя, но и рассуждать о необходимости ее исполнения для государства, о побуждениях, ею руководящих, а это уже призыв к некоторому участию в государственных делах, подготовка к политической самодеятельности, своего рода политическое воспитание. Петр расширил, зато и *заработал* свою власть, оправдав ее расширенные пределы, увенчав ее громадными успехами, стараясь уяснить ее народу не только как свое право, но и как его насущную потребность. Он и перешел в народную память как небывалый образ «царя, который даром хлеба не ел, пуще всякого мужика работал». Но этот образ, долженствовавший стать образцом, долго оставался одиноким, без подражателей. Ближайшие преемники и преемницы Петра не стеснили доставшейся им власти, но не были в состоянии оправдать ее, не понимали ни ее средств, ни задач, злоупотребляли первыми и забывали последние; некоторые, удерживая за собою эту власть, охотно слагали с себя бремя правления, лишь бы им оставили свободу предаваться своим удовольствиям. Скоро немцы, по выражению

Винского, забившиеся, подобно однодневной мошке, в мельчайшие изгибы русского государственного тела, стали окружать и его голову. Бироновщина пронеслась над народом запоздалой татарщиной. С.-Петербург из русской столицы, построенной преобразователем на отвоеванной чужой земле, превращался в иностранную и враждебную колонию на русской земле. В оде Ломоносова на воцарение Екатерины II Петр Великий встает из гроба и, обозревая дела, приключившиеся в России с его смерти до этого воцарения, гневно восклицает:

На то ль воздвиг я град священный,  
Дабы врагами населенный  
Россиянам ужасен был?

Власть из источника закона стала превращаться в его замену, т. е. в самовластие, а частые смены на престоле, которых в 17 лет после смерти Петра I случилось пять и в большинстве не по какому-либо закону или естественному порядку, а по обстоятельствам, мало понятным народу, имели вид политических приключений и сообщали сменявшимся правительствам характер случайностей. Все это при тогдашнем значении власти в России производило разрушительное действие на общественный порядок. Мощь государства, по-видимому, возрастала и ширилась, но личность принижалась и мельчала, так что некому было надлежащим образом оценить и прочувствовать государственные успехи. Общественная жизнь в руководящих кругах становилась вялой и распушенной. Придворные интриги заменяли политику, великосветские скандалы составляли новости дня. Умственные интересы гасли в жажде милостей и увеселений. Наиболее ощутительные успехи культуры и общежития, отмеченные современниками, обозначились при Екатерине I усиленною выпиской дорогих уборов из-за границы, при Анне — появлением бургонского и шампанского на знатных столах, при Елизавете — учащением разводов, введением английского пива женою канцлера Анной Карловной Воронцовой, английских контрдансов двумя великосветскими русскими барышнями, гостившими в Лондоне, и торжеством «весьма особливой философии», о которой писали в заграничные газеты из Москвы по случаю бывших здесь пожаров в 1754 г. во время пребывания здесь двора, — философии, «которая меньше нежели где инде сии приключения чувствительными делает, ибо не примечается, чтобы оные хотя малую отмену производили в склонности жителей к весельям; всякой день говорится только о комедиях, комических операх, интермедцах, балах и тому подобных забавах». Строгим наблюда-

телям казалось, что Россия не являла и признаков просвещения. Великосветское общество презирало все русское, науками пренебрегало, и даже канцлер граф Воронцов, по самой должности своей имевший ближайшее отношение к просвещенной Европе, в начале царствования Екатерины с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице Е. Р. Дашковой, что она «имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в науках и пустоте время свое проводит».

Подобными же чертами и люди екатерининского времени любили изображать управление и высшее русское общество 1725—1762 гг., стоявшее у престола, дававшее власти наибольшее количество сановных слуг, служившее образцом для массы. Н. Панин в представленном Екатерине проекте Императорского совета прямо уподоблял правительственный порядок той эпохи «варварским временам, в которые не токмо установленного правительства, ниже письменных законов еще не бывало». В воспоминаниях о той эпохе только царствование императрицы Елизаветы осталось светлою полосой благодаря памяти ее отца, ее добросердечию и набожности и некоторым полезным законам. Ее любили в память отца при жизни и гораздо более жалели о ней по смерти — печальная услуга, оказанная ее памяти племянником-преемником. Но это впечатление относилось больше к лицу, чем к порядку. Старые бедствия устранились, но новые блага чувствовались слабо. Временщики злые исчезли, но временщики не переводились. Общество было довольно покоем, но порядок ветшал и портился, не подновляемый и не довершаемый. Дела предоставляли идти, как они заведены были Петром Великим, мало думая о новых потребностях и условиях. Часы заводились, но не проверялись.

Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с колебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественное мнение, питавшееся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом и направляемый, по выражению Н. Панина, «более силою персон, нежели властью мест государственных», при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к отечеству, — в таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей екатерининского времени, наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств.

Люди второй половины XVIII в., так гордившиеся своим превосходством перед отцами в образовании и общежитии, естественно, наклонны были лучше помнить темные, чем свет-

лые стороны ближайшего к ним прошлого. Эта склонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины: о первых шагах ее по воцарении должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III! После него надобно было *уметь* царствовать непопулярно. Но Екатерине нельзя было пользоваться властью по-прежнему. Прежде власть привыкла искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных народноисправительных средств — в наказаниях. Екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияний, обратиться к другим народнообразовательным приемам, более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала и в первый год царствования признавалась французскому послу Бретейлю, что ей нужны годы и годы, чтоб ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком многое оправдать в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объяснить с обществом прямо, начистоту и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику «в пристойную знатность пред публикою», как внушал Н. Панин. Словом, надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр I пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено — народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой — из умения внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего «Наказа», она писала, что единственное средство для законодателя заставить всех слушаться голоса разума, — это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екате-

рина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя.

Так предпринята была Екатериной достопамятная кампания, целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях сената, более всего указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 г. о воцарении при всяком удобном случае — в указах о взяточничестве, о разделении сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах — настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои задачи и свое отношение к народу. Прежде всего предстояло выяснить источники приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общественным мнением, и общественное мнение было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса, его приветствие, скрепленное присягой, формальным актом народного избрания. Манифест 28 июня гласил, что императрица *принуждена* была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданым минувшее царствование, «а особливо видею к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное», потому престол принят «по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и *прошению*», как было прибавлено в рескрипте о восшествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору. Бецкий простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз, вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. «Богу и избранию моих подданных», — был ответ, который поверг Бецкого в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления отечества от опасности, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, ниспровержения внутренних порядков и даже «от неизбежной почти опасности империи сей

разрушения», как выразился в одном документе сенатор А. П. Бестужев-Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись: «За спасение веры и отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Димитрий Сеченов, первый член святейшего синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, «всех скорбей и печалей наших окончанием» и признавали событие 28 июня делом Божиим, чудным строением не человеческого ума и силы, но Божиим несказанным судом и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники,— говорил в коронационном слове архиепископ Димитрий,— напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость не книжные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прославлять величие Божие». Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт: в сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии она писала, что чудный промысел всевышнего «вручил нам самодержавство сей империи образом человеческим предвидением непостижимым».

На восторженные приветствия Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластия и губительных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти могут. С высоты престола пред Богом целому свету сказывалось, «что от руки Божией приняли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы Его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве», заявлялось правило неоспоримое, что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от поставленных над ним начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, «сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол», и наиторжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения прочные, на законах основанные, и выражалось упование предохранить этим



целость империи и самодержавной власти, «*бывшим несчастием* несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». И все это с уверениями в ежедневном материнском «о добре общем» попечении. Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого: оправдывать приобретенную власть значило бы напрашиваться на сомнение в правильности ее приобретения; стараться примирить с ней общество значило бы заикивать у противников, выпрашивать у них то, что уже было взято, наводить на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае ронять авторитет власти.

«*Наказ*» был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 г., установить государственные учреждения, в которых управление шло бы по точным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное — неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав «*Наказ*», скажут: не всяк его поймет. Непривычным к политическому размышлению умам нелегко было усвоить и объединить четыре определения политической свободы, одно отрицательное и три положительных. Государственная вольность по «*Наказу*»: 1) не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно, 2) состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно, 3) она есть право все то делать, что законы дозволяют, и 4) есть спокойствие духа в гражданине, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискаций, о равенстве граждан, о самом понятии *гражданина* — о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, — а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало. Всего более должны были поразить русского читателя те статьи «*Наказа*», где власть определяет самое себя, свое назначение и отношение к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступления по оскорблению величества; в самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении; великое несчастье

для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения; есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ею же самою себе положенными; лучше, чтобы государь только ободрял и одни законы угрожали; самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов; льстецы твердят владыкам, что народы для них сотворены, «но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны».

«Никогда еще монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком»,— восклицал Карамзин в своем *«Похвальном слове»*, воспроизводя впечатление первых русских читателей *«Наказа»*. И сама власть, кажется, никогда еще не принимала в России такого облика и не становилась в такое отношение к обществу, как в екатерининских указах первых лет и в этом *«Наказе»*. Она привыкла только требовать жертв от народа; теперь она за славу себе вменяла жертвовать собой для народа. Общее благо, прежде поглощаемое властью, теперь в ней олицетворялось. Она непосредственно обращалась к народу или с признаниями в принимаемых на себя обязанностях или с проповедью новых руководящих ею начал и понятий. Ее указы — чаще изложение оснований общежития, уроки политического благонравия или обличения чиновничьих и общественных пороков, чем повелительные законы: они, говоря тогдашним языком, больше просвещают умы и наклоняют волю к добру, чем предписывают действия или устанавливают отношения. Общее благо состоит в том-то и том-то, у нас то и это не в порядке, я денно-ночно пекусь об общем благе, каждый гражданин да разумеет, как подобает ему поступать в видах общего блага,— таков смысл и тон этих указов и манифестов. О полицейских предостережениях, о взысканиях за неисполнение упоминается как бы мимоходом, неохотно; разум и совесть призываются на место судьи и судебного пристава. Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам и как бы говорил им: государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях. Предполагалось перевоспитать государевых холопов в граждан государства, и в воспитательных уроках с ними обходились уже как с благовоспитанными гражданами. Потому знать мнение «публики» считалось полезным для правительства: в 1766 г. Екатерина приказала сенату обсудить, не лучше ли новое положение о дворянских банках напечатать в виде проекта за полгода до введения его в дей-

ствие, чтобы желающие могли сообщить поправки и дополнения, даже не подписывая своих имен.

Когда люди, мнением которых мы дорожим, отказывают нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их, а когда приписывают нам достоинства, каких мы в себе не подозревали, мы ободряемся и стараемся приобрести их. Когда с людьми, привыкшими к рабскому унижению перед властью, эта власть заговорила, как с гражданами, как с народом свободным, в них как бы в оправдание оказанной им чести стали вскрываться чувства и понятия, дотоле прятавшиеся или дремавшие. Началось это сверху, с ближайшего окружения власти, и, расширяясь, разрослось в устойчивое общественное настроение. Когда Сенат благодарил императрицу Елизавету за отмену внутренних таможен, она отвечала, что за удовольствие поставлять себе будет «авантажи своих подданных собственным своим предпочитать». Итак, собственные авантажи торжественно отделены от государственных или народных. Согласно с таким разделением Елизавета под конец жизни, а после нее и Петр III усиленно копили деньги и казенные доходы удерживали у себя, ничего или почти ничего не отпуская на государственные нужды, так что редко кто из служащих получал жалованье. Когда у них просили деньги на государственные потребности, они сердились и отвечали: «Доставайте, где знаете, а эти прибереженные деньги наши». Во время пожара в Лефортовских палатах в 1754 г. вытаскивали и поставленные там сундуки императрицы Елизаветы с серебряною монетой; у многих из них не оказалось дна, и пришлось штыками отгонять народ, хватавший рассыпанные по земле деньги. В первые дни царствования Екатерины II, когда ей доложили о крайней нужде в деньгах и о том, что русская армия в Пруссии уже восемь месяцев не получала жалованья, императрица в полном собрании Сената объявила, что, принадлежа сама государству, она считает и все ей принадлежащее собственностью государства и чтобы впредь не было никакого различия между интересом государственным и ее собственным, и приказала выдать из своих комнатных денег сколько было надобно на государственные нужды. У всех сенаторов выступили на глазах слезы; все собрание встало и в один голос благодарило императрицу за такой великодушный образ мыслей. Так рассказывала сама Екатерина. Сенат как главный орган власти и руководитель управления первый должен был воспринять и сообщить подведомственным местам новое направление: восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать

к чистому признанию больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязанием, вести дела без отягощения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы «другими, благопристойнейшими способами»; генерал-прокурору Сената в секретнейшем наставлении ставилось на вид, что в высшем управлении «одна лишь форма канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет», а губернаторам настойчиво предписывалось утесненных людей защищать. Простые люди, до которых не доходили такие предписания или которым не все было понятно в манифестах, постигали дух и направление нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискации, по распоряжениям против монополий и взяточничества, по указам о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи без разорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие и давало всем чувствовать, что башмак меньше прежнего жмет ногу.

«Все души успокоились, все лица оживились»,— говорит Карамзин, воспроизводя настроение, постепенно складывавшееся в обществе из всех этих столь непривычных впечатлений, какие оно тогда переживало. Это настроение восторженно выражалось при народных встречах Екатерины, особенно во время ее путешествия по Волге в 1767 г. Екатерина писала с дороги, что даже «иноплеменников», т. е. дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошибали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали, а в Костроме граф Чернышев весь парадный обед проплакал, растроганный «благочинным и ласковым обхождением» местного дворянства, что в Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте в церкви мужики приняли свечи подавать, прося поставить их перед матушкой-царицей: это простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царскосельской Минервой. Чтение «Наказа» в Комиссии 1767 г. депутаты слушали с восхищением, многие плакали, особенно от слов 520-й статьи: «Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земли; намерение законов наших было бы не исполнено — несчастье, до которого я дожить не желаю». Плакали при встречах императрицы, при чтении ее манифестов и «Наказа», плакали за парадными обедами в ее присутствии, плакали от радости при мысли, что бироновское прошлое уже не вернется; ни-

когда, кажется, не было пролито в России столько радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II.

В этих слезах было много серьезного: сквозь них проступал новый взгляд общества на власть и на свое отношение к ней. Из грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать, власть превращалась в благодетельное, попечительное существо, о котором не могли наговориться, которым не умели нахвалиться. Эта политическая чувствительность постепенно приподнимала людей, наполняя их смутным ощущением наступающего благополучия. Эта приподнятость особенно выразительно сказалась в Комиссии 1767 г. Собрано было со всего государства свыше 550 представителей самых разнообразных вер, наречий, племен, состояний, умоначертаний, от высокообразованного представителя святейшего синода митрополита Новгородского Димитрия до депутата служилых мещеряков Исетской провинции муллы Абдуллы мурзы Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им ни толковали в Комиссии, никак не могли понять, что такое закон и для чего это людям понадобились законы,— всероссийская этнографическая выставка, представлявшая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры. Депутаты призваны были со своими местными «нуждами и недостатками» для «трудного и кропотливого дела — составления кодекса законов, согласенных с этими нуждами и недостатками». Вступая в Комиссию, депутаты присягали по однообразной формуле, клятвенно обещаясь начать и окончить великое дело «в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия *рода человеческого*». На первом же шагу депутат переносился со своими низменными местными нуждами в область высоких идеалов человечества. При открытии Комиссии вице-канцлер в речи от имени императрицы призывал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, порадеть об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примера все подсолнечные народы,— говорил он,— очи всех на вас обращены». А недели через две маршал Комиссии Бибиков поднял тон еще октавою выше, в речи самой Екатерине говорил уже, что «во всеобщем благополучии мы первенствуем», и, поднося ей от Комиссии титул *матери отечества*, прибавлял, что весь род человеческий долженствовал бы предстать здесь и принести ей титул *матери народов*. Позднее подобные фразы

стали стереотипами, заменявшими чувства; тогда они впервые отливались из наличных чувств или вливали такие чувства в раскрытые сердца. Точно подхваченные воздушным шаром, депутаты со своими руководителями отрывались от своих родных уездных и даже российских видов, и с захватывающей дух высоты им открывались необъятно широкие кругозоры, виднелись будущие века, народы, весь род человеческий. Все это немного ходульно и театрально, но во всем этом выражалась простая любовь к отечеству и сказывалась непривычка выражать просто внушаемые ею чувства национального достоинства и патриотической гордости по новизне ли самых этих чувств или по недостатку случаев выражать их. Да, наконец, театральная маршировка все же приучает не умеющих хорошенько ходить к приличной походке.

Но гордость отечеством обязывает быть достойным его сыном; без того она бахвальство и ничего более. Надобно быть справедливым к людям екатерининского времени: они остереглись одной опасности, какую грозит народная гордость, не поддались искушению приподняться на цыпочки, чтобы прибавить себе росту. Подъем духа сопровождался у них возбуждением умов, которое помешало им принять самомнение за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили хорошенько осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить и имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинство их отечества, что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам, опираются собственно на силы народной массы, а они, образованные и руководящие классы, обязанные выражать разум своего народа, еще не в состоянии стать достойными его выразителями. В этом сознании источник той горячей энергии, с какую заговорила при Екатерине журнальная и театральная сатира, по-видимому, так мало подходившая к блеску и успехам той эпохи. Самообличение было прямым следствием разумно направленного патриотического чувства: из любви к отечеству обличали себя, недостойных сынов его. Эта сатира не подняла заметно уровня жизни: частные и общественные недостатки и пороки остались на своих местах, но они были обличены и признаны, т. е. стали менее заразительны, а это подавало надежду, что дети не все унаследуют от своих неисправимых отцов. Зато мысль необычайно оживилась, особенно благодаря «свободоязычию», простору, какой давала ей в литературе Екатерина, сама принимавшая деятельное участие в этом лите-

ратурном движении. Обличая отечественные недуги, мыслящие люди того времени много передумали, и притом о таких предметах, что самая склонность размышлять о них есть уже признак значительного подъема умов. В этом помогло им, конечно, влияние просветительной литературы. Из записок Порошина и Винского видим, что в людях образованных и даже полубразованных это влияние возбуждало интерес к политике и морали, к изучению устройства государств и состава людских обществ. Порошин, преподаватель математики при великом князе Павле, разговаривал со своим учеником о сочинениях Монтескье и Гельвеция, о необходимости читать их для просвещения разума, приготовлял для великого князя книгу *«Государственный механизм»*, в которой «хотел показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и пр. и какою кто долею споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в пренебрежении». Надобно много и много жалеть, что одному из образованнейших и благороднейших русских людей XVIII в. не удалось написать задуманного им сочинения, которое могло бы послужить прекрасным показателем роста русской политической мысли в том веке. Образованным людям екатерининского времени и принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много работала мысль дальнейших поколений: об отношении России к Западной Европе, об отношении новой России к древней, об изучении национального характера, о согласовании национального с общечеловеческим, самобытного народного развития с необходимостью подражать опередившим народам. Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченной терминологией академического красноречия, выражающей нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова *«добронравие»*, или *«благонравие»*, *«человечество»*, *«человеколюбие»*, *«попечение о благе общем»*, *«блаженство общее и частное»*, *«отечество»*, *«граждане»*, или *«сограждане»*, *«чувствительность»*, *«чувствования человеческого сердца»*, *«добродетельные души»* и т. п. Таким языком блещит и изданный 8 апреля 1782 г. *Устав благочиния*, или *Полицейский*, где в «правилах добронравия» читаем такие статьи закона: «Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь; в добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему,

напой жаждущего»; в «правилах обязательств общественных» изображено: «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи», а в числе требуемых от определенного к благочинию начальства поставлены «*здравый рассудок, человеколюбие и усердие к общему труду*». Особенно любимыми стали слова «общество» и «род человеческий». В 1768 г. граф Разумовский, благодаря Екатерину от имени Сената, присутственных мест и всего народа за пробное привитие оспы себе и сыну для примера подданным, говорил даже о «роде человеческом обоего пола», а по *Учреждению для управления губерний* 1775 г. земский исправник обязан отправлять свою должность «с доброхотством и человеколюбием к народу» и в случае эпидемии стараться «о излечении и сохранении человеческого рода». В памятниках XVII в., когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов, или чинов, с особыми обязанностями, без общих дел и интересов, изредка мелькнет выражение «общество христианское», ибо религия оставалась наиболее крепкой нравственной связью общества. При Екатерине встречаем уже «российское общество»; Сенат в докладе императрице говорит об «обществе всех верноподданных», в жалованных грамотах 1785 г. устанавливаются термины: «*дворянское общество*», «*общество градское*», а в депутатских наказах 1767 г. находим даже ходатайство «о выборе судей всем обществом всего уезда» как всесословной земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось единения. В этом новом языке нет недостатка в красивых словах и неясных понятиях. Хорошие слова, став ходячими, в непривычном обществе скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их, «человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует», как говорил Стародум в «Недоросле». Такие слова не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали мысль к опрятности, заставляли ее держаться выше эгоизма и инстинкта, произвол личного понимания подчиняли требованиям общественного приличия. С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 г., предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово «раб» словом «подданный». Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают слабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в Комиссии 1767 г. князь М. М. Щербатов, для которого сословное неравенство было своего рода полити-



ческим догматом, но и он в Комиссии оговаривался, что крепостные «суть равное нам создание», только «разность случаев возвела нас на степень властителей над ними». «Наказ» Екатерины иногда ссылается в своих положениях на закон христианский и закон естественный. Возражая на требование ограничения пытки и телесного наказания для одних только дворян, депутаты от городов, опираясь на те же законы — священный и естественный, которые «весьма не терпят лицеприятий», доказывали, что «вор — всегда вор, подлый он или благородный», и последнего, как человека просвещенного и знающего законы, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступление по нужде или неведению. Да притом, прибавляли эти депутаты, по своему становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века монархическое, а не аристократическое правление, и «как подлый, так и благородный — все равно подданнейшие рабы все милостивейшей государыни». Модные слова подсказывали новые идеи, а идеи внушали дела, по крайней мере проекты дел. Одним из таких слов было тогда *просвещение*, о котором твердили и манифесты и журналы. В то время, когда свои и чужие наблюдатели уверяли, что русское дворянство считает невежество своим сословным правом (Винский), что цивилизовать его труднее, чем даже крестьян (Маркертней), из среды этого культурно безнадежного класса посланы были в ту же Комиссию требования, чтобы при церквях учреждены были школы для крестьянских детей, «дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их» (наказы копорского и ямбургского дворянства), чтобы церковные приходы обучали крестьянских мужеска пола детей, «от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет» (наказ крапивенского дворянства). В 1764 г. архангелогородский гражданин В. Крестинин, определенный магистратом наблюдать за начальным обучением и потом издавший ряд дельных исторических сочинений о своей двинской родине, представил Сенату даже проект обязательного обучения с хорошо обдуманном планом малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе *все* без исключения.

Это пробуждение умов по призыву власти — едва ли не самый важный момент в росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины. По крайней мере в «Фелице» особенным движением отличаются известные стихи:

...Ты народу смело  
О всем и въявь и под рукой  
И знать, и мыслить позволяешь.

Люди бывают особенно довольны и счастливы, когда их признают умными и способными рассуждать о самых важных предметах, и искренно признательны к тем, кто им доставил такое счастье. А теперь власть не только позволяла, но и предписывала народу обо всем знать и мыслить и способность рассуждать о самых важных предметах ставила в число общественных обязанностей гражданина. Депутаты, призванные манифестом 14 декабря 1766 г., должны были и привезти с собой указы от своих избирателей с изложением местных «общественных нужд и отягощений» и потом принять участие в трудах Комиссии по составлению проекта нового уложения. Таким образом, на местные общества возлагалась тяжелая задача не только обсудить свое положение, свои интересы и потребности, но и согласить их с положением и интересами всего государства, подняться на точку зрения высшей политики и даже «пройти со вниманием течение минувших времен и рачительно разыскать все причины, вредившие общему благоденствию и силе законов», как писал в своем циркуляре по поводу манифеста 14 декабря правитель Малороссии Румянцев. Словом, представители народа призывались к участию не в управлении, а в самом устройении государственного порядка на новых началах. Никогда еще в нашей истории на народное представительство не возлагалось столь важное дело. Правда, вызывали в комиссию уложения выборных от дворянства при Петре II, выборных от дворянства и купечества при Елизавете, но в первом случае работа Комиссии состояла только в пополнении старого Уложения 1649 г., а во втором — выборные призывались, как и в 1648 г., для слушания уже готового проекта уложения, составленного правительственной Комиссией, а не для прямого участия в его составлении.

Известно, почему Комиссия 1767 г. не составила проекта нового Уложения и что в ней вскрылось. Депутатские указы жаловались на отсутствие или непрочность первичных основ общежития и требовали, например, чтобы военные не били купечества и платили за забранные у него товары. Потом вскрылась непримиримая рознь сословных интересов: требовали исключительных привилегий, сословных монополий, и только в одном печальном желании разные классы общества дружно сошлись с дворянством — в желании иметь крепостных. Однако поверх всей этой неурядицы противоречивых понятий, взаимных сословных недоразумений, неслаженных

или враждебных интересов, делавших невозможным составление стройного, справедливого и для всех безобидного уложения, откуда-то шло течение, которое несло семена будущего, лучшего порядка: оно проявлялось в требованиях издания закона «к приведению разного звания народа в содружество», всеобщего участия в местном управлении, учреждения «кратких словесных судов», веротерпимости, учреждения академий, университетов, гимназий, городских и сельских школ и т. п. Это течение шло из общего возбуждения умов, начавшегося вместе с царствованием. Комиссия усилила его. Не все депутаты были люди «способнейшие и чистой совести», как требовал закон. Но они встретились в Комиссии с представителями высших правительственных учреждений и полтора года сидели плечо с плечом, присмотрелись друг к другу и сблизились, обменялись мыслями, напряженно обсуждая важнейшие вопросы общенародного блага и государственного благоустройства, памятуя призыв со стороны власти при открытии Комиссии: «Слава ваша в ваших руках». Вместе с этим призывом депутаты разнесли по всей России аксиомы, усвоенные из «Наказа», и впечатления, вынесенные из этой совместной работы. Оставалось дать подходящее дело гражданскому чувству, столь живо возбужденному, и политическому сознанию, столь заботливо подготовленному. Но, когда через несколько бурных лет, исполненных внешними и внутренними тревогами, в 1775 г. издано было *Учреждение для управления губерний*, призывавшее именно к такому делу, последовал отклик, не соответствовавший ни пробужденной энергии, ни возбужденным ожиданиям.

Тогда и после винули в этом известные недостатки губернских учреждений, «изящных на бумаге, но худо примененных к обстоятельствам России», по выражению Карамзина. Но в этих учреждениях блеснули две идеи, которые должны были привлечь к себе самое сочувственное отношение общества: это — участие выборных в местном управлении и суде, а в некоторых учреждениях, например в Приказе общественного призрения, совместное участие выборных от трех сословий: дворянства, городского и свободного сельского населения. Это последнее учреждение обещало быть особенно благотворным. Уже давно, приблизительно с половины XVII в., свободные классы русского общества, встречавшиеся для совместной деятельности на земских соборах и в некоторых местных учреждениях, начали расходиться, разделенные сословными правами и обязанностями, сословными интересами и предрассудками, и действовать одиноко, замыкаясь каждый в своем сословном кругу.

Теперь власть призывала общество возобновить эту прерванную совместную деятельность на благодарном поприще народного образования и общественного призрения в особом всесословном учреждении, которое вместе с Совестью судом, подобно ему составленным, Учреждение называет «двумя источниками, на веки льющими благоденствие несчастным и бедствующим в роде человеческом и сопрягающими милость и суд воедино», и вслед затем взывает: «Как можно, чтоб сердца подданных, в коих не угасли сродная жалость и любовь к ближнему, чувствами своими не были тут соподобны величайшему монаршему человеколюбию!» Однако сердца подданных, отвечая чувствами своими человеколюбию законодательницы, отнеслись к ее призыву небрежно, а по местам и неопратно: уездные дворяне иногда совсем не являлись на съезды для выборов, так что предводитель оставался один, напрасно посылая нарочных за подгородными помещиками, и должен был прибегать к заочным назначениям; выборы производились нередко с явным пристрастием и наглой несправедливостью, по выражению современника Болотова; люди благонамеренные и образованные или устранились от собраний, или были заглушаемы «благородной чернью» грубого и малограмотного деревенского дворянства, наполнявшего собрание, и эти собрания оставили в наблюдателях то общее впечатление, что там, «кроме нелепостей, ссор и споров о пустяках, никогда ни одно дельное дело не было предлагаемо».

Новые учреждения, дав дворянству господствующее положение в местном обществе и управлении, чрезвычайно подняли дух дворянства, но мало улучшили самое управление. Это похоже на какую-то загадку, но она разрешается некоторыми особенностями екатерининского дворянского общества, представляющими немалый народно-психологический интерес.

В росте общественного настроения, какое складывалось в царствование Екатерины II преимущественно в дворянской среде, был тревожный момент, о котором потом не любили вспоминать люди екатерининского века и который потому сгладился в воспоминаниях их ближайших потомков. Этот момент падает на время между изданием манифеста 1762 г. о вольности дворянской и прекращением пугачевского мятежа 1774 г. С отменой обязательной службы, привязывавшей дворянство к столицам, начался или усилился отлив дворян в деревню, но этот отлив задерживался крестьянскими волнениями, побегам и связанными с ними разбоями, делавшими жизнь дворянина в деревне очень небезопасной. Между тем отмена обязательной службы сословия отнимала основное

политическое оправдание у крепостного права, и обе стороны скоро почувствовали это, каждая по-своему: среди дворян это чувство выразилось в опасении, как бы вместе со службой не сняли с них и власти над крепостными, а среди крепостных — в ожидании, что справедливость требует и с них снять крепостную неволю, как сняли с дворян неволю служебную. Комиссия об Уложении усилила опасения одних и ожидание других. В народ проникали смутные слухи, что в «Наказе» императрицы сказано нечто и в пользу «рабов». Пошли толки о перемене законов, о возможности крестьянам выхлопотать кой-какие выгоды; появился фальшивый манифест за подписью Екатерины, в котором читали, что «весьма наше дворянство пренебрегает божий закон и государственные права, правду всю изринули и из России вон выгнали, что российский народ осиротел». Эти толки и заставили Сенат запретить распространение «Наказа» в обществе. По распусчении Комиссии среди гвардейских офицеров шли недовольные толки об унижении дворянства, о вольности крестьян и холопей, об их непослушании господам: «Как дадут крестьянам вольность, кто станет жить в деревнях? Мужики всех перебьют: и так ныне бьют до смерти и режут». И само правительство задавало себе вопрос, что делать с этим освобожденным от службы служилым сословием, чем занять его с пользой для государства? Граф Бестужев-Рюмин еще в 1763 г. в комиссии о дворянстве предлагал занять сословие деятельным участием в местном управлении, образовав из него местные сословные корпорации, чтобы дворяне не пришли в «древнюю леность». Того же участия и корпоративного устройства потребовало и само дворянство в Комиссии 1767 г. Ему было дано то и другое. Но как оно поняло предоставленное ему право? Оно увидело в нем не новый вид государственного служения *всего* дворянства взамен прежней обязательной службы, а недостававшее ему хозяйственное удобство каждого отдельного дворянина. На выборных капитанов-исправников, уездных судей и заседателей нижних земских и верхних земских судов оно посмотрело, как на своих ответственных уполномоченных, обязанных охранять интересы каждого дворянина в присутственных местах и спокойствие в деревнях, т. е. перенесло на них привычное понятие о своих приказчиках и управляющих, которые должны отвечать перед ними, господами, но за которых они не отвечают перед государством. Такой взгляд проглядывает в дворянских наказах депутатам Комиссии, так смотрел на дело и сам сенатор и бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин: по его проекту выборные дворянские ландраты должны были стать для избравшего их об-

щества «во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в причиняемых дворянам утеснениях и обидах».

Введение губернских учреждений только укрепляло такой взгляд дворянства на свое новое положение. Уже целых 10 лет до манифеста об этих учреждениях сословие находилось в возбужденном состоянии: современники говорят, что манифест 19 сентября 1765 г. о государственном межевании произвел во всем государстве великое потрясение умов и всех деревенских владельцев заставил непривычно много мыслить и хлопотать о своих земельных имуществах: все сельские умы были поглощены этим делом, и не было конца разговорам о нем. Владельцам вековых дедовских гнезд впервые пришлось подумать и привести себе на память, как, на каком основании и в каких пределах они владеют ими. Скачка без памяти по соседям, переговоры и споры, растерянные поиски забытых или затерявшихся документов, справки в межевых канцеляриях и конторах, хлопоты, как бы урвать казенной землицы при общем ее расхищении, взятки землемерам, плутни и захваты, ссоры и драки на меже, расспросы про невиданные и диковинные астролябию и румбы, смех и горе,— надобно читать рассказы Болотова про всю эту межевую суету и землевладельческую горячку, чтобы живо представить себе и юридическую беспомощность сословия, и весь хаос дворянского землевладения, и скромный уровень общественного порядка. Эти люди, еще недавно встряхнутые ужасами чумы и пугачевщины, теперь призывались к участию в местном управлении. Новые наместничества открывались одно за другим в продолжение многих лет, поддерживая возбуждение умов, так что большую часть царствования дворянство жило ускоренным темпом. К торжественному открытию из усадебных углов съезжались в губернский или наместнический город все дворяне губернии с семействами, только что приходившие в себя от пережитых встрясок. Эти люди, среди праздной и малополезной для государства жизни представлявшие из себя «картину феодальных веков Европы», по выражению Карамзина, едва не забывшие отношений гражданина к государству, в торжественном собрании сословия слушали речь, в которой наместник со ступеней трона под портретом императрицы обращался к собравшимся, как к правящей корпорации, читали и толковали новое *Учреждение*, в котором видели исполнение обещаний первых манифестов и желаний, заявленных в их собственных наказах 1767 г., баллотировали своих предводителей, судей и заседателей, обедали у наместника, знакомились друг с другом, присутствовали на балах, маскарадах и спектаклях, нарочно

для них устроенных, и с наставительным шепотом указывали своим семьям на изящных чиновных кавалеров, привезенных наместником из столицы, с французским языком, модными словами и манерами. Утомленные баллотировками, празднествами и новыми знакомствами, они возвращались в свои крепостные усадьбы с убеждением, что присутствовали при водворении крепкого порядка, которого не поколеблет уже никакая пугачевщина и в котором, что всего важнее, не осталось места для пугавших их воображение помыслов об осуществлении крестьянской «вольности мечты», и что теперь их усадебный сон вполне огражден от тревог выборными предводителями и исправниками. Любопытно, что эта уверенность сообщилась отчасти и крепостному населению. Впечатления, привезенные с открытия, обновлялись через каждое трехлетие на периодических дворянских собраниях, которые, укрепляя в дворянстве сознание своих великих государственных прав, особенно с издания жалованной грамоты 1785 г., вместе с тем приучали его к людскости и «благочинному обхождению». Люди, привыкшие в своих крепостных деревнях чувствовать себя единственными единицами, на дворянских собраниях, среди горячки белых шаров и выборных должностей, сменившей горячку межевых обходов и дешевых земельных покупок, учились впервые думать о пределах своей личности и понимать себе равных, ценить общественное мнение и сторониться перед встречным со своими деревенскими замашками. Все эти впечатления, разрастаясь и сливаясь, образовали среди дворян настроение, покоившееся на мысли, что они, благочинные граждане благоустроенного общества, преимущественно перед прочими сословиями призваны проводить на своих собраниях благие намерения власти, внушенные высокими идеями века. Что же касается до ежедневных подробностей местного управления, то это — дело дворянских уполномоченных, которых в том и не стесняли, пока те не касались личных дел каждого избирателя. Если дела шли несогласно с требованиями «правды, человеколюбия и общего блаженства», на которых строился закон, это считалось в порядке вещей, потому что этим требованиям придавалось не столько практическое, сколько народно-воспитательное значение согласно с «Наказом», который гласил, что для успеха лучших законов необходимо «умы людские к тому приуготовить». Рассуждали, что прежде надобно облагородить ум и сердце людей, а потом улучшить их жизнь, сперва выучить человека плавать, а потом пускать его в воду. В умоначертании людей екатерининского времени произошел тот оборот мысли, какой

наблюдаем в человеке с возбужденным воображением и с незанятым умом: деловые идеи незаметно перерождаются в досуговые грезы, а когда люди грезят о счастье с мыслью о его невозможности, они мирятся с его отсутствием. Только таким оборотом мысли и можно объяснить психологию екатерининского вольтерьянца, у которого свободолобивые мечты так мирно уживались с крепостною действительностью. Так и случилось, что возбуждение умов, подъем общественного духа не подняли заметно уровня общественного порядка.

Это раздвоенное настроение прошло самою резкою чертой, сказать прямее, самым глубоким рубцом по нравственной физиономии екатерининского общества и было последним моментом в образовании впечатления, вынесенного им из царствования Екатерины II. Начавшись восторженной политической чувствительностью, оно в своем последовательном росте поднялось до патриотического чувства национального достоинства, перешло потом в умственное возбуждение, выразившееся в склонности к политическому размышлению, и завершилось пробуждением гражданского чувства, которое, проснувшись, так и осталось нервным движением, не успев переработаться в житейское дело. Однако и нравственные приобретения были очень важны: современники Екатерины и их ближайшие потомки были уверены, что при Екатерине показались первые искры национального самолюбия, просвещенного патриотизма, что при ней родились вкус, общественное мнение, первые понятия о чести, о личной свободе, о власти законов, что русские при ней, как бы по собственному внушению, стремились сравняться с народами, опередившими их на много веков (Вигель).

## V

«Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства»,— писала Екатерина. Ее совсем не мечтательный ум ласкала мечта стать преобразовательницей своего государства и воспитательницей своего народа, сеять добро на земле, которое переживало бы сеятеля, и неделикатно было бы не верить искренности ее признания, что ей нравится «та слава, которая не только в настоящем производит добро, но и в будущем создает бесчисленные поколения добрых». Она принесла на русский престол два средства действия: ум, исполненный философско-политических



идей века, располагавших ее к тому, что она называла своею *легисломанией*, и характер, способный сдерживать философские увлечения, выработанный среди житейской толкотни более общением с живыми людьми, чем уединенною работой над самим собой. Она начинала свою деятельность с убеждением в силе разума, долженствующего управлять народами, и с верой в разум народа, которым ей пришлось управлять. Она нашла под своею державною рукой страну с влиятельным внешним положением и неблагоустроенным внутренним порядком, государство с обильными материальными средствами и с расстроенными нравственными силами, не согласенными и враждебными интересами. Читая, наблюдая и размышляя, она решила, что действующие в России законы мало соответствуют положению государства, не поднимали, а понижали его благосостояние и извели множество народа, что сам Петр I не знал, какие законы надобны его государству, и что такая своеобразная страна, как Россия, невозделанная и не искаженная историей, нуждается не в пересмотре, а в коренной перестройке законодательства на новых началах, что здесь все надобно переделывать заново. Это была мысль скорее академического, чем политического ума. Не одна Екатерина смотрела на Россию, как на белый лист бумаги, еще не исчерченный историей, и она была не последняя, кто так смотрел на эту страну. Но такой взгляд значительно исправлялся другим соображением Екатерины, что надежнее самих законов образ действий власти, направляемый снисхождением и примирительным духом государя. Опыт и ближайшее знакомство со страной, особенно Комиссия 1767 г., показавшая Екатерине, «с кем дело имеем», убедили ее, что и у России есть свое прошлое, по крайней мере есть свои исторические привычки и предрассудки, с которыми надобно считаться. Она увидела, что без глубоких потрясений невозможно провести коренных реформ, каких потребовала бы система законодательства на усвоенных ею началах, и на совет Дидро переделать весь государственный и общественный порядок в России по этим началам посмотрела как на мечту философа, имеющего дело с книгами, а не с живыми людьми. Тогда она сократила свою программу, сознавая, что не может взять на себя всех задач русской власти, что то, что можно, далеко не все, что нужно. «Что бы я ни делала для России,— писала она,— это будет только капля в море». Но, утешала она себя, «после меня будут следовать моим началам» и докончат недоделанное. Когда добрый попечитель убеждается в несбыточности планов сделать зависящих от него людей счастливыми, создав им лучшее положение,

он старается по крайней мере сделать их более довольными их прежним положением, внушив им лучшие мысли и чувства. Видя невозможность перестроить русскую жизнь новыми законами и учреждениями, Екатерина хотела лучше настроить русскую мысль новыми идеями и стремлениями, предоставив ей самой перестраивать жизнь. Не решившись стать радикальной преобразовательницей государства, она хотела остаться воспитательницей народа. Потому, не трогая основ существующего порядка, она стала действовать на умы. Власть, оставаясь военно-полицейским стражем внешней безопасности и внутреннего благочиния, в ее руках стала еще проповедницей свободы и просвещения. Екатерина не стеснила пространства власти, но смягчила ее действие, приняв в руководство эти принципы, и тем сделала менее ощутительной ее беспредельность, ибо руководящие принципы власти казались ее пределами. Екатерина не дала народу свободы и просвещения, потому что такие вещи не даются пожалованием, а приобретаются развитием и сознанием, зарабатываются собственным трудом, а не получаются даром, как милостыня. Но она дала умам почувствовать цену этих благ если не как основ общественного порядка, то по крайней мере как удобств частного, личного существования. Это чувство было тем ободрительнее, чем еще не ослаблялось тогда пониманием жертв и усилий, какими приобретаются эти блага, а теснота сферы, отведенной для их действия, не замечалась, узкость башмака не чувствовалась в обаянии «бессмертной славы, какую она приобрела во всем свете», говоря словами Болотова. Эта слава была новым впечатлением для русского общества, и в ней тайна популярности Екатерины. В ее всесветной славе русское общество впервые почувствовало свою международную силу, она открыла ему его самого: Екатериною восторгались, как мы восторгаемся артистом, открывающим и вызывающим в нас самим нам дотоле неведомые силы и ощущения; она нравилась потому, что через нее стали нравиться самим себе. С Петра, едва смея считать себя людьми и еще не считая себя настоящими европейцами, русские при Екатерине почувствовали себя не только людьми, но и чуть не первыми людьми в Европе. За это не ставили ей в счет ни ошибок ее внешней политики, ни неудобств внутреннего положения, ни поступков с Арсением Мацеевичем или Новиковым, недостойных ни ее ума, ни сана, ни приемов «маленького хозяйства», в котором, по тогдашним рассказам, платилось 500 руб. за пять огурцов для любимца и выходило угля для щипцов придворного парикмахера на

15 тыс. руб. в год. Общее настроение сглаживало эти неровности, вследствие которых империя последних лет царствования представляла по закону, по общему впечатлению стройное и величественное здание, а вблизи, в подробностях -- хаос, неурядицу, картину с размахистыми и небрежными мазками, рассчитанными на дальнего зрителя.

---

## ПАМЯТИ В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Оплакивая вместе с Россией, вместе со всей Европой кончину Императора Александра III, наше Общество имеет и свои особые побуждения усиленно скорбеть об этой тяжелой утрате. Мы сейчас молились об упокоении души почившего Государя, державного Покровителя нашего Общества. Назвать Его Покровителем обществ, занимающихся изучением истории и археологии России, — значит слишком слабо выразить Его отношение к этой отрасли знания. Он не только благоволил к трудам в этой отрасли: Он возбуждал и поощрял их средствами материальными и нравственными. В числе обществ, пользовавшихся обильными пособиями от державной руки Почившего, и наше удостоено было Им усиленной поддержки и вот уже 10 лет пользуется сим царственным даром. Можно быть уверенным, что еще не получили общей известности многие случаи, когда Его державная рука щедрой помощью поддерживала и поощряла труды по изучению и восстановлению памятников отечественной старины. Многим ли, например, известна великодушная и просвещенная помощь, оказанная Им при реставрации дворца царевича Димитрия в Угличе?

Еще благотворнее было Его прямое участие в изучении родной старины. Государь, который сосредоточивал в своих руках многосложные нити управления необъятной Империи, направлял или сдерживал разносторонние течения мировой международной жизни, которому, казалось, необходимо было удвоенное число суточных часов для решения многообразных государственных вопросов, ежеминутно на каждом его шагу выросавших из земли, — этот Государь умел находить досуг для скромной ученой работы, особенно по изучению отече-

ственной истории и древностей, и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например, в иконографии. Все мы знаем его постоянное и близкое участие в заседаниях и издательских трудах Русского Исторического Общества, Председателем которого Он был с самого его открытия, глубокий научный интерес, приданный Сборнику этого Общества содействием и покровительством Государя, живое внимание, с которым Государь относился к предпринятому Обществом изданию громадного Биографического Русского Словаря: высокий пример поощрял и ободрял ученые общества, будил и поддерживал энергию отдельных исследователей.

Оживление русской исторической мысли, поддержанной и ободренной просвещенным вниманием и прямым личным участием почившего Государя, переживет его царственную деятельность, прервавшуюся столь преждевременно, и долго будет находить животворное питание в обильных исторических плодах Его царствования, выращенных для России Его 13-летними державными заботами. Еще не настало время всестороннего суждения о царствовании Императора Александра III: перед не закрывшимся еще гробом молчит суд истории. Мы теперь едва ли в состоянии понять все историческое содержание и значение переживаемого нами момента, созданного деятельностью и кончиной почившего Государя: пока еще не остывшая печаль застилает глаза, люди больно чувствуют и тускло видят ее причину. Но иные впечатления современников складываются так последовательно и отчетливо и высказываются таким внушительным и вещим языком, что предупреждают и предрекают суд потомства. Прислушиваясь к голосам, вызванным болезнью и кончиной Почившего, у нас и особенно за границей, вдумываясь в свои собственные ощущения, каждый из нас почувствовал, что в историческом сознании образованного мира совершается глубокий перелом, в высшей степени важный для судеб цивилизации: этот перелом изменяет взаимные отношения народов, прежде всего отношения западноевропейских народов к русскому и русского к ним.

Кто не знает, и к чему скрывать, что эти отношения, правда, не исключительно, но, к сожалению, в значительной мере направлялись доселе одним вековым закоренелым предубеждением, видевшим в России авангард азиатского варварства; вечную угрозу европейской цивилизации. Мы отвели от Западной Европы и вынесли на своих плечах ряд нашествий, угрожавших миру порабощением, начиная с Батыя и кончая Наполеоном I, а Европа смотрела на Россию, как на переднюю Азию, как на врага европейской свободы. В царствование

Императора Александра II мы на глазах одного поколения мирно совершили в своем государственном строе ряд глубоких реформ в духе христианских правил, следовательно в духе европейских начал,— таких реформ, какие стоили Западной Европе вековых и часто бурных усилий, а эта Европа все продолжала видеть в нас представителей монгольской кости, каких-то навязанных приемышей культурного мира. Под гнетом такого взгляда и Россия привыкла косо и недоверчиво смотреть на Западную Европу.

Прошло 13 лет царствования Императора Александра III, и чем торопливее рука смерти спешила закрыть Его глаза, тем шире и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение этого недолгого царствования. Наконец и камни возопияли, органы общественного мнения Европы заговорили о России правду, и заговорили тем искреннее, чем непривычнее было для них говорить это. Оказалось по этим признаниям, что европейская цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечила себе мирное развитие, для собственной безопасности поместилась на пороховом погребе, что горящий фитиль не раз с разных сторон приближался к этому опасному оборонительному складу и каждый раз заботливая и терпеливая рука русского Царя тихо и осторожно отводила его. Тогда историческое сознание Европы сделало над собою одно из тех великих усилий, какие не раз поднимали его в минуты ослабления и в которых сказывается его сила, воспитанная строгим научным знанием и добросовестной мыслью,— его способность при встрече с истиной отрешаться от своих вековых предрассудков. Европа признала, что Царь русского народа был и государем международного мира и порядка, и этим признанием подтвердила историческое признание России, ибо в России по ее политической организации в воле Царя выражается мысль его народа, а воля народа становится мыслью его Царя. Европа призналась, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов; она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов. Это признание само собой, невольно, вырвалось из души европейского общества под впечатлением известий о последних минутах жизни почившего Императора и не замрет с его последним вздохом: октябрьские дни ливадийских страданий были для Западной Европы днями нравственного сближения с Европой восточной и, провожая в могилу гроб русского Царя, она впервые оплакивает в нем своего европейского государя.

Кто знает, — может быть, это признание даст новое направление всему течению международной жизни Европы. Во всяком случае путь русской исторической мысли становится ровнее и светлее. Теперь, когда каждый европейский народ светлой страницей занесет царствование Императора Александра III в свою историю, эта мысль в усиленном сознании признанного значения своего отечества почерпнет для себя новые силы, при окрепшем международном доверии встретит на пути своем меньше предубеждений, ввиду открытого признания своих помыслов, о культурном отношении России к Европе почувствует себя менее обособленной и дружнее примкнет для совместной работы к мысли западноевропейской. Смерть, смежившая очи почившего Государя, ярким лучом озарила исторический смысл жизни Его народа и воскресила чувство нравственного единения европейского мира: скорбный отклик Европы на русское народное горе — это ответ на скорбь, с какою много веков назад старинный русский летописец оплакивал неудачу третьего крестового похода, как общую беду всего христианства, называя павших крестоносцев «мучениками святыми».

Наука ответит Императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал все это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его уж нет, Европа поняла, чем он был для нее.

---

# МЫСЛИ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

[После 5 декабря 1893 г.]

Н. И. дал мне совет прочитать на сегодняшней нашей ассамблее одну статейку о Л[ермонтове]. Я принял этот совет потому, что не раз замечал у присутствующих особенную любовь к этому поэту. Л[ермонтов] поэт *нашей* молодости, т. е. моей и моих сверстников, а так как я наверное ровесник батюш[кам] и ма-тушкам больш[инства] здесь присутствующих, то и могу от их и своего лица выразить почтенным слушателям живейшее и признательное сочувствие за то, что дети поддерживают предание отцов, разделяя их литер[атурные] симпатии. При таком преемственном сродстве вкусов мы, старики, как-то чувствуем себя меньше лишними на свете. Впрочем, поэзия не знает хронологии и всегда сближала людей, разделенных возрастом. Время не оставляет на ней следов, как бесследно проходит<sup>1</sup> оно мимо нетленных античных статуй п[етербургского] Эрм[итажа]. И томы Л[ермонтова] могут истлеть<sup>2</sup>, но не постареют и сумеют быть ровесниками даже нашим внукам.

Статейка, к[оторую] прошу позволить прочесть, анонимная<sup>3</sup>, без подписи. Потому можно и не называть ее автора. «Что в имени тебе моем?» Впрочем, я настолько солидарен с ее мыслями, что готов сполна взять на себя ответственность за скуку, какую наведет ее чтение, и заранее прошу винить одного меня, буде почувствуете таковую, хотя и надеюсь, что из любви к предмету статьи слушатели будут снисходительны к ее содержанию. Статья писана больше для размышления про себя, чем для чтения вслух.

<sup>1</sup> Над строкой: бежит.

<sup>2</sup> Над строкой: обветшать.

<sup>3</sup> Над строкой: безымянная.



Да и происхождение статьи невеселое: она поминальная<sup>1</sup> и потому немного заунывна. Три года назад поминали 50-ю годовщину смерти Л[ермонтова]. По этому случаю высказаны были очень различные суждения о поэте. Одни называли его пессимистом, другие — русским Байроном, третьи — поэтом Weltschmerz'a<sup>2</sup>, а один критик даже утверждал, что сюжет самого Демона не принадлежит Лер[монто]ву, а взят им... не то у Мольера, не то у Виньи,— позабыл право. Прислушиваясь к этим суждениям<sup>3</sup>, мы с автором публично<sup>4</sup> и решились закричать: Неверно... Разумеется, нам и досталось от литер[атурной] полиции по заслугам.

Индивид[уальность] — неразлагаемый атом поэтич[еского] творчества.

## Н. В. ГОГОЛЬ

### I

[1892 г.]

Редкому писателю выпадало на долю столько озлобленных насмешек и негодующих порицаний, как Гоголю, и редкий писатель давал столько поводов, столько видимых оправданий желавшим смеяться над ним и бранить его, как Гоголь. Смеялись над ним глупые люди, бескорыстно восставая на него во имя здорового рассудка — вещи, им чуждой и ненужной. Бранили его злые люди, целомудренно щетинясь во имя христианской любви и гражданской благопристойности, над которой они внутренне смеялись и которую оскорбляли самой возможностью своего существования. В самом деле, как глуп его «Нос» и сколько нелепости в его «Ссоре Ив[ана] Ив[ановича] с И[ваном] Ник[ифоровичем]!» С другой стороны, какая бесчеловечная жестокость смеяться над Маниловым, Плюшкиным, Коробочкой — людьми, никому не делавшими зла, кроме самих себя, старавшимися устроить свое счастье, как умели, счастье, положим, смешное, но безвредное для других, людьми больше жалкими, чем забавными, годившимися для филантропической богадельни, а не для комической сцены. Гоголю приходилось обороняться на два фронта: и от консер-

<sup>1</sup> Над строкой: зауспокойная.

<sup>2</sup> Мировой скорби (нем.).

<sup>3</sup> Над строкой: толком.

<sup>4</sup> Над строкой: печатно.

вативной, и от либеральной атаки. Одни прозревали в его психологически-нелепых, но политически-ехидных «Мертвых душах» совсем неблагонадежный, злостный подкоп под основы государственного порядка и авторитет мудрого закона; другие с брезгливой grimасой говорили о его слащаво-плаксивой «Переписке с друзьями», где он, разбитый болезнью, будто бы поклонился тому, что презирал прежде, и оплакал то, над чем прежде смеялся.

Гоголь ни над чем не смеялся и ни о чем не плакал. Это он сам распустил сплетню про свой видимый миру смех и незримые слезы, и мир, обрадовавшись этой автобиографической диффамации, как публичному скандалу, с наслаждением поспешил сострадательно оплакать его видимый смех и злорадно осмеять его скрытые слезы, а ученые эстетики не замедлили составить из этой авторской обмолвки определение юмора как такого художественного настроения, которое созерцает мир сквозь видимый смех и незримые слезы.

Гоголь ни над чем не смеялся и ни о чем не плакал, потому что ничего не презирал, а для того, чтобы смеяться и плакать, нужно презирать и смешное и жалкое. Он был «художник-создатель» и притом христианин<sup>1</sup>, а такой художник не может ни смеяться, ни презирать: «для него нет низкого предмета в природе, в презренном у него уже нет презренного», ибо, прошедши сквозь чистилище его души, презренное получает высокое выражение. Так писал Гоголь. Подобные излишества любящего сердца, такие передержки художественного воображения и вызвали насмешки и злобу. Ничего не может быть смешнее и досаднее глубокой мысли в одежде<sup>2</sup> горячей фразы, ворвавшейся<sup>3</sup> в пустую и холодную светскую болтовню от скуки, ибо тогда светские болтуны перестают в одно мгновение сознавать и смысл своего существования и признавать свою обязанность быть приличными. «А! Туда же, обличитель!!» — злорадно ехидничали они. «Просто неблаговидный<sup>4</sup> человек, не понимающий светских приличий<sup>5</sup>», — самодовольно зубоскалили другие.

Что больше всего в Гоголе злило одних и сбивало с толку других — это моралистическое направление его мысли, все явственнее проступавшее в его произведениях по мере того, как устанавливался его взгляд на вещи!

---

<sup>1</sup> *Над строкой:* добрейший человек.

<sup>2</sup> *Над строкой:* оболочке.

<sup>3</sup> *Над строкой:* брошенной.

<sup>4</sup> *Над строкой:* приличный.

<sup>5</sup> *Написано над:* общения.

В Гоголе<sup>1</sup> трудно отделить нервную впечатлительность от эстетической восприимчивости и еще труднее заметить, где кончается эта экзальтация<sup>2</sup> и начинается вдохновение, художественное творчество. Тем хуже для читателя. Талант, подкрепляемый нервной возбужденностью и эстетической общедоступностью, становится силой не только убеждающей и пленяющей, но и гипнотизирующей, чарующей в простом физиологическом смысле слова. Он и творил, и вместе с публикой любовался своим творчеством, и страдал от этого неестественного соединения несоединимых положений<sup>3</sup> — зрителя и артиста. С каким захватывающим и волнующим энтузиазмом, обрызгивая читателя дождем ослепительных метафор и блестящими отдельными меткими замечаниями, изобразил он Пушкина в чудном образе поэта, откликающегося на всё в мире и только себе не имеющего отклика! А разберите, что он сказал о нем, чем вышел у него Пушкин, зачем он был дан миру и что доказал собою. «Пушкин был дан миру, чтобы доказать собою, что такое поэт, и ничего больше». Это жрец чистого искусства<sup>4</sup> в смысле чистойшей математики, какая-то поэтическая схема, своего рода художественный манекен, удивительный акустический прибор, звонко откликавшийся «на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе», жрец<sup>5</sup> поэзии, творивший под стеклянным колпаком в каком-то безвоздушном пространстве, изолированно от влияния мозга и времени, даже от собственного дыхания поэта, от влияния его личного характера, в пространстве, где нет ни истории, ни физики, а живет только гармония молитв, рифм и звуков<sup>6</sup>. Здесь резко проступила характерная особенность таланта Гоголя.

Гоголя сильно занимала мастерская писателя-художника. Привлекали его внимание таинственный процесс художественного творчества сам по себе, как редкий и любопытный психологический феномен, или он чувствовал неотразимую магическую силу, с какою действует на людей художник, когда выносит к ним творение, выработанное таким процессом, и Го-

<sup>1</sup> *На полях:* Поучения пастырей — поэт[ический] источник (437 и 479 т). Расшифровку помет см. в разделе «Археологическое послесловие» к сб.: К л ю ч е в с к и й В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983.

<sup>2</sup> *Написано над:* восприимчивость.

<sup>3</sup> *Написано над:* ролей.

<sup>4</sup> *На полях:* Певучий инструм[ент], поэт[ический] фонограф.

<sup>5</sup> *Написано над:* поэт.

<sup>6</sup> *На полях:* В тайне не сочувствует этой бесстрастной математ[ической] поэзии (Ср. 478 т), вздор.

голю хотелось вполне овладеть таким страшным орудием влияния, изучив условия и средства художественного производства, — сказать трудно: могло быть и то и другое. В «Переписке с друзьями» он сам настойчиво говорит о том, как много занимался он познанием души человеческой.

«Мертвые души» писаны напряженно и тревожно, т. е. преждевременно. Автор не успел выносить в себе ни идеи произведения, ни художественной ее формы. Пораженный грандиозной мыслью, ему подсказанной, он чувствовал, что должен создать что-то великое, и по мере того как подвигалась его работа, в нем росло недовольство самим собой, досада, что исполнение ниже замысла. Это недовольство местами сказывается уже в первой части. Он убеждает читателей не судить о труде по его началу, по бедным и невзрачным характеристам, здесь нарисованным, зато впереди он обещает им «колоссальные образы». Но эти колоссальные образы пока были не более как художественные порывы, туманные замыслы, не получившие твердых и ясных очертаний. Обещая лучшее впереди, автор невольно признавался, что недоволен написанным и не обдумал достаточно дальнейшего, — словом, что приступил к делу прежде, чем достаточно приготовился к нему. Приступив к делу сгоряча, с преувеличенными задачами, но без ясного, спокойного взгляда на него, он постепенно терял и чуткость оценки, и верность художественного глазомера: все, что выходило из-под его пера, казалось ему ниже должного, а потому от дальнейшего он требовал больше возможного. Взвинчивая себя таким образом, чтобы подняться до высоты непомерно вздернутой задачи, он нечувствительно становился на ходули и вступил в состояние того искусственного экстаза или задора, в котором недовольство возможным рождает стремление превзойти желаемое. Это искусственно возбужденная нервная прыть сделала психологически возможным признание, в котором таким крикливым фальцетом прозвучало настроение, владевшее Гоголем во все время создания «Мертвых душ»: еще в первой части, описывая «бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство», он уже чуял в отдалении время, когда «грозная вьюга вдохновения подыметя из облеченной в святой ужас и блестанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей». Точно у артиста с режущим ухо визгом оборвалась квинта на скрипке от излишнего усердия вывести слишком высокую ноту.

«Мертвые души» писаны без авторского самодовольства,

но и без художеств[енного] самообладания. Этим объясняется печальная судьба второй их части — ее нескончаемое переписывание, переделывание и, наконец, сожжение.

Восхищались как зубоскалом<sup>1</sup>, порицали как обличителя. Внутренняя убедительность, напр[имер], статьи о театре.

Забота о самовоспитании, благоустроенности души — «Камрадин». Опасно судить о Г[оголе], не прочитав Исповеди, и еще опаснее судить о нем по ней.

Позволительно ненавидеть человека вообще, т. е. человечество как идею или историч[ескую] формацию, но не отдельных людей как живых существ.

Сравнение часто заменяет у него понимание (438i), но и помогло пониманию — при европ[ейском] свете рассмотреть себя.

При ритор[ической] гремучести и пенности энтузиастич[еский] блеск отдельных мыслей, сравнений в переписке<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> *Над строкой*: Это заметил сам (510 f).

<sup>2</sup> *На полях*: Гоголь 145 m, 154 m, 157 m. Эпиграф (178 m). Нерящество растреп[анной] души (379 f), смирение и сомнение в себе (385 m, 387 i), Беспольность сатиры (389 f). Царь живой по Выходам (390 f). Любовь к бедной душе человека (392 f). Весь § 2, 391 — образцовый. Рассердись и на себя (394 f), не своди глаз с себя — эгоизм оправд[ательный]. Церковь и европ[ейская] цивилиз[ация]. (396 i) — две церкви.

«История моей души» — последн[ее] сочинение (405 m). Существо Гоголя (ib).

О себе самом (406 m). Самовоспитание (410 i). Против национального самохвальства (411 m).— Х в а с т а т ь с я б у д у щ и м ! Правда (411—12).

Дело Гоголя m.

«Русский Помещик» — слащаво хвостовато-набожно. Переработка души художника (423 m). Нужда f. Управление собою (426 m). Собств[енный] образ (443). Опять самовоспитание (455 f). Опять (478 m, 498 m, 519 f). Подлое подножие всего — нынешний человек (430 i). Ж е н а д о л ж н а в е л е т л ю б у б ы т ь е е г л а в о й m. Карт[инно]-величаявая наружность людей Эк[атерининского] времени (440 m). Восприимчивость русская — значение (448 i). Призвание поэта — превосходно (454). Метко о разгуле сил бесцельном (458 i). Свет любви — источник поэзии (459 i). Виды поэтов (ib., m). Обществ[енная] комедия (470 f). Какое узкое понятие о б щ е с т в а — гувернерского (473). Боже! пусто и странно в Тв[оем] мире (487 m). Мы — не отлившийся металл (488 m). Переписка — поучение из могилы (495 i). Гордость плана (504 i). Психология (505 i). Жизнь и современная — предмет (507 m, 511 m). Мысль о самопожертвовании (512 m).

«Мертвые д[уши]». Вымученный юмор в описании г[орода] NN (особенно 10 f, 41 f). Юморист. topica (11, 17), с нравочением обличительным (47 t, 51 i): высов[ывать] язык (59 m и д. 109 m). «Ученый» — подлецом (192 i). Мужики — не иначе как в ухо (216 f). Кузнецы — непременно — подлецы: любимое слово, чуть не на каждой странице (222 m). Манерность и кропотливость [?] (20 m). 251 m — выглянули из окошка поэмы.

## II. СМЕХ И СЛЕЗЫ

2 марта 1909 г.

Воспитанный пушкинским кружком, [Гоголь] подступил к русской жизни со взглядом, подготовленным к чуткому наблюдению ее противоречий. Но ему не растолковали происхождение этих противоречий. Он изобразил их со всей силой своего громадного изобразительного таланта, но не мог выяснить читателю их значение. Читатель поражался их ослепительной картиной, но они производили на него впечатление случайного анекдота, потому что картина лишена была исторического фона. Это и было на руку редакции. Во-первых, дозволяя и даже одобряя высочайше «Ревизора» и «Мертвые души», она констатировала публично, сколь она благоволит к свободе мысли и слова. А потом ужасы николаевского управления, изображенные в полумраке смеющейся скорби и в полусвете веселых слез, являлись не детищами высшего правительственного порядка, а выродками общественного бесправия, подтачивающего как бы безупречные основы высшего правительственного порядка. Гоголевская сатира скрашивала дрянное положение, как облако в солнечный день своей светотенью скрашивает болото. Художественный смех над общественным безобразием, не просветленный исторической мыслью, гасит гражданское негодование, без которого невозможно никакое общественное улучшение.

---

Туманный лиризм сюрпризом (57 i, 91 f, 110). Хвастовство реализмом (134—135 f). Гроша не последовало. Самомнение (225 f). Нахвастал заранее (244 f). Карикатура (89). В другую сторону шарж — слишком умно для Ч[ичикова] (92 m). Изысканная грязь (180 m).

Мелкие мимолетные лица (97 m).

Такой же дядюшка, как он мне дедушка.

Маниловщина, не Манилов — «раздробленные» характеры (135 i). Там-то и погибель (166 i). Глаза — государство (167 i). Свои владения (165 f). Метко (179 i). Не хорошо — все фистончики (184 m). Если взглянет одна дама, выйдут белые (190 i).

Муж с божеств[енными] доблестями и чудная девица — или плутоватый человек, а обыкновенных нет (228).

Раз по пяти на иной странице — *подлец* — какую-то сласть в этом слове (248 i).

Именно до «первоначальных причин и неизведаны» х[аракте]ры в «Мертвых душах» (248 m). Какая-то мистика вместе с экзальтированной болтовней (f и 249 i), и везде обещание зажечь море («И еще тайна...»). Чичиков анализирован поверхностно — и, однако, «не загляни автор поглубже в его душу» (ib., m). Назойливость моралиста (252 m). *Риторика* экзальтации (254) и смешная.

Мешало ничем не заниматься (262).

## И. С. АКСАКОВ

### I

[31 января 1886 г.]

Несколько часов тому назад мы проводили на вечный покой одного из наших сочленов, И. С. Аксакова. Да будет ему вечная память! Каждый из нас будет долго чувствовать всю тяжесть утраты, понесенной с его смертью славянским делом, русским обществом, русской литературой и особенно русской периодической печатью. Но, поминая его теплыми словами в настоящем собрании, я должен держаться в пределах тех специальных интересов, во имя которых мы собираемся. Покойный посвятил всю свою жизнь вопросам, изучение которых не входит в число прямых задач Общества и истории и древностей российских. Он работал на более широком и трудном поприще: он служил русскому и остальному славянскому обществу и верховному блюстителю общих русских и всеславянских<sup>1</sup> интересов громким словом честного, самоотверженного и даровитого публициста. Это одно из самых трудных и ответственных общественных служений. Но, идя в передовом ряду бойцов за русские и славянские интересы, он на каждом шагу оглядывался на нас, скромный арьергард, или, говоря древнерусским ротным языком, сторожевой полк русской жизни, который, не участвуя в борьбе, подбирает падающих бойцов и читает над ними историческую отходную, — говоря языком нашей науки, сводит факты и выводит итоги жизни. Немногие из современных публицистов так любили обращаться к прошедшему за уроками и указаниями по текущим вопросам. Становясь перед каким-либо трудным вопросом нашей внутренней или внешней жизни, он спешил обратиться к родной старине, чтобы спросить ее, как надобно поступить. На его суждения в политических и общественных делах всегда падал яркий свет исторического размышления. В своих исторических воззрениях он оставался верен преданиям школы, которую издавна привыкли называть славянофильской. Этой школе принадлежит видное место в нашей историографии, и в истории этой школы покойный занимал место, которое, думается мне, после него останется незанятым.

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: благо.

[После 31 января 1886 г.]

Под впечатлением непритворной скорби, вызванной в нашем обществе преждевременной смертью И. С. Аксакова, многие добрые и нечуждые образования люди приходят в недоумение от суждений<sup>1</sup> о покойном писателе, высказанных в нашей печати. «Скажите,— спросит иной из этих людей,— почему называют И. С. Аксакова славянофилом и даже последним славянофилом». Я много лет и с великой любовью следил за его деятельностью как публициста, и она давно укрепила во мне убеждение, что так, как писал Аксаков, должен чувствовать всякий честный русский человек. При чем тут славянофильство, и зачем публициста, из глубины русской души всегда отзывавшегося на текущие вопросы и насущные нужды нашей жизни, таким широким взглядом смотревшего на положение и практические задачи нашего народа, зачем характеризовать его каким-то обветшалым и деланным, нерусским и<sup>2</sup> непонятым термином. Я не раз слышал, что его называют славянофилом; но я всегда думал, что здесь речь идет больше о его родословной, чем об образе его чувств и мыслей: он родился и вырос в кружке, в котором некогда много говорили и писали о гниении Запада, об отношении новой России к древней,— вот и все славянофильство. По родственным воспоминаниям, он иногда вскользь касался этих специальных славянофильских тем; но он шел своею дорогой. Из многочисленной толпы, с такою скорбью провожавшей его гроб 31 января, многие ли помышляют о гниении Запада, о реформе Петра, и в былые годы, когда мы толпами ходили слушать его на заседаниях Славянского благотворительного комитета, разве речами о мур-молках заставлял он обливаться кровью наши сердца? Может быть, теперь иначе понимают славянофильство, называя этим словом живое патриотическое разумение русских и славянских интересов. В таком случае И. С. Аксакова следует считать первым, а не последним славянофилом в настоящем смысле этого слова.

Теперь нередко слышатся подобные толки о покойном. Они всего прямее указывают то место, какое занимал Аксаков в славянофильской школе. Эти же самые толки всего убедительнее<sup>1</sup> доказывают, что после него это место останется незанятым, что

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: высказанным.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: не славянским.

<sup>3</sup> Далее зачеркнуто неразборчивое слово.



у него не будет преемника. Аксаков останется последним славянофилом.

В самом деле, что такое славянофильство?<sup>1</sup> Было бы ошибкой думать, что это только учение, только известный образ мыслей. Многие и прежде разделяли и разделяют теперь славянофильский образ мыслей, не делаясь славянофилами. И сами славянофилы всегда думали о таких сторонних единомышленниках: *это наши, но это не мы*. Притом славянофильское учение родилось гораздо раньше славянофильства. Славянофилы стали известны в нашем обществе не раньше тридцатых годов текущего столетия, а их идеи, по крайней мере наиболее определенные, наиболее уловимые из них, были в ходу и настойчиво высказывались<sup>2</sup> уже в прошедшем столетии.

## И. А. ГОНЧАРОВ

Май 1901 г.<sup>3</sup>

«Обломов», «От[ечественные] зап[иски]». Мысль романа (351, 353). Только к лучшим дворянам приложимы слова Ольги (354).

— Тетка Ольги — кой-что из Ек[атерины] II (208).

Ольга перетонена и вышла ходульной, неясной (382—3).

— Истое дворянство и истая служба (342 f — 343).

Социально-психологический состав *барина* (344).

— Лучшее в Обломове — честное, верное сердце (447), его х[арактеристи]ка.

— Надгробие крепостному дворянству (463).

— Главные моменты в истории *падения* дворянства.

*Барин* — двусторонняя жертва: 1) приказного, цель к[ото]рого, скопив капиталец за счет дворянина, из разночинцев втереться в дворяне и ввести своих детей в баре (346), и 2) управляющего из немцев, или тех же приказных, вроде Затертого, и, высосав имение, оставить наследникам его одни раскрытые избы.

— Воспитание дворянской лени (365; ч. IV, 283).

— Тентетников и Обломов (в тетради из обрезков р. 5).

14 мая 1909 г.

Что такое *обломовщина*? Кличка изображенного автором строения или жизнепонимания, которую он же сам придумал

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто неразборчивое слово.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто неразборчивое слово.

<sup>3</sup> Над строкой: Монастыри.

и навязал читателю, которому собственно и принадлежит право давать клички писателям и изображаемым ими типам и направлениям. Обломовское настроение или жизнепонимание, личное или массовое, характеризуется тремя господствующими особенностями: это 1) склонность вносить в область нравственных отношений элемент эстетический, подменять идею долга тенденцией наслаждения, заповедь правды заменять на институтские мечты о кисейном счастье; 2) праздное убивание времени на ленивое и беспечное придумывание общественных теорий, оторванных от всякой действительности, от наличных условий, какого-либо исторически состоявшегося и разумно-мыслимого общежития; и 3) как заслуженная кара за обе эти греховные особенности, утрата охоты, а потом и способности понимать какую-либо исторически состоявшуюся или рационально допустимую действительность, с полным обессилием воли и с неврастеническим отвращением к труду, деятельности, но с сохранением оберегаемой бездельем и безвольем чистоты сердца и благородства духа.

Так, нравственное сибаритство, бесплодие утопической мысли и бездельное тунеядство — вот наиболее характерные особенности этой обломовщины. Каждая из них имеет свой источник, глубоко коренится в нашем прошедшем и крупной струей входит в историческое течение нашей культуры...

— Герои Гоголя — длинноногие кузнечики, скользящие по поверхности<sup>1</sup> темного болота, у Гончарова — живые люди, своими действиями освещающие самое дно его; это потому, что первый только зорко наблюдал и великолепно рисовал наблюдаемое, а второй упорно всматривался и вдумчиво прозревал сквозь рассматриваемые явления.

## Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

### «Идиот»

*[Без даты]*

Минута перед припадком. Дает неслыханное чувство гармонии, полноты встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни. Необыкновенное усилие самосознания (I, 270).

Сострадание есть главнейший и, м[ожет] б[ыть], единственный закон бытия всего человечества (I, 275).

<sup>1</sup> Под строкой: ночн[ые] светляки.

Нестерпимые, внезапные воспоминания, особенно сопряженные со стыдом, обыкновенно останавливают на одну минуту на месте (I, 279).

Легкая судорога вдохновения прошла по лицу (I, 300).

Некоторая тупость ума есть, кажется, почти необходимое качество если не всякого деятеля, то по кр[айней] мере всякого серьезного наживателя денег (II, 6).

Все наши отъявленные социалисты больше ничего как либералы из помещиков времен креп[остного] права... Их злоба, негодование, остроумие — помещичьи, даже дофамусовские, их восторг, их слезы — настоящие, м[ожет] б[ыть] искренние слезы, но — помещичьи. Помещичьи или семинарские (Евгений Павлович Радомский)... Русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а на самые вещи, не на русские порядки, а на самую Россию... Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, всё... Это нигде и никогда, спокон веку и ни в одном народе не случалось (Он же, т. II, 15—16). Это оттого, что русский либерал есть покамест еще нерусский либерал... Нация ничего не примет из того, что сделано помещиками и семинаристами (вследствие их отчуждения от нации) (Он же, 14).

Гуляя в задумчивости, *найти* себя, опомнившись (II, 48).

Богатства (теперь) больше, но силы меньше; связующей мысли не стало; все размягчилось, все упрело... (II, 70).

Мы слишком унижаем Провидение, приписывая ему наши понятия, с досад[ы], что не можем понять его (Из исповеди Ипполита) (II, 113).

Тут одна только правда, а стало быть, и несправедливо (в отзыве кн[я]ж[ны] об Ипполите). Аглая Епанчина (II, 129).

Ложь становится более вероятной, если к ней прибавить что-н[и]будь] невероятное. (Она же, 135).

Совершенство нельзя любить; на него можно только смотреть, как на совершенство. Наст[асия] Фил[ипповна] Барашкова в письме к Аглае. (II, 160).

Можно ли любить всех? В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя. (Она же, там же, 161).

«Обыкновенные»: 1) ограниченные и 2) гораздо поумнее. (Из первых) нигилистки стриженные, которые, надев очки, вообразили, что стали иметь свои собственные убеждения. Стоило иному на слово принять к[акую]-н[и]будь] мысль или прочитать страничку что-ни[будь] без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это свои собственные мысли и в его собственном мозгу зародились... Это наглость наивности, эта несомневаемость глу-

пого ч[е]л[ове]ка в себе и в своем таланте у Гоголя в Пирогове. (II, 171—172). Отрава вогнанным внутрь тщеславием от сомнения «умных» обыкновенных людей.

Суметь хорошо войти, взята и выпить прилично чашку чая, когда на вас все нарочно смотрят (246). Говорить тихо, скромно, без лишних слов, без жестов, с достоинством.

«Свет». Князю как-то вдруг показалось (на вечере у Епанч[иных]), что все эти люди как будто так и родились, чтоб быть вместе, что все эти самые «свои люди» и сам он — тоже. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия б[ыло] почти волшебным (II, 256).

Князь о католицизме: нехристианская вера, искаженного Христа проповедует, всемирную госуд[арственную] власть как опору церкви. И социализм — порождение сущности католицизма — из отчаяния, как замена потерянной нравств[енной] власти религии, чтобы спасти жаждущее человечество не Христом, а насилием. Это свобода чрез насилие. В отпор Западу должен воссиять наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали. Русскую цивилизацию им надо нести. Старичок-сановник о случаях перехода русских в католицизм: отчасти от нашего пресыщения, отчасти от скуки. *Князь*: от жажды; оттого переходит прямо в крайнее — в иезуитство, в фантастический атеизм с истреблением веры насилием и т. п. Оттого, что отечество нашел, которое здесь просмотрел. Ренегатство — из боли духовной, из тоски по высшему делу, по родине, в которую веровать перестали, п[отому] что никогда ее и не знали. Атеисты — *веруют* в атеизм как в новую веру, не замечая, что веруют в нуль. Слова старообрядца купца: Кто от родной Земли отказался, тот и от бога своего отказался... Откройте *русскому человеку* русский *Свет* (как Нов[ый] Свет Колумба), покажите в будущем обновление ч[е]л[ове]чества и воскресение его — *м[ожет]* быть одною только русскою мыслью, русским богом и Христом — увидите, какой исполин, могучий и правдивый, мудрый и кроткий, вырастет пред изумленным миром и испуганным, ибо они ждут от нас лишь меча и насилия; не могут, судя по себе, и представить нас без варварства (II, 270—272).

Князь после в[ечера]: Я не имею права выразить мою мысль; я боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и *главную идею*. Я не имею жеста; я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею (279).

Князь: Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать. А слишком скоро поймешь, так, пожалуй, и нехорошо поймешь... Я чтобы спасти всех нас («исконных»), говорю,

чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за всё бранясь и всё проиграв. Зачем исчезать и уступить место другим, когда можно остаться передовыми и старейшими. Будем передовыми, так будем и старшими. (280).

Елиз[авета] Прокоф[ьевна] Епанчина в конце романа: Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И всё это, и вся эта граница, и вся эта ваша Европа, всё это одна фантазия, и все мы за границей одна фантазия! Помяните мое слово, сами увидите! (II, 335)<sup>1</sup>.

«Преступление и наказание». На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваное есть (Разумихин). Первое дело у вас во всех обстоятельствах, чтобы на человека не походить (он же). Они и любят, точно ненавидят (Раскольников). Чтобы умно поступать, одного ума мало (он же). У женщин такие случаи есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленною, несмотря на все видимое негодование (Свидригайлов). Современно-развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужички наши, жить (Порфирий). Проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть к черту. Я только осмелиться захотел (Раскольников). Станьте солнцем, вас все и увидят (Порфирий). Модный сектант, лакей чужой мысли, к[ото]рому только кончик пальчика показать, как мичману Дырке, так он на всю жизнь во что хотите поверит (Он же). Женщина, преданная своему мужу, своим детям и своим добродетелям (Свидригайлов). Всех веселей тот живет, кто всех лучше себя сумеет надуть (он же). В добродетель так всем дышлом въехал (Он же). Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях; откуда-то жида наехали, прячут деньги, и всё остальное развратничает (Он же). Русские люди вообще широкие люди, Авд[отья] Ром[анов]на, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности (Он же).

## А. П. ЧЕХОВ

Кажется, нельзя себе представить скучнее персонажей Чехова, мелочнее дел, какими они занимаются. Какая серая жизнь, какие тусклые лица, где и зачем откопал их автор? — думает

<sup>1</sup> Далее текст написан карандашом.

зритель или читатель, готовясь улыбнуться или вздохнуть с самодовольным пренебрежением,— и вдруг чувствует, что ни кислая улыбка, ни великодушный вздох ему не удастся. В произведениях Чехова не замечаешь автора, становишься глаз на глаз с жизнью, т. е. с самим собой, и думаешь, чем же я лучше их, вот этих всех людей?

Ч[ехов] исподтишка смеется над изображаемой жизнью. Но это ни горько смеющийся плач Гоголя, ни гневно бичующий смех Щедрина, ни тоскующая сатира Некрасова: это — тихая, уравновешенная, болеющая и соболезнающая улыбка над жизнью, не стоящей ни слез, ни смеха. У него не найдешь ни ослепительных образов, ни широко обобщенных типов, ни поразительных житейских столкновений, разбивающих личные существования, ни даже идеалов, замыкающих прорехи мироздания. Всюду под его пером проходит<sup>1</sup> толкущийся на всех сточках жизни, оттиснутый в миллионах экземплярах, везде себе верный и всегда на себя похожий<sup>2</sup>, выработавшийся в исторический перл создания и царящий над миром *средний человек*, субстанция ни то ни сё, серая, поношенная, всегда скучная и никогда не скучающая, ежеминутно умирающая и походя возрождающаяся, но не умеющая, не заботящаяся взять себе в толк, зачем она рождается, для чего живет и почему умирает.

Нелепость до того нелепа, что становится не досадной, а только смешной или печальной.

Художник серых людей и серых будней.

Строй жизни, сотканный из этих нелепостей, не рвется.

[После 26 октября 1899 г.]

У Чехова в литературе два предшественника, с которыми он делал одно дело, но делал по-своему. Гоголь своим горько смеющимся плачем усиленно сгущает на изображаемых лицах темные краски, чтобы сделать эти лица более смешными или отталкивающими, но не касается государственного и общественного порядка, среди которого они живут и подвизаются. Щедрин своим до слез негодующим смехом на спинах своих смешных или жалких героев бичует этот самый порядок, как притон и даже питомник изображаемых им уродов. К такой же дрянной жизни, с такими же дрянными людьми Чехов под-

<sup>1</sup> Далее зачеркнуто: возведенный в перл создания.

<sup>2</sup> Далее зачеркнуто: ежеминутно умирающий и отходя возрождающийся.

ходит со спокойной и снисходительной улыбкой, не сердится и не обличает, не предъявляет ей требований, которых она исполнить не может, не ищет в ней идеалов, которых она не знает и знать не желает. Ни досада, ни уныние не застилают его наблюдательного глаза, потому что наблюдательность его своеобразна. Чехов смотрел на жизнь сквозь то гоголевское стекло, которое, не соперничая со стеклами, возирующими Солнца, передает «движения незамеченных насекомых». Он обладал редким ясновидением бесчисленных микроскопических мелких недоразумений, странностей и нелепостей, из которых соткалась людская жизнь и которых мы обыкновенно не замечаем, не чувствуем и не стыдимся по привычке к ним или по отвычке от размышления, по притупленности самочувствия и совести, как крепко спящий человек не чувствует, что по нему ползет и кусает его. На таком темном, даже мрачном фоне жизни «серыми пятнами» толкуются люди со своими глупыми или преступными делами. «Жизнь скучна, глупа, грязна», — говорит хороший человек в «Дяде Ване».

## ИЗ «ДНЕВНИКА»

22 июля 1865 г.

Мудрые люди много толкуют о необходимости спокойствия духа, которое позволяет ясно смотреть на мир и жизнь и оставаться твердым во всех превратностях мира и жизни. Люди обыкновенные, не одаренные какой-нибудь долей впечатлительности и не лишённые стремления к лучшему, может быть, так же хорошо понимают разумность этого правила в теории и, однако ж, расстаются с ним без сожаления при первой житейской волне, нахлынувшей на них. Даже после, когда, перетерпев много волнений по невнимательности к мудрому правилу, долго проносившись по бурным волнам угрюмого житейского моря, как говорят в стихах, они выберутся наконец на берег измученными и измоченными,— даже и тогда они с какой-то тайной симпатией оглядываются на только что покинутые волны и не жалеют, что забыто было ими на этот раз мудрое правило. Люди благоразумные, окружая их, размахивают руками, ахают и с наставительным упреком указывают на их смешной наряд и беспорядочные, усталые физиономии. И сами они не бросятся добровольно, без нужды в эти волны, на которые теперь они смотрят с такой любовью и с таким раздумьем, но, застигнутые ими неожиданно, они не побегут от них в различные убежища, созданные умом и верой человека. Им сладко чувствовать себя в борьбе, сладко сознавать, что и их силы, подобно этим волнам, поднимаются с глубины души и приходят в напряженное движение. Но какой выигрыш от этой борьбы, большею частью и главным образом происходящий внутри самих борцов, незаметно для посторонних глаз? Личные особенности характеров и различные обстоятельства, посторонние до бесконечности, разнообразят цели и приемы



этой борьбы; но можно сказать, что эти цели и приемы не существенны, случайны в этой борьбе; главное — самая борьба, процесс ее, как в жизни моря главное самое волнение, а не те случайные, мелкие явления, которые происходят вследствие его, как кораблекрушения, выкидывания раковин на берег и т. п. Над процессом, в котором он сам главное, а не результат, обыкновенно смеются, как над делом, похожим на чтение гоголевского Петрушки; но в истории человечества, которая вся состоит из такой трудной работы и дает, однако ж, такие сравнительно неважные результаты, что пессимисты и различные скептики всегда являются с большими правами на бытие и даже внимание, в истории на первом плане всегда остается процесс жизни, а не результаты. Так и в жизни духа: главное в борьбе [то], что из нее может выйти дух, способный к борьбе, к деятельности.

Любопытно следить в обществе за типом этих молчаливых любителей борьбы, истинных житейских борцов; только это дело труднее, чем думают обыкновенно. Трудность происходит оттого, что это большею частью люди скромные, незаметные, ничем не бросающиеся в глаза. Мы привыкли соединять с понятием борьбы энергетические жесты, размахивание руками, высокие тоны в голосе и т. п. Но подобных признаков мы не найдем в наших борцах. Они не имеют ничего общего с обыкновенными героями человеческого общества; они не имеют ничего общего ни с крикунами-самодурами, ругающимися направо и налево, ни с дерзкими фатами, проповедниками истины и добра, и проповедующими это по привычке говорить о том, чего сами не знают, ни с теми блестящими, могучими героями, которые совершают чудные подвиги на славу себе и на удивление людям, которые важно расхаживают такими крупными шагами перед удивленными и аплодирующими зрителями. Ничуть не похожи наши герои на эти жалкие, безобразные остатки гомеровских Агамемнонов, Ферситов и Ахиллесов. Они не похожи и на новый тип тех бескорыстных, благородных, неугомонных двигателей общества, поборников правды и любви к человечеству, резко отмеченных печатью энергии и нервной стремительности, сильно смахивающей на женственность, — этих деятелей нашего века, которым так приятно мутить воспитавшее их родимое болотце. Все эти люди, и старых и новых типов, больше живут внешней жизнью, любят прилагать к себе правило «что в печи, все на стол мечи», — люди, ходящие на пружинах, как бы ни были благодивны эти пружины и как бы далеко ни скрывались они в глубине их души; они так любят рисоваться своей борьбой,

своими подвигами, даже прорехами на платье, полученными в борьбе вместо ран. Нет, наши герои — люди совсем иного рода. Их борьба происходит на заднем дворе человечества, — борьба бесславная, бесшумная, никого не беспокоящая. Эти гномы, подземные карлики, которые работают драгоценные металлы на людей, живущих на поверхности. Оттого их тип наименее обработан и уяснен историческим сознанием человечества. Люди обыкновенные не обращают на них внимания, герои презирают их, а сами они слишком скромны и слишком уважают свое дело, чтобы заявлять о себе человечеству, чтобы тыкать в глаза каждому своим делом. История пропустила их; она отмечает на своих скрижалях только то, что шумит и гремит; но зато ведь так и поверхностна эта наука, так далека от первоначальных источников тех явлений, которые она описывает и исследует. Наши карлики незаметны для наблюдателей и, как карлики подземного мира, даже боятся обращать на себя внимание, бегают от любопытных глаз; но горько почувствовало бы человечество их отсутствие, если бы на минуту прекратили они свою подземную, незримую и неслышную работу на пользу человечества. Трудно наблюдать этих людей; но кто серьезно интересуется жизнью обществ и всего человечества, для того изучение таких людей — важное дело, а встречи с экземплярами этого типа — истинная находка; надо только смотреть в оба и всего менее останавливаться на внешних чертах.

9 июля 1867 г.

Любопытно, какие факты знаменуют время, обличают характер нашей государственной жизни. Начнем с самого верха. В Риге сказывается речь высочайшая о единении с русской семьей как необходимом условии существования инородческих украин России, а министр проводит планы в духе полонизма, о которых и поляк-шляхтич безнадежно покачивает головой. Государь и народ радушно принимают славян, а правительственный орган ругает их и прием, им оказанный. Правительство дало свободу 20 миллионам душ, а правительственный орган скрежещет зубами и проповедует о необходимости патримониальной полиции. Правительство в видах свободы мысли отменило предварительную цензуру, а министр из личной мести дает газете предостережение на другой день по ее возобновлении после запрещения за *неуважение* к началству: мелочная пошлость прикрывается святостью закона. Правительство нуждается в деньгах, продает все, что продать можно, — и сыплет пожизненными пенсиями ничего не сделавшим

тузам, дает какому-нибудь управляющему департаментом барону Врангелю, вору и мошеннику всем известному, до 23 000 жалованья, и между прочим за то, что он подал мнение — при составлении судебного устава — о необходимости жаловать судей орденами. В обществе то же: граф какой-нибудь, Бобринский например, человек *либерального происхождения* (предок — сын Екатерины II и Орлова), прежде считался красным из красных, а теперь один из типических затылков, на которых опирается «Весть». И чрез полвека какой-нибудь педант-историк, окидывая ученым и многоглупым взглядом недавнее минувшее, будет искать в действиях правительства и найдет великие принципы, им руководившие, а в обществе выследит зародыши великих движений и интересов, завязавшиеся в это время. Великие принципы, зародыши великих движений и интересов! Просто великое бессмыслие и жизнь день за день! Вывают же гнусные времена, доживает же до них общество, которому нет оснований отказать в будущем, когда желательными становятся насильственные перевороты!..

*29 июля*

Наше поколение дряхлеет в мечтаниях и самообольщениях. Оно точно молодое дерево, застигнутое холодом во время весны: летнее солнце только сушит его тощие, худосочные листья. Известные учения, всем надоевшие измы выдохлись и брошены; высокообразованные и гуманно развитые люди, впрочем, сохранили немногие капли этих духов в виде благородных, гуманных убеждений и идей; но жизнь безжалостно докалывает эти пузырьки, берегаемые для освежения и подкрепления слабых голов. Это похоже на игру черта с младенцем, и было бы чрезвычайно жестоко, если бы одно недоразумение не делало этой игры смешной и нелепой. Между тем, как дух времени, общество избивает этих младенцев, гниющих в более или менее возвышенных мечтах о будущих лучших временах,

...Когда народы, распри позабыв,  
В великую семью соединятся.

Оно не хочет подумать о том, что эти младенцы — его же дети и живая улика отцов.

*28 мая 1868 г.*

Наука русской истории стоит на решительном моменте своего развития. Она вышла из хаоса более или менее счастливых, но всегда случайных, частных, бессвязных, часто противо-

речивых взглядов и суждений. В ее ходе открылся основной смысл, связавший все ее главные явления, части, остававшиеся доселе разорванными. С этого момента и начинается развитие науки в собственном смысле, ибо только выработкой этого основного смысла явлений кладется прочное основание дальнейшей научной обработке подробностей. Это научное основание нашей истории положено трудом, развивающимся неуклонно почти уже два десятилетия, «Историей России с древнейших времен»...

*18 июня*

Нельзя мыслить без предположений и гаданий. Мысль невольно забегает вперед факта и в области будущего старается положить свои последние результаты. История человечества есть бесконечный ряд фактов, совершающихся независимо от личной воли, независимо даже, по-видимому, от какого-либо индивидуального сознания. В этом отношении они очень похожи на явления природы: и те и другие одинаково проникнуты характером необходимости и, следовательно, сами в себе одинаково чужды сознанию, ибо где действует необходимость, там нет места ни для сознательной воли, ни для свободной мысли. Чтобы овладеть областью таких явлений, мысли необходимо облечь ее покровом своей логики, ибо только под таким покровом и возможно сознание внешнего мира. В истории человечества есть своя связь явлений, свои неизменные законы, столь же чуждые уму и столь же мало покорные его влиянию, как связь и законы явлений природы. Мысль едва в силах обнять необозримую вереницу изменений, пройденных человечеством. Но этот необъятный процесс, этот громадный ряд ступеней, которым первобытный дикарь, дитя и раб внешнего мира, поднялся до сознания какого-нибудь Фихте, отрицающего внешний факт, есть недоигранная драма, роман без развязки и потому не имеет никакого смысла, если мы не поставим в конце его цели, выведенной логически из того смысла, какой сознание даст этому процессу. История слагается из двух великих параллельных движений — из определения отношений между людьми и развития власти мысли над внешним фактом, т. е. над природой. Смысл этого второго движения ясен сам по себе и оставался одним и тем же с первого момента движения. Ход его бесконечен, но результаты легко предвидимы и неизбежны. Мир факта есть мир, совершенно чуждый духу и бессознательный; он существует без него; законы его неизменны, дух может действовать на мир, но не может изменить его законы. Направить их по своему плану,

заставить служить себе — вот его неисчерпаемая задача относительно этого мира. Дух встречает отпор своему действию на мир в неизменности его законов, но только пассивный, оборонительный отпор: обратного такого же воздействия на дух, наступления бессознательный мир оказать не может. Так, с одной стороны, только неподвижный отпор, с другой, постоянное наступление, — вот залог постоянного успеха в борьбе духа с природой. Не то в среде человеческих отношений. Подобно природе эта среда возникла также помимо мыслящего и отвлекающего, т. е. индивидуального духа; он не чертил своих планов, когда завязывался первый узел общества; он не присутствовал при установлении законов, по которым живет и развивается человеческое общество и которые, по-видимому, так же бессознательны, так же неуступчивы влиянию и произволу духа, как и законы безличной природы; он не руководил первоначальными отношениями, сложившимися между людьми: здесь действовали другие силы человеческой природы, менее мыслящие, менее сознательные. Однако ж положение духа в сфере человеческих отношений совершенно другое, нежели в сфере материальной природы; там оно гораздо сложнее и труднее. Эта сфера не чужда ему: он связан с ней неразрывными связями. Возникнув без него, она не может обойтись без него в дальнейшем своем развитии. Он призван быть в нем необходимым активным деятелем; но он — здесь не единственный сознательный активный деятель. Среда, на которую он призван действовать, есть живая создающая себя среда, а не слепая бессознательная природа; его действие встречает не один пассивный отпор от бессознательных сил человеческого общества, но и такое же активное противодействие со стороны других ему подобных умов. Отсюда бесконечная борьба идей, личностей, партий и целей народов. Потому одно основное движение исторического процесса идет быстрее и прямее другого: власть духа над материей развивается быстрее, чем определяются человеческие отношения; законы духа и законы природы сознаны яснее и скорее, чем законы жизни человеческих обществ; там, где метафизика достигла весьма широкого развития и где столько сил природы покорно работают на человека, в общественных отношениях заметно и сильно действует еще много черт, относящихся по своему характеру к поре первоначальных варварских обществ. С самого момента зарождения первого общества до настоящего времени борьба сознательных и бессознательных сил человеческого общества вызвала бесконечный ряд перемен, сопровождающийся страданиями для человека. Высший пункт, который наметило себе человечество как цель трудового процес-

са определения человеческих отношений, но которого оно еще далеко не вполне достигло даже в лучших своих обществах, есть благоустроенное государство и свободная личность. Но эти цели, намеченные сознанием, еще вполне принадлежат к области упований, и разве преувеличивающий глаз способен усмотреть в действительности слабые признаки их осуществления... Благоустройство достигается в государстве ценою страшных жертв на счет справедливости и свободы лица; судя по характеру, какой развивают цивилизованные государства даже в текущем столетии, можно подумать, что они решительно стремятся превратиться в огромные поместья, в которых чиновники и капиталисты с правительствами во главе, опираясь на знание и насилие, живут на счет громадных масс рабочих и плательщиков. С другой стороны, личность, раздражаемая постоянными оскорблениями ее прав, стремится во имя своей свободы разрушить, по-видимому, самые необходимые основания человеческого общества. Вообще эти два начала до сих пор не нашли средств подать друг другу руку. Очевидно, и государство с своими претензиями и аппаратами благоустройства, и личность с своими воспаленными мечтами о свободе суть одинаково преходящие явления, принадлежащие по природе своей к числу тех, от которых человечество успело уже отделаться. Очевидно также, что эти явления не могут дать смысла истории, если жизненный инстинкт не ведет под покровом их движения более разумного, которое дух человеческий направит со временем к своим высшим целям. Это движение идет давно, и его можно охарактеризовать тем, что в борьбе противоположных начал, действовавших доселе наверху человеческих обществ и одинаково проникнутых духом насилия, выковывалась, как в горниле, способность человека правильно понимать и осуществлять свои отношения к человеку. Все в истории служило этой главной цели. Таким образом, многовековая история получает значение школы, в которой люди учились разумно жить друг с другом. Когда это воспитание кончится и начнет давать заметные плоды, тогда разум человеческий, овладев тысячелетним трудом инстинкта, сумеет снять с человечества все школьные аппараты, которые доселе составляли его историю. Что он поставит на их месте, какие начала, какие формы — это скрывается в дали едва гадаемого будущего.

*29 сентября*

Поколение людей, переживающих теперь третий десяток своей жизни, должно хорошенько вдуматься в свое прошлое, чтобы разумно определить свое положение и отношение к отче-

ству. Мы выросли под гнетом политического и нравственного унижения. Мы начали помнить себя среди глубокого затишья, когда никто ни о чем не думал серьезно и никто ничего не говорил нам серьезного. Затем последовали военные бури; с ними совпали первые минуты нашей сознательной жизни, но нам не были известны ни их причины, ни смысл,— да и не нам одним. Восточная война, падение Севастополя, Парижский мир — таковы были первые полученные нами самые свежие и сильные впечатления исторической жизни России, тяжкими камнями повисшие на нашей шее за грех отцов. Под бременем этих впечатлений мы принагнулись и присмирели.

*10 сентября 1876 г.*

Говорят, одушевление к делу южных славян охватило и массы. Даже сильнее, чем интеллигенцию. Хотя говорят это преимущественно газеты, охотно верится этому, охотнее, чем противоположному. Масса увлекается легче, по недостатку анализа; особенно если источник увлечения прост, говорит чувству и бескорыстен. Говорят далее, но уже не газеты, а мыслители, что такое увлечение — небывалое явление в нашей истории, которым можно гордиться. Тем хуже для нас, что мы, прожив тысячу лет, не испытали еще даже такого увлечения. Несмотря на то, можно поверить и этому. Но совсем невероятно мнение, высказанное сейчас С., что этот энтузиазм есть реакция служению мамоне, которому народ русский предался с 1856 г. Нам будто бы надоела грязь материальных похотей, банков, концесий, стало душно в чаду акций, дивидендов, разных узаконенных мошенничеств, и вот народное чувство вырвалось на свежий воздух человеческих, национальных нравственных интересов. Общество всколебалось от страха подернуться плесенью от бездействия и зарости травой от затишья, подобно стоячему пруду.

Таким образом, текущие события вдвойне любопытны: они наглядно показывают, как делаются исторические события и как сочиняются исторические легенды, т. е. как работает исторический прагматизм. Не удивительно, если историки часто открывают в исторических событиях смысл, которого не подозревали их читатели, когда этот смысл был тайной и для современников событий.

Философы-наблюдатели и философы-историки очень часто подражают тому простодушному сыну, которого мать учила говорить при встрече с покойником «царство ему небесное» и который практиковал эту инструкцию при первой же встрече с свадебным поездом.

21 мая 1877 г.

Стала чуть не общим местом фраза, что с каждым поколением падает нравственность. Особенно любят повторять это люди, которым перевалило за 40. Между тем можно надеяться, что народившиеся и имеющие народиться поколения будут нравственнее нас. <...>

### КОНСПЕКТ (1893 г.)

Прежде всего показать, какие пути общения активного и пассивного России с Западной Европой проложены были Петром и после него; что Россия воспринимала с Запада и как в свою очередь действовала на течение западно-европейской жизни. Активное — международное политическое, пассивное — культурное. Они противодействовали одно другому: первое ставило политическую жизнь Европы в зависимость от России, второе ставило Россию в зависимость от Европы. Это противоречие в тогдашнем положении России. Но противоречиями поддерживается движение, развитие. Двойкий выход в XVIII в.: попытки установить разборчивое отношение ко второму и сделать необходимым (для европейского равновесия) первое. Перипетии в отношении к западному влиянию с Петра I. Объем влияния до Екатерины II. Расширение сферы влияния при ней (идеи, литература, искусство). Проблески скептицизма в отношении к Западу и помыслы о национальной самобытности (Фонвизин и Болтин). Революция переносит реакцию из области мысли в политику <...>

Политические вопросы д[олжны] быть в программе. Только от преподавателя и могут они быть усвоены и разъяснены. «Вы должны помнить, что вы профессор и преподаете, что находите нужным. Делайте, что следует делать, а что из этого выйдет, за это вы не отвечаете». Наше дело сказать правду, не заботясь о том, что скажет какой-нибудь гвардейский штаб-ротмистр. Надобно рассеять мнения и предубеждения самоуверенного окружающего невежества: «конституция — нелепость, а республика — бестолочь». У России общие основы жизни с Западной Европой, но есть свои особенности. Что теперь несвоевременно, то еще нельзя назвать нелепостью; робкое предположение, что со временем мы примем европейские политические формы (и даже скоро), рано или поздно установим те же порядки, хотя и с некоторыми особенностями. Надобно исторически показать происхождение и смысл этих форм и стремлений. Нечего есть, и потому народы требуют обдуманного распоряжения его деньгами.



Против догматизма. Я за это: историческое изложение покажет, что новое начало не произвол мысли, а естественное требование жизни.

⟨...⟩ Учителя истории дают уроки истории, но не сама история: зачем ей это делать, когда на то есть у ней учителя?

История, г[ово]рят не учившиеся ист[ории], а только философств[овавшие] о ней и потому ею пренебрегающие — Гегель, никого ничему не научила. Если это даже и правда, истории нисколько не касается как науки: не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. Но это и неправда: история учит даже тех, кто у нее не учится; она их поучает за невежество и пренебрежение. Кто действует помимо ее или вопреки ее, тот всегда в конце жалеет о своем отношении к ней. Она пока учит не тому, как жить по ней, а как учиться у нее (доказывает свою пользу), она пока только сечет своих непонятливых или ленивых учеников, как желудок наказывает жадных или неосторожных гастрономов, не сообщая им правил здорового питания, а только давая им чувствовать ошибки их в физиологии и увлечения их аппетита (слепые не видят цветов). История — что власть: когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость и ценить ее благоденствия.

*30 апреля 1903 г.*

⟨Русь и Запад. Сходство и отличия⟩

Сопоставляя удельные и феодальные отношения, мы заметили в тех и других сходные черты, но не нашли сходства начал, оснований. Теперь можно объяснить происхождение этой видимой несообразности. Она произошла оттого, что политическая жизнь феодальной Европы и удельной Руси шла в противоположных направлениях. На Западе синьории и баронии, на которые распадалась империя Карла Великого, формировались по образцу целого, которое они разрушали, и даже мелким феодалам передавали черты своего склада, какие тем дозволено было воспринять и какие они в состоянии были воспринять от своих первообразов. Феодальная Европа была, собственно, развалившаяся империя Карла Великого, из которой рефлексивно и с местными преломлениями феодальный порядок распространялся потом в соседних с ней странах. У нас, напротив, удельный порядок сложился не из развалин очередного, не в пределах Киевской Руси, а сбоку ее, в соседнем окско-волжском междуречье, как новая политическая масса колонистов перенесла сюда с брошенных пепелищ только два прочные кадра поли-

тического и гражданского порядка; это были князь с своими державными правами и боярин с своими холопами. Первый образовал удельное княжество, новую политическую форму, а второй восстановил на новом социальном грунте старую боярскую вотчину, село с челядью и с вольнонаемным закупом — крестьянством. Но и княжеский удел сложился по типу боярской вотчины, а Московское государство, собравшее уделы, сформировалось по образцу своих составных частей и составило вотчину своих собирателей, московских государей. Так на феодальном Западе политическая жизнь шла сверху вниз, путем дробления целого на части, а в удельной Руси обратно снизу вверх, путем сложения частей в целое. Там низшие политические формации усвоили форму высшей, которую они разрушали, а у нас, напротив, высшая усвоила форму низших, из которых она слагалась. Путь одинаков там и здесь, но неодинаковы направления хода; отсюда сходство явлений и различие процессов. 26 декабря.

*7 апреля 1904 г.*

После Крымской войны русское правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и русская интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь в японскую войну русский народ начинает понимать, что и его правительство, и его интеллигенция равно никуда не годятся. Остается заключить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции.

*24 апреля 1906 г.*

В продолжение всего XIX в[ека] с 1801 г., со вступления на престол Ал[ександра] I, русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность: оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. Так было при Александре I: Сперанский со своими конституционными проектами стал таким невольным провокатором, чтобы вывести на свежую воду декабристов и потом в составе следственной комиссии иметь несчастье плакать при допросе своих попавшихся политических воспитанников. При имп[ераторе] Николае I правительственная провокация изменила тактику. Если нахальная аракачевщина, сменившая стыдли-

вую, совестливую сперанщину, стремилась заговор вытолкнуть на вооруженное восстание, то Николай I своей предательской бенкендорфщиной старался вогнать общественное недовольство в заговор. Удачный исход, опыт такой стратагемы, испробованный над поляками, надолго парализовал русские конспиративные силы, разбил их на бессильные кружки, и дело петрашевцев ярко обличило их бессилие. Были негодующие люди, как Герцен, Грановский, Белинский, но не было угрожающих, постыдное царствование имп[ератора] Николая I благополучно кончилось севастопольским поражением и Парижским миром. Настоящим питомником русской конспирации было правительство имп[ератора] Александра II. Все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены, кроме разве реформы судебной и воинской. Монарх мудро соизволял, призванные работники, как братья Милютины, Самарин, самоотверженно проектировали, а ввязавшиеся в дело министры камарильи вроде Ланского, Толстого, Валуева, Тимашева разделявали циркулярами высочайше утвержденные проекты в насмешки над народными ожиданиями. Царю-реформатору грозила роль самодержавного провокатора: Александр II вступал на путь первого Александра. Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали. Полиция, не довольствуясь преследованием нелегальных поступков и чуя глухой ропот, хотела читать в умах и сердцах посредством доносов и обысков, отставками, арестами и ссылками карала предполагаемые помыслы и намерения и незаметно превратилась из стража общественного порядка в организованный правительственный заговор против общества. Гр[аф] Толстой с Катковым создали целую систему школьно-полицейского классицизма с целью наделать из учащейся молодежи манекенов казенно-мундирной мысли, нравственно и умственно оскопленных слуг царя и отечества. Этими глубоко продуманными мерами преподаны были обществу, особенно подраставшему поколению, прекрасные уроки противоправительственной конспирации, плодотворно и быстро разросшейся на возделанной правительством почве общественного озлобления. Покушения участились и завершились делом 1 марта. Наступило царствование Александра III. Этот тяжелый на подъем царь не желал зла своей империи и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал ее положения, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких требует игра политическая не менее, чем карточная. Сметливые лакеи самодержавного двора без тру-

да заметили это и еще с меньшим трудом успели убедить благодушного барина, что все зло происходит от преждевременного либерализма реформ благородного, но слишком доверчивого родителя, что Россия еще не созрела до свободы и ее рано пускать в воду, потому что она еще не выучилась плавать. Все это показалось очень убедительно, и было решено раздавить подпольную крамолу, заменив сельских мировых судей отцами-благодетелями земскими начальниками, а выборных профессоров назначаемыми, прямо из передней министра народного просвещения. Логика петербургских канцелярий вскрылась догола, как в бане. Общественное недовольство поддерживалось неполнотой реформ или недобросовестным, притворным их исполнением. Решено было окорнать реформы и добросовестно, открыто признаться в этом. Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ — у вас отнимут и старые; вы негодовали на недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ — вот вам добросовестное исполнение высочайше искаженных реформ. Так правительственная провокация получила новый облик. Прежде она подстерегала общество, чтобы заставить его обнаружиться; теперь она дразнила общество, чтобы заставить его протерять терпение. Результаты соответствовали изменению провокаторской тактики: прежде так или этак вылавливали подпольных крамольников, теперь и так и этак загоняли открытую оппозицию в подпольную крамолу.

*8 сент[ября] 1906 г.*

Перестраиваются не политические понятия и общественные интересы, а политические чувства и социальные отношения; думают не о том, что делать и как устроиться, а о том, что можно сделать и захватить и чего нельзя, кто враг и кого потому надо побить и кого опасно бить. Политическая революция разделяется в социальную усобицу, и само правительство превращается в одну из социальных партий, только маскируясь в личину государственного органа.

*22 октября 1906 г.*

Поместный собор имеет смысл только как местный орган собора вселенского. Но вселенского собора нет; следовательно, его местные органы могут быть только мертвыми членами разорванного организма. Местные православные церкви, теперь существующие, суть делочные полицейско-политические учреждения, цель которых успокоить наивно верующие совести одних и зажать крикливо протестующие рты других. Обе эти цели при-

водят к третьей, самой желанной для правящей церковной иерархии, это полное равнодушие мыслящей и спокойной части общества к делам своей местной церкви: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Русской церкви, как христианского установления, нет и быть не может; есть только рясофорное отделение временно-постоянной государственной охраны.

*Ранее 7 января 1905 года*

⟨...⟩ Бюрократия есть сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не переставшая быть сильной. Вы без нее не обойдетесь или сами в нее переродитесь.

Но наши силы понадобятся нам не на Моховой только, а на более обширном пространстве. Народ, господа, пробуждается, протирает глаза и желает рассмотреть, кто — кто.

Ряд превосходных приват-доцентов, с честью заменяющих профессоров. Но последних нет, и я не присутствую.

России больше нет: остались только русские.

*Ранее 30 января 1911 г.*

## ОБЩИЕ ЗАМЕТКИ

Посредник между правительством и крестьянином — помещик создан в XVIII в. после 1762 г.

Описанные до стр. 22: крепостное состояние — не наше холопство: не личная, а реальная неволя; везде элемент права, крепки земле.

Крепостной труд — ежеминутный саботаж — работа, низверженная до допускаемого законом минимума.

Нынешняя политика: менять законы, реформировать права, но не трогать господствующих интересов.

Чем более сближались мы с Западной Европой, тем труднее становились у нас проявления народной свободы, потому что средства западноевропейской культуры, попадая в руки немногих тонких слоев общества, обращались на их охрану, не на пользу страны, усиливая социальное неравенство, превращались в орудие разносторонней эксплуатации культурно безоружных народных масс, понижая уровень их общественного сознания и усиливая сословное озлобление, чем подготавливали их к бунту, а не к свободе. Главная доля вины на бессмысленном управлении.

Земледелием кормятся в Англии 17%, в Германии 35,5%, Франции, России 75%.

30 января 1911 г.

В нашем обществе, проходящем еще периоды геологического образования, каждое сильное лицо само вырабатывает понимание вещей и правила своей деятельности из самого процесса своей личной жизни, свободной от преданий, заветов, чужих опытов. Он, как Адам, дает вещам свои имена. Отсюда разнообразие характеров и неуловимость типов, рыхлость общества и непривычка к дружной деятельности плотными крупными союзами. У себя дома мы сильнее, чем на улице. Личный интерес господствует над общественным.

Противоречие в этнографическом составе Русского государства на западных европейских и восточных азиатских окраинах: там захвачены области или народности с культурой гораздо выше нашей, здесь — гораздо ниже; там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их уровня, здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня. Там и здесь неровни нам и потому наши враги.

Умолчание, Свобода законов об юридических и политических основах права крепости производит такое впечатление, что обе стороны, правительство и дворянство, признали это право чем-то таким, что превратится в постыдное и ни в каком государстве не допустимое безобразие, как скоро в него будет внесена хотя микроскопическая доза права.

У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобию, пародии: quasi-министры, quasi-просвещение, quasi-общество, quasi-конституция, и вся наша жизнь есть только *quasi una fantasia*.

Павел, Александр I и Николай I владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, упражняли на ней свою волю, не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага.

Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро.

1. Н а ш а и с т о р и я XVIII и XIX вв. Коренная аномалия нашей политической жизни этих веков в том, что для поддержания силы и даже существования своего государства мы должны были брать со стороны не только материальные, но для их успеха и духовные средства, которые подрывали самые основы этого государства. Люди, командированные правительством для

усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему ненужный и даже опасный. Отсюда двойная работа внутренней политики: 1) поставить народное образование так, чтобы наука не шла дальше указанных ей пределов и не перерабатывалась в убеждения, 2) нанять духовные силы на свою службу, заводя дома и за границей питомники просвещенных борцов против просвещения. Трагизм положения в XIX в. — против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещенный на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества.

### *27 февраля*

2. Павел погиб от матерней придворной знати подобно азиатским деспотам. Либерализм его старшего сына — азиатская трусость, старавшаяся заслониться от этой старой екатерининской знати английски воспитанной либеральной знатной молодежью, потом сволочью вроде Аракчеева. Но о связи нравственной с русским обществом он, может быть, думал только в первые годы. 14 декабря показало и случайному царю, и придворной знати их общего врага — дворянскую европейски образованную и пропитавшуюся в походах освободительными влияниями Запада гвардейскую офицерскую молодежь. Отсюда две тенденции нового царствования. Первая — обезвредить гвардию политически, сделав из нее со всей армией автоматический прибор для подавления внутренних массовых движений; здесь, а не в военно-балетном увлечении источник скотски бессмысленной фрунтовой выправки. Другая тенденция — вывести вольный дух в классах, доступных западным веяниям. С достижением обеих целей — возможность эксплуатировать непонятого и потому страшного зверя — народ. Двойной страх вольного духа и народа объединял династию и придворную знать в молчаливый заговор против России. На Сенатской площади голштинцы живо почувствовали свое нравственное отчуждение от страны, куда занес их политический ветер, и они искали опоры в придворном кругу, в который Николай старался напихать как можно больше немцев. С вольным духом в обществе надеялись справиться жандармскими умами, а с крестьянским народом — приставленными к нему пьявками в виде помещиков с их выборными предводителями и судебно-полицейскими агентами. Александр I относился к России, как чуждый ей трусливый и хитрый дипломат, Николай I — как тоже чуждый и тоже напуганный, но от испуга более решительный сыщик.

---

...Предмет истории — то в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неконченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, т. е., изучая предков, узнаем с а м и х с е б я . Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться, механическими куклами, которые не р о д я т с я , а д е л а ю т с я , не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу.

В преданиях и усадьбах старых русских бар встретим следы приспособлений комфорта и развлечения, но не хозяйства и культуры; из них можно составить музей праздного баловства, но не землевладения и сельского управления. <...>

Схема истории х о л о п с т в а в России. Военное или экономическое насилие превратилось в юридический институт, который посредством продолжительной практики превратился в привычку, а она по отмене института осталась в нравах, как нравственная болезнь. 19 июля. <...>

Современный трезвый и благоразумный человек видит только нескладицу житейских отношений, не видя в них внутреннего смысла, и, не думая об их исправлении, старается только направить их в свою пользу. Личный эгоизм — единственная гармония жизни для него. В жизни он видит только прорехи и щели, не штопая их мечтами, не замазывая их дон-



кихотскими порывами, и спокойно плюет в них, когда нельзя в них просунуть пальца для благоприобретения чужой вещи без взлома.

Честолюбцы фантазии и натуги; первые — сами себя догоняющие, вторые — сами от себя отстающие. Оба поставят себя на высокий пьедестал и потом карабкаются, чтобы подняться до своего призрака.

**Р а с к о л .** Два момента надо различать в его происхождении: нравственно - психологический — перевод в каждом отдельном раскольнике, откалывавшемся от церкви, и церковно - канонический — образование церковного сектантского общества из отколовшихся. С условиями государственной и народной гражданской жизни связан наиболее первый.

*Около 3 марта 1898 г.*

Наполеон — политический Вольтер не более, как и Вольтер — литературный Наполеон, тоже не более. Оба — люди, знавшие, что они начинают, и не знавшие, чем кончат.

Весь успех естествознания в том, что центр внимания перенесен с причин на следствия.

В России все элементы культуры парниковые, казенные: все, и даже анархия, воспитано и разведено на казенный счет.

Видит дальше, чем смотрит.

От его речей слишком пахнет словами.

Пошлость, возвышающая до степени таланта своего рода.

Император Николай I — военный балетмейстер и больше ничего.

Россия на краю пропасти. Каждая минута дорога. Все это чувствуют и задают вопросы, что делать? Ответа нет.

Интеллигенция не создает жизни и даже не направляет ее. Она не может ни толкнуть общество на известный путь, ни своротить его с пути, по которому оно пошло. Но она наблюдает и изучает жизнь. Из этого наблюдения и изучения, веденного по местам многие века, сложилось известное знание жизни, ее сил и средств, законов и целей. Это знание, добытое соединенными усилиями и опытами разных народов, есть общее достояние человечества. Оно хранится в литературе, переходит в сознание лиц и народов помощью образования. Каждый отдельный народ стоит ниже этого научного запаса;

не было и нет народа, участвовавшего в общей жизни человечества, который всей своей массой знал бы все, до чего додумалось человечество. Посредницей в этом деле между человечеством и отдельными народами должна быть его интеллигенция. Она не дает направления своему народу и даже очень редко правит им в данном не ей направлении. Ее задача угадать это направление и его возможные последствия и потом следить за движением, его ровностью и прямоотой, подмечать скачки и уклонения, вовремя указывать на встречные препятствия и возможные потребности и на средства для их устранения или удовлетворения. Чтобы справиться с этой задачей, интеллигенция должна понимать положение своего народа в каждую данную минуту, а для этого понимания необходимы два условия: знать точно дела своего народа и знать научный запас человеческого ума. Чтобы понимать, что делается с народом, что откуда пошло у него, как идет и к чему придет, нужно знать, как и чем живет человечество, знать пружины, средства и цели его жизни. Интеллигент — диагност и даже не лекарь народа. Народ сам залижет и вылечит свою рану, если ее почувет, только он не умеет вовремя замечать ее. Вовремя заметить и указать ее — дело интеллигенции, а чтобы заметить неправильность отправления в жизни известного народа, необходимо знать физиологию всего человечества. Ее дело:

1) Основания жизни одинаковы у всех европейских обществ, но культуры различны.

2) Местная интеллигенция — посредница между общечеловеческим знанием и своим обществом.

3) Ее дело — понимать положение своего общества и давать нужные справки практическим дельцам.

4) Для того ей нужно следить за движением человеческого ума и за ходом своей местной жизни.

Жить своим умом — не значит игнорировать чужой ум, а уметь и им пользоваться для понимания вещей.

Доморощенное, незаимствованное понимание не есть бессознательный взгляд на вещи, сложившийся дома, а верное понимание своих домашних дел, хотя бы и с содействием сторонних указаний.

*Не ранее 1901 г.*

...Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы им удовлетворительно управляли, сказать своим управителям: «Правьте нами так, чтобы нам удобно жилось». Но бюрократия

думает обыкновенно иначе и расположена отвечать на такое требование: «Нет, вы живите так, чтобы нам удобно было управлять вами, и даже платите нам хорошее жалованье, чтобы нам весело было управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению и потому что ваши потребности несовместимы с образом правления, которому мы служим органами».

*Не ранее 1907 г.*

...Петр был жертвой собственного деспотизма. Он хотел насильем водворить в стране свободу и науку. Но эти родные дочери человеческого разума жестоко отомстили ему.

*Не ранее 1907 г.*

Петр не создал ни одного учреждения, которое, обороняя интересы народа и на него опираясь, могло бы встать на защиту своего создателя и его дела после него.

Деятельность Петра сплелась из противоречий самодержавного произвола и государственной идеи общего блага; только он никак не мог согласить эти два начала, которые никогда не помирятся друг с другом.

Меншиков, не брезговавший ремеслом фальшивого монетчика для определения искусства Петра выбирать людей.

Апраксин, самый сухопутный адмирал, полный невежа в навигации, но добродушный хлебосол. ...Он — враг реформы. Порицать Петра — не значит оправдывать его преемников.

...Наигранная грация Екатерины II, какую приобретает скромная, но энергичная женщина многолетней работой над собой, над своей богато одаренной, но не режущей праздных глаз красивой природой. Она была заезжей цыганкой в Российской империи.

Сердце Екатерины никогда не ложилось поперек дороги ее честолюбию.

С Александра I они почувствовали себя Хлестаковыми на престоле, не имеющими, чем уплатить по трактирному счету. Их предшественницы — воровки власти, боявшиеся повестки из суда.

*Около 9 февраля 1908 г.*

Павел — Александр I — Николай I.

В этих трех царствованиях не ищите ошибок: их не было. Ошибается тот, кто хочет действовать правильно, но не умеет.

Деятели этих царствований не хотели так действовать, потому что не знали и не хотели знать, в чем состоит правильная деятельность. Они знали свои побуждения, но не угадывали целей и были свободны от способности предвидеть результаты. Это были деятели, самоуверенной ощупью искавшие выхода из потемков, в какие они погрузили себя самих и свой народ, чтобы закрыться от света, который дал бы возможность народу разглядеть, кто они такие.

Инициаторами покушений были старые столбовые и промозглые крепостники-дворяне, а исполнителями — мелкое обносившееся радикальное барье, которое двигалось, как марионетки, не сознающие, кто ими двигает. Так заложена была мина, которая при помощи длинного подпольного провода лишилась возможности знать собственный ударный пункт.

Сумасбродство Павла признают болезнью и тем как бы оправдывают его действия. Но тогда и глупость, и жестокость тоже болезнь, не подлежащая ни юридической, ни нравственной ответственности. Тогда рядом с домами сумасшедших надобно строить такие же лечебницы для воров и всяких порочных людей.

## XIX ВЕК

Огонь передаваем, но неделим — русские самодержавные министры. Закон — основа бесправия.

1) Внешний размах государственной силы. Сокрушение Наполеона. Священный союз. Завоевания на Дунае, на Балтийском море, на западном берегу Каспийского моря, на восточном Черного, создание новых государств на Балканском полуострове, в Среднюю Азию, течением Амура. Проверяем географию, ревизуем, все ли на месте, что там написано.

2) Подъем законодательства и учредительства. Централизация управления. Свод законов. Освобождение крепостных. Новый суд. Земские учреждения. Институт земских начальников. Учреждение государственной охраны.

3) Расцвет русской литературы и русского искусства, русского творческого гения. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Тургенев. Гончаров. Граф А. Толстой. Граф Толстой — яркая звезда на мировом культурном небосклоне. Искусства. Не говорю о научных успехах (сам прилип, как слизняк, к этой скале гранитной). Система учебных заведений 1804 и других годов.

4) И за этими тремя как будто светлыми сторонами жизни открывалась четвертая — совсем теневая, даже мрачная: небывалый организованный гнет правительственной опеки

и полицейского сыска (3-го отделения Собственной канцелярии). Всякое движение свободного духа заподозривается как подкоп под основы существующего порядка. § 5 с листка ор.

Что значат все эти явления? Какой смысл в этом хаосе? Это задача исторического изучения. Мы не можем идти ощупью в потемках. Мы должны знать силу, которая направляет нашу частную и народную жизнь. С 1801 г. два параллельные интереса: постройка европейского государственного фасада и самоохрана династии.

*1908 (ноябрь)*

1 апреля Екатерины I. 1908 (ноябрь). Эпоха воровских правительств, которые сами стыдятся своей власти, но держатся за нее без всякого стыда.

Понимаю затруднения Извольского: ни армии, ни флота, ни финансов — только орден Андрея Первозванного. Политическая свобода — родная дочь науки...

*1908 г.*

В нашем настоящем слишком много прошедшего; желательно было бы, чтобы вокруг нас было поменьше истории.

*9 января 1909 г.*

Самовластие само по себе противно; как политический принцип, его никогда не признает гражданская совесть. Но можно мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соединяется с самопожертвованием, когда самовластец, не жалея себя, самоотверженно идет напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодолимые препятствия и даже о собственное дело. Так мирятся с бурной весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух и своим ливнем помогает всходам нового посева.

*Около 2 января 1910 г.*

Тяжелыми налогами государство раздуло свои силы, значение выше меры и нужды и хватало задач и затруднений не по силам. Государство игры и авантюры.

1910 г.

Римские императоры обезумели от самодержавия; отчего императору Павлу от него не одуреть?

Ливрейная аристократия передней.

1900-е годы

Высшая иерархия из Византии, монашеская, насела черной бедой на русскую верующую совесть и доселе пугает ее своей чернотой (Петр I).

Мысль Ордина о славянском союзе блеснула ночью и погасла, как грозовая искра.

Новый военный порядок Петр создал не столько официальными указами, сколько письмами, частичными распоряжениями по отдельным случаям без соображения с законом. Это не законодательство, а личные распоряжения деспота, вышедшего из рамок закона.

Новые законы только затрудняли разрушение старого порядка, укрепив его законными подпорками.

Древнерусский царь сам потерялся в своих тарелках.

Игра старых бар в свободную любовь со своими крепостными девками (конституционные похоти Александра I).

Петр I. Его возбужденное настроение при его взрывчатости всех настраивало.

Петр сунулся в эту войну, как неофит, думавший, что он все понимает.

Победители — еще шаг — попросили бы пощады у побежденных. Это была не трусость — Петр не был трус, — а обдуманная глупость, внимание к чужому глупому уму.

Детальность работы — необъятная переписка царя-героя с мелкими исполнителями.

Итак, война была истинной виновницей реформы. Петр засиделся в своей школе.

Поход Карла в 1700 г. — совершенно варяжский шальной набег IX в. Потом мелкая война, взаимное кровососание.

Шведский мальчик — викинг, ставший к 1709 г. совершенно шальным варягом вроде нашего Святослава.

Петербургом Петр зажал Россию в финском болоте, и она страшными усилиями выбивалась из него и потом утрамбовывала его своими костями, чтобы сделать из него Невский проспект и Петропавловскую крепость — гигантское дело деспотизма, равное египетским пирамидам.

Петр учился быть адмиралом и кораблестроителем, а пришлось быть прежде всего сухопутным генералом, организатором армии, а не флота. Он готовил флот прежде, чем приобрел море, и рисковал посадить свой флот на сухопутное гниение, как сгнила на берегу его переяславская флотилия.

...Из большого и пренебрегаемого полуазиатского государства Петр сделал европейскую державу, ставшую еще больше прежнего, но больше прежнего и ненавидимую. Он лучше обеспечивал внешнюю безопасность этого государства, но усилил международный страх к нему, международную злобу против страны.

Реформа Петра вытягивала из народа силы и средства для борьбы господствующих классов с народом.

Перерождение умов посредством штанов и кафтанов. Мистика.

В коалиции терпел поражение, а побеждал один на один (Доброе, Лесное, Полтава).

После Петра государство стало сильнее, но народ беднее.

Ход реформы от войны: до 1708 г. письмами и чрез лиц, потом указами и чрез учреждения.

Регулярная армия, оторванная от народа, стала послушным орудием против него, а внешняя политика, опираясь на нее, создавала престиж власти, который еще более подменял идею государства народным династией и полицией.

Не было ломки старых учреждений для постройки новых, а был постепенный развал московских одновременно с возникновением петербургских.

Через Полтаву он выходил на большую европейскую дорогу.

Он по-прежнему оставался туп к пониманию нужд народа.

Но он стал более чуток к условиям своего международного положения: он понял, что начинается игра не по карману. Предстояла роль нищего богача.

Как человек, не привыкший к гражданскому строительству, он колебался, ошибался, идя в потемках. Все проще с кого взыскать, кому поручить, кого побить.

Не переиздавалось существующее, а создавалось вновь, чего не было: не преобразования, а новообразования. План, как он выяснился путем дробных мер к концу. Не военные дела, а военные успехи и созданное ими положение России — источник реформы.

Ход: сперва беглый указ или спешное письмо намечало пробел, недостаток, вскрытый войной; потом чрез Сенат разрабатывались учреждения, закон, регламент или инструкция.

Обременение народа различными мастерами, рихтерами, комиссарами, ратами, министрами, преимущественно из иностранцев: целое нашествие баскаков, темников, численников.

Щебень для мостовых. Все понятия об обществе, государстве, народе, семье сгнили в этом разгуле распущенности, безделья и произвола.

Бесправие, покоившееся до поры до времени по привычке, народной инерции, Петр преобразил в организованную силу, в государственное учреждение, против которого надо было бунтовать.

Проволока, по которой шли все распорядительные токи, был деспотизм.

Петр I. Он действовал как древнерусский царь-самодур; но в нем впервые блеснула идея народного блага, после него погасшая надолго, очень надолго.

Чтобы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага.

Понимал только результаты и никогда не мог понять жертв.

Петр увлекался Европой с финансово-технической, а не с политической и нравственной стороны, мог приучить свои руки к приемам по работе мастера, но не думал приучать своей мысли к принципам политического мыслителя вроде Пуффендорфа или Гуго Гроция.

## Александр I

Свободомыслящий абсолютист и благожелательный неврастеник. Легче притворяться великим, чем быть им.

Схоластика — точильный камень научного мышления: на нем камни не режут, но об камень востряют.

С 25 февраля 1730 г. каждое царствование было сделкой с дворянством, и если сделка казалась нарушенной, нарушившая сторона подвергалась преследованию противной и ссылкой или заговором и покушениями.

Верховной власти нет как источника прав и полномочий, она только штемпель на актах прав и полномочий, не политическая сила, а механический сертификат. Настоящая верховная власть есть двор.

Правительство не может ни воспитывать, ни развращать народа: оно может только его устроить или расстраивать.



Воспитание народа — дело правящих и образованных классов, интеллигенции.

Тот, кто пишет «быть по сему», есть только стальное перо и больше ничего.

Самодержавие — бессмысленное слово, смысл которого понятен только желудочному мышлению неврастеников-дегенератов.

Церковная иерархия не обладает в достаточной для минуты мере ни подготовкой, ни постановкой.

Русский простолюдин — православный — отбывает свою веру, как церковную повинность, наложенную на него для спасения чьей-то души, только не его собственной, которую спасти он не научился, да и не желает: «Как ни молись, а все чертям достанется». Это все его богословие.

Но обращаемся к прошлому, чтобы забыться на воспоминаниях от тяжелых впечатлений, убежать в прошлое от настоящего. Постыдное бегство! Наши идеалы не в прошедшем, а в будущем.

Русские цари — не механики при машине, а огородные чучела для хищных птиц.

Цари — те же актеры, с тем отличием, что в театре мещане и разночинцы играют царей, а во дворцах цари — мещан и разночинцев.

Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могли жить лишь в допотопное время.

Наши цари были полезны, как грозные боги, бесполезны и как огородные чучела. Вырождение авторитета с сыновей Павла. Прежние цари и царицы — дрянь, но скрывались во дворце, предоставляя эпическо-набожной фантазии творить из них кумиров. Павловичи стали популярничать. Но это безопасно только для людей вроде Петра I или Екатерины II. Увидев Павловичей вблизи, народ перестал их считать богами, но не перестал бояться их за жандармов. Образы, пугавшие воображение, стали теперь пугать нервы. С Александра III, с его детей вырождение нравственное сопровождается и физическим. Варяги создали нам первую династию, варяжка испортила последнюю. Она, эта династия, не доживет до своей политической смерти, вымрет раньше, чем перестанет быть нужна, и будет прогнана. В этом ее счастье и несчастье России и ее народа, притом повторное: ей еще раз грозит бесцарствие, смутное время.

Московское государство Иоаннов — вотчинное государство с трудно дававшейся идеей национально-церковного союза, управляемого при посредстве молчаливого местнического со-

глашения государя с бывшими вотчинниками. Государство первых Романовых — национальный русский союз со свежими воспоминаниями и привычками вотчинного порядка, управляемый посредством класса военных слуг, содержимых на счет управляемого народа. Центр тяжести в первый период — в Боярской думе, во второй — в Разряде. Постельное крыльцо взяло верх над Передней.

Дворянство — «верноподданные бунтари». Оно привыкло окружать престол с вечно протянутой рукой попрошайки и трясти его за неподатливость.

Самодержавие — не власть, а задача, т. е. не право, а ответственность. Задача в том, чтобы единоличная власть делала для народного блага то, чего не в силах сделать сам народ чрез свои органы. Ответственность в том, что одно лицо несет ответственность за все неудачи в достижении народного блага. Самодержавие есть счастливая узурпация, единственное политическое оправдание которой непрерывный успех или постоянное умение поправлять свои ошибки или несчастья. Неудачное самодержавие перестает быть законным. В этом смысле единственным самодержцем в нашей истории был Петр Великий. Правление, сопровождавшееся Нарвами без Полтав, есть бессмыслица.

При Екатерине II когти правительства остались те же волчьи когти, но они стали гладить по народной коже тыльной стороной, и добродушный народ подумал, что его гладит чадолюбивая мать.

*28 марта*

В Европе царей Россия могла иметь силу, даже решающую; в Европе народов она — толстое бревно, прибываемое к берегу потоком народной культуры. Когда в международной борьбе к массе и мускульной силе присоединилась общественная энергия и техническое творчество ломившейся вперед России, где этих новых двигателей не было заготовлено, пришлось остановиться и только отбиваться, чтобы не отступить.

В истории русской жизни есть столько и таких незатронутых вопросов, что затронуть их составит славу тех, кто их только затронет, хотя и не решит.

Меня отпевают и даже готовят мне памятник. Но я еще не умер и даже не собирался умирать. Напротив, я жить хочу или по крайней мере долго умирать, но не скоро умереть. Поэтому за Ваше здоровье.

Реформаторы 60-х годов очень любили свои идеалы, но не знали психологии своего времени, и потому их дух не сошелся с душой времени.

## ЭТИКА И ЭСТЕТИКА

Западная Европа и Россия.— социализм и капитализм.

Высший момент — наслаждение собственной мыслью, победившей природу.

Искусство — слуга не воли, а мысли, не практики, а науки. Выплывут, плывя отдельно, но утонут оба, решившись спастись друг друга.

Будем ходить в театр, чтобы возвращаться домой веселыми и уравновешенными, и покинем самообольщение, что воротимся оттуда добродетельными. Не будем смешивать театр с церковью, ибо труднее балаган сделать церковью, чем церковь превратить в балаган. Театралы от этого не выиграют, но молельщики проиграют: первые, оставаясь театралами, не станут молельщиками, но вторые перестанут быть ими, не став театралами.

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

#### ВОСПОМИНАНИЯ О Н. И. НОВИКОВЕ И ЕГО ВРЕМЕНИ

Доклад, прочитанный на заседании Общества любителей российской словесности 13 ноября 1894 г. Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль» (1895. № 1. С. 49—60). Переиздано в сб.: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913. С. 248—282. Публикуется по тексту: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 223—252.

### НЕДОРΟΣЛЬ ФОНВИЗИНА

*(Опыт исторического объяснения учебной пьесы)*

Впервые опубликовано в журнале «Искусство и наука» (1896. № 1. С. 5—26); переиздано в сб.: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913. С. 283—311. Публикуется по тексту: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VII. С. 263—287.

### РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

Произнесена в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г. в день открытия памятника Пушкину. Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль» (1880. № 6. С. 20—27). Переиздавалось в сб.: Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 271—278; Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913. С. 57—66. Публикуется по тексту: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VII. С. 145—152.

### ПАМЯТИ А. С. ПУШКИНА

Речь, прочитанная в столетнюю годовщину со дня рождения поэта 26 мая 1899 г. в торжественном заседании Московского университета. Впервые опубликовано (по черновому автографу): Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 306—313.

## ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ЕГО ПРЕДКИ

Прочитано автором на заседании Общества любителей российской словесности 1 февраля 1887 г. Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль» (1887. № 2. С. 291—306). Переиздавалось в сб.: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913; Он же. Соч. Т. VII. С. 403—422. Здесь воспроизводится по тексту последних.

### ГРУСТЬ

*(Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)*

Впервые опубликовано (без подписи автора) в журнале «Русская мысль» (1891. № 7. С. 1—18). Переиздавалось в: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913; Он же. Соч. Т. VIII. С. 113—132. Воспроизводится по последней публикации.

### О ВЗГЛЯДЕ ХУДОЖНИКА НА ОБСТАНОВКУ И УБОР ИЗОБРАЖАЕМОГО ИМ ЛИЦА

Лекция, прочитанная в училище живописи, ваяния и зодчества весной 1897 г. Впервые опубликовано: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 295—305. Воспроизведено по этому изданию.

### ИСТОРИКИ ОТЕЧЕСТВА

#### И. Н. БОЛТИН

*(умер 6 октября 1792 г.)*

Впервые опубликовано в журнале «Русская мысль» (1892. № 11. С. 107—130). Переиздавалось в сб.: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913; Он же. Соч. Т. VIII. С. 133—163. Печатается по последней публикации.

#### ПАМЯТИ И. Н. БОЛТИНА

Речь, произнесенная на заседании Общества истории и древностей российских при Московском университете 21 декабря 1892 г. Впервые опубликовано: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 164—175.

#### ПАМЯТИ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

Впервые опубликовано в газете «Русские ведомости» (1905. 8 октября. № 263). Переиздано: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 390—395. Воспроизводится по этой публикации.

**Ф. И. БУСЛАЕВ**  
**КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ**

Речь на заседании Общества истории и древностей российских, произнесенная 27 сентября 1897 г. Впервые издано: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 288—294.

**С. М. СОЛОВЬЕВ КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**

Впервые опубликовано в журнале «Искусство и наука» (1896. № 1. С. 5—26). Переиздано: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913; Соч. М., 1959. Т. VIII. С. 253—262.

**ПАМЯТИ С. М. СОЛОВЬЕВА**

*(умер 4 октября 1879 г.)*

Статья впервые напечатана в журнале «Научное слово» (1904. Кн. 8. С. 117—132). Переиздано: Ключевский В. О. Статьи и речи. М., 1913. Т. VIII. С. 351—367. Воспроизводится текст последней публикации.

**ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА**

**МОСКВА И ЕЕ КНЯЗЬЯ  
В УДЕЛЬНЫЕ ВЕКА**

Впервые издано в «Журнале для всех» (1905. № 1. С. 34—38). Позже очерк вошел в текст Курса русской истории. Публикуется по тексту «Журнала для всех».

**ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДОВОНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО  
ДЛЯ РУССКОГО НАРОДА И ГОСУДАРСТВА**

Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской Духовной Академии в сентябре 1892 г. в память св. Сергия.

Впервые опубликовано в «Богословском вестнике» (1892. № 11. С. 1—15); а также под названием «Благодатный воспитатель русского народного духа» в изд.: Троицкий цветок. 1892. № 9. С. 1—32; отдельной брошюрой — 2-е изд. (Троицкая лавра. 1899).

Публикуется по тексту «Богословского вестника».

## ДОБРЫЕ ЛЮДИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Впервые с грифом: «В пользу пострадавших от неурожая» напечатано отдельной брошюрой в Сергиевом посаде, типографией Снегирева (1892). Позже (до 1916 г.) переиздавалось не менее 6 раз. После 1917 г. очерк не издавался.

Публикуется по первому изданию.

### А. Л. ОРДИН-НАЩОКИН

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК XVII ВЕКА

Впервые опубликовано в журн. «Научное слово» (1904. Кн. III. С. 121—138). Публикация сопровождалась примечанием: «Из подготовляемой к печати III части курса русской истории».

Печатается по тексту первой публикации.

### ПЕТР ВЕЛИКИЙ СРЕДИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Статья впервые напечатана в «Журнале для всех» (1901. № 1. С. 53—72). Переиздано в: Ключевский В. О. Статьи и речи. 1913.

### РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В МИНУТУ СМЕРТИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Первая публикация — в журнале «Русская мысль» (1909. № 1. С. 1—32) с примечанием «Из приготовляемой к печати IV части курса русской истории». Текст дается по первой публикации.

### ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

(1729—1796)

Публикуется по тексту: Ключевский В. О. Соч. М., 1959. Т. V. С. 309.

### ПАМЯТИ В БОЖЕ ПОЧИВШЕГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Речь, произнесенная в заседании Императорского общества Истории и древностей российских при Московском университете 28 октября 1894 г. Председателем Общества В. О. Ключевским. М. Университетская типография, 1894. С. 1—7. (Оттиск). Из чтений в Императорском обществе Истории и древностей российских при Московском университете за 1894 г.

Публикуется по данному тексту. Есть данные, что текст этой речи Ключевского студенчество выпустило с пометкой «второе издание», присовокупив к нему басню Крылова «Лиса и виноград», а затем сделало попытку освистать профессора во время чтения очередной лекции, протестуя против его «монархизма».

### *МЫСЛИ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ*

Публикуется по тексту: К л ю ч е в с к и й В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983.

### *ИЗ «ДНЕВНИКА»*

Публикуется по тексту: К л ю ч е в с к и й В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968.

### *ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК*

Публикуется по указанному выше изданию.



## СОДЕРЖАНИЕ

В. О. Ключевский и отечественная словесность . . . . .	5
--	---

### ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Воспоминание о Н. И. Новикове и его времени . . . . .	52
Недоросль Фонвизина ( <i>Опыт исторического объяснения учебной пьесы</i> ) . . . . .	78
Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину . . . . .	100
Памяти А. С. Пушкина . . . . .	108
Евгений Онегин и его предки . . . . .	115
Грусть ( <i>Памяти М. Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.</i> ) . . . . .	133
О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица . . . . .	151

### ИСТОРИКИ ОТЕЧЕСТВА

И. Н. Болтин ( <i>умер 6 октября 1792 г.</i> ) . . . . .	161
Памяти И. Н. Болтина . . . . .	188
Памяти Т. Н. Грановского ( <i>умер 4 октября 1855 г.</i> ) . . . . .	200
Ф. И. Буслаев как преподаватель и исследователь . . . . .	205
С. М. Соловьев как преподаватель . . . . .	212
Памяти С. М. Соловьева ( <i>умер 4 октября 1879 г.</i> ) . . . . .	221

### ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Москва и ее князья в удельные века . . . . .	236
Значение Преп. Сергия Радонежского для русского народа и государства . . . . .	245
Добрые люди Древней Руси . . . . .	258

А. Л. Ордин-Нащокин. Московский государственный человек XVII в. . . . .	275
Петр Великий среди своих сотрудников . . . . .	292
Русское общество в минуту смерти Петра Великого	325
Императрица Екатерина II (1729—1796) . . . . .	352
Памяти в бозе почившего государя императора Александра III . . . . .	408

МЫСЛИ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ . . . . .	412
-------------------------------------	-----

ИЗ «ДНЕВНИКА» . . . . .	428
-------------------------	-----

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ . . . . .	444
------------------------------	-----

Примечания . . . . .	456
----------------------	-----

**Ключевский В. О.**

**К52** Литературные портреты / Сост., вступ. ст. А. Ф. Смирнова. — М.: Современник, 1991.—463 с., портр.— (Б-ка «Любителям российской словесности». Из литературного наследия).

**ISBN 5-270-00948-X**

Публикуемые в сборнике произведения раскрывают взгляды крупнейшего русского историка Василия Осиповича Ключевского не только на отечественную историю, но и на развитие русской литературы от Фонвизина до Лермонтова. Они раскрывают его понимание связи изящной словесности с историей. С особенной любовью Ключевский пишет о пушкинском периоде русской литературы. В статьях и очерках, в дневниковых записях он дает оценку деятельности крупнейших наших историков — Карамзина, Соловьёва, Вуслаева, Волгина.

**КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович**

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ**

Редактор *Т. П. Коновалова*

Художественный редактор *А. Ю. Никулин*

Технический редактор *Е. А. Васильева*

Корректоры *В. Н. Лыкова, М. Г. Курносенкова*

ИБ № 5762

Сдано в набор 23.03.90. Подписано к печати 27.11.90. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура школьная. Печать высокая. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 26,97. Усл. краск.-отт. 53,94. Уч.-изд. л. 27,86. Тираж 50 000 экз. Заказ 1301.  
Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 185630, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4.